

Юрий НЕКРАСОВ

РОДИМОЕ ПЯТНО

г. Тольятти
2014



НЕКРАСОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1959–2005)

Родился 19 мая 1959 г. в городе Горняк Алтайского края в семье шахтера. Окончил среднюю школу, московский Народный Университет искусств им. Н. Крупской (факультет изобразительное искусство) в 1982 году.

С 1978 года жил в г. Тольятти.

С 2000 года – член Союза российских писателей.

Автор четырех книг прозы: «Записки арестанта», «Светопреломление», «Побег» (2002), «Подкидыши» (2005).

Трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.

«Придет время, и ваш город будет гордиться, что такое произведение как «Родимое пятно» было написано на тольяттинской земле».

С. Василенко

СМЕРТЬ ПИСАТЕЛЯ НЕКРАСОВА

Смерть писателя Юрия Некрасова символична. В путинском государстве оказалось достаточно места всем: торгашам и бандюкам разного рода и калибра, чиновникам, шлюхам и юмористам, коих поболе шлюх развелось, рвачам-милиционерам-учителям-врачам, проходившим всех национальностей из ближнего и дальнего зарубежья и прочим, прочим, прочим...

Писателю Некрасову места в этом сообществе неприкасаемых и обласканных не нашлось. Мало того, его лишили и самой жизни. Зверски убили, вернее забили насмерть.

Моя версия такова: одни упыри продали земельный участок, с советских времен числившийся садово-огородным, на котором, конечно же, в обход всяких разрешений, люди давным-давно понастроили кое-каких домиков, другим упрыям. На беду среди этих микроскопических построек был и домик Ю. Некрасова, в котором он и написал все свои четыре прозаические книги.

Новые владыки в мгновенье ока обнесли территорию забором, привалили песчаным валом, так что пенсионеры наподобие ящериц, сквозь прокопанные лазы, негодяя и страшась, проползали на свои участки, чтобы в последний раз собрать осенние овощи.

Под снос!

Некрасов решил противостоять. Он жил на даче безвыездно и когда уезжал на дежурство, на участке живым щитом оставалась его мать. «Ребята! – говорил он вежливо и как всегда добродушно улыбаясь этим пролетариям новой формации, которые за благосклонность хозяев да пару бутылок с барского стола готовы на всё, – Ребята... Не подъезжайте вы к моему домишке на своих бульдозерах. Богом прошу. Война будет!». Ребята не подъезжали. Команды не было. Но время пришло и она прозвучала.

Истерзанное тело Юрия Некрасова было найдено неподалёку от дачных участков.

Скажу циничную вещь, противореча собственному первому абзацу: богатейте всеми правдами и неправдами, дорогие мои сограждане, и тогда, если вы не дай Бог, перейдёте дорогу кому-то еще более богатому, то профессиональный киллер сделает в вашем лбу малень-

кую, аккуратную дырочку и всё. Вас не будут долго и страшно убивать досками с гвоздями и кусками арматуры узколобые нетопыри с лакейской кровью, как убивали писателя Юрия Некрасова. Богатейте, ибо все в нашей драгоценной отчизне выставлено на продажу, или почти всё... А не удастся – закройте глаза, замкните слух, согните спину, ибо зло шествует безнаказанно, – только так и выживите.

Ю. Некрасов написал свой последний рассказ «Волки» за несколько месяцев до гибели.

Рассказ беспокоил его. Тёмные предчувствия одолевали...

В тот роковой день литература и жизнь сплелись в последнем смертном объятии.

Владимир Мисюк, поэт, член СРП,
редактор тольяттинского литературно-художественного
журнала «Город».

РОДИМОЕ ПЯТНО
(повесть)
6

ПЬЯНЫЕ СНЫ ЛЕОНИДА ГУЛЯЕВА
(рассказ)
94

ИГРОК
(рассказ)
119

МАШКА
(рассказ)
132

ШУРКА
(рассказ)
138

ПОБЕГ
(повесть)
144

ПОДКИДЫШ
(повесть)
200

ВОЛКИ
(рассказ)
235

РОДИМОЕ ПЯТНО

Часть первая
СКАЗКА

Глава 1 О ЧАБАНЕ МАТВЕЕ И ЮНОМ СЫНЕ ЕГО

Всю жизнь мне помнится моя бабка Настя и ее шелестящий голосок с духом набожности, складно повествующий глубокими вечерами таинства все новых и новых сказок, которые, как в детстве, так и теперь, наполняют сердце мое светом радости.

...В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, который очень любил баранье мясо. На завтрак, обед, ужин и даже перед сном мясолюбивый царь всегда съедал приличную порцию жирной баранины, начиненной острыми приправами, и только тогда спокойно засыпал. Бывали случаи, когда он перед сном недоедал, и тогда просыпался среди ночи и сытился до полного спокойствия. Зная о страстном аппетите своего господина, слуги с чрезвычайным вниманием следили за развитием стада, в котором насчитывалось великое множество бараньих голов.

Но вот настало то критическое время, когда все царство охватило ужасное волнение. Прежде всего царя сильно обеспокоил тот факт, что вся царская семья и даже восьмимесячный наследник вдруг проявили небывалый вкус к баранине и этот вкус быстро возрастил. В то же время бараны, будто почувствовав великую опасность, стали убегать из стада, многие так и терялись, и только от некоторых чабаны находили обглоданные волками скелеты.

Закручинился царь, но аппетита не убавил, только холодный страх о завтрашнем дне одолевал его.

Тогда он издал свой царский указ: того, кто сможет уберечь баранье стадо, ждет большое вознаграждение.

Потянулись в царский дом чабаны разного вида, и у каждого в руках был тяжелый кнут, которым тот умело мог ударить о землю, а рядом хваленая собака-помощница. Но когда царь давал испытательный срок, то никто не выдерживал. Стадо пустело...

И вот, в самый последний момент, явился к царю один чабан по имени Матвей. Он был уже стар и был без кнута, но рядом стоял крепкий юноша-сын. Матвей сказал царю:

— Всю жизнь свою я пас овец у одного знатного барина и потому знаю хорошо все желания стада. У меня нет сильного кнута, нет злой собаки, но есть сын послушный, которого я обучил всему, он спасет стадо твое.

С недоверием посмотрел царь на юношу, засомневался:

— Но как ты будешь справляться?

Сын чабана показал деревянную самоделку, выструганную из корня молодого дерева и отточенную до блеска, она очень напоминала обыкновенную человеческую ладонь с вытянутыми растопыренными пальцами, сквозь каждый палец проходило тонкое отверстие, все отверстия внутри объединялись и имели единый выход. Он приблизил к губам свой инструмент и издал довольно нежный звук, подобный голосу молодой овцы.

Царь попытался представить своих баранов под охраной чабана с дудочкой, но так и не сумел, смутился еще больше, про себя подумал: «Либо сами глупы, либо меня за глупца считают. Приказать бы слугам, чтобы выкинули их вон...» Подумал так царь, но сделал иначе, как подсказывало ему сердце в ту минуту.

— Посмотрим теперь на деле, на что годен твой сын со своей чудной дудочкой, — сказал он старому Матвею и твердо пообещал: — И если справится, ничего для него не пожалею, даже свою меньшую дочь-красавицу...

Царь немедленно отправил молодого чабана на пастбище и стал с нетерпением ожидать результата.

Вернулись слуги, и на их лицах была радость.

— Чудеса да и только... — рассказывали они о молодом чабане. — Стоит ему заиграть на своей дудке, как тут же все овцы жмутся к нему, как к матери своей кормилице, куда он идет, туда и они. А когда появились волки, его дудка таким голосом вскричала, что все волки прочь бежали...

Выслушал царь, обрадовался за своих баранов, но тут же тайно позавидовал всемогущей дудочке, стал размышлять, как проще избавиться от молодого чабана и тем самым уберечь свою дочь. Слуги посоветовали ему оговорить чабана. И в скором времени бедного юношу обвинили в краже царских баранов и заточили в тюрьму...

— А что такое тюрьма? — в детстве я всегда интересовался новыми словами, а добрая бабушка поясняла:

— Тюрьма — это глубокое подземелье, там сидят несчастные без воды, без хлеба, без солнечного света и ждут своей смерти.

— Значит, он умер...

— Нет, — успокаивала она меня, — в сказках всегда сохраняется Добро. Красавица царица знала про обещание отца и вознаградила на него за совершенную подлость. В ночь со своими друзьями она

пробралась в тюрьму и вызволила оттуда чабана. Затем они вместе бежали в далекие края и были счастливы. Их спасла Любовь.

— А что такое Любовь? — вновь интересовался я, и бабушка поясняла...

Прошло много времени, но все те красочные представления, впечатления, ощущения, волновавшие душу тогда, и теперь ярко вырисовываются в моем сознании нерукотворную картину Любви...

Глава 2 **ДЕДОВ ДОМ**

Есть на земле еще дивные места, чудом сохранившие в себе первую природу. Рядом с нашим городом юится одна славная деревушка. Сказочный лес ленточной, изумрудной бахромой тесно обступает дарованную ему местность, по-дружески пропуская у вековых корней своих прозрачные воды древней речушки, которая искренне и точно отражает в груди своей бескрайнее, непорочное торжество поднебесного мира. И все, — начиная от бодрых, свежих и душистых растений, которых не встретишь ни в одном парке города, и кончая теми беспредельными пашнями и приусадебными огородами, от объемного вида которых тут же побежит бледный горожанин, — все дополняет к общему закону Начала и его Продолжения. В самой сердцевине родным очагом стоит незабвенная деревенская архитектура, уточняющая в пейзажной колыбели. И не в том крепок хозяин здешний, что в дому его ныне ослепительна лампа электрическая, а иную работу способна исполнить техника заводная, но от усердия личного.

В этой деревне стоит мой дом. Дом имеет свою историю, о которой я, к сожалению, знаю очень мало.

Известно, что строительство дома затеял наш дед, Иван Иванович Подневольный, еще в начале века. В ту пору дед вернулся из города, где прожил свои молодые годы и достиг совершенства. После городской жизни деду нездоровилось, он надолго уходил подальше в лес и там не мог надышаться и отдохнуться, как после страшных скачек. «Эх, новую бы жизнь здесь построить. Вон сколько леса...» — мечтал дед и взирал в божественное небо, пространство которого уверенно перестраивал на свой лад. А как только отдохнул и принял иной мир, тут же приступил к своему плану: привез из города немца-архитектора, с ним сосредоточенно чертили на белом ватмане, крутили по земле огромным циркулем, тщательно переизмеряли, при этом часто спорили, наконец, пожали друг другу руки. Место для дома было определено на цветущем зеленом холме, откуда вся остальная деревня представлялась в низине.

В помошь дед созвал первых деревенских мужиков – у всех руки крепки, глаз зорок.

– Ну что, мужички, не надоело жить как попало? Не пора ли начать жизнь новую, светлую? – начал дед свою вступительную речь таким образом, и мужики переглянулись, недоумевая, мол, что в них не так, ухмыльнулись, а дед продолжал торжественно: – Хочу строить дом особенный, особенный не потому, что на холме, – здесь дело поважнее этой природы, и для всего задумка особенная имеется... И дом этот, как и наша деревня, будет в скором будущем великим примером и гордостью перед любым пришлым, будь он даже иноземец...

Дед стал говорить о благом своем намерении, говорил горячо, захватывающе, так, что мужики поверили, взялись помочь.

Многие для такого благого дела не пожалели своего личного инструмента и всякого нужного материала. Но после первых же работ все вдруг встали. Случилось так, что еще не были поставлены даже стены будущего дома, а уже по своим соображениям дед приказал взгромоздить на намеченной территории сплошной забор огромной величины, который окружил работников чувством неясной тревоги, и они спросили:

– Ответь нам, Иваныч, а то ведь сами никак не уразумеем, дом твой еще только на бумаге числится, а ты уже обгораживаться вздумал, да так, будто от страху большого, точно укрывать нечистое помышляешь в стенах своих. Растолкуй нам для общей ясности, а то у нас всех вон какие изгороди – самые обыкновенные, больше для красоты внешней да для уюта внутреннего, на твой глядь – испуг берет да недоверие.

Горделивый дед решил отмахнуться:

– Какая разница, дурья голова, я же сказал: на все задумка имеется, вам невдомек будет, кому строить – тому не философствовать.

И мужики не стали философствовать, но и не захотели строить, а разошлись по своим домам и стали наблюдать за происходящим на высоком холме.

О своем убытке дед сильно не тужил. За короткое время он объехал всю округу и собрал бродячих мужиков – с ними куда проще сладить.

– Будем строить дом особенный, на свой лад и вкус, – вдохновенно заговорил дед, не отказываясь от своих замыслов. – И наш дом будет далеко отличаться от тех убогих лачуг, которые вот-вот рухнут.

Дед бросал косой взгляд на соседские дома, теряющиеся в низине зеленої растительности. А бродячие мужики, далекие от филосо-

фии и от всяких мысленных сочетаний, внимали речь деда безо всякого сосредоточения и с радостной безрассудностью заключили свое соглашение. В довершение дед подал самогону, жирной пищи, а когда мужики все отведали, ощутили великое утешение, чувство общего братства выразили единогласно: «Дом так дом, хозяин! Нам без разницы – строить или ломать. Мы на все руки от скучи...»

Работа закипела, визжала зубатая пила, из-под огненного топора летели щепы поваленного леса.

Дом строился довольно быстро, превращаясь в неприступную крепость. Хотя были иногда перебои – мужики лишнего перебирали, делались неуправляемыми и никуда не годными. Но без самогону и веселых ужинов никак не обходилось. Даже, бывало, случалось, что дедовские мужики, не успокоив свою утробу, самовольно уходили в деревню, промышляли там: одни умудрялись выторговать себе нужное за строительный материал или какой редкий инструмент, другие ночью пробирались в чужие амбары и нагло шарили, а при случае даже отнимали силой, и тогда великанский забор оказывал надежное укрытие.

…Наконец дом был готов.

Здесь открывается самый сердечный момент дедовской затеи. Для ее дальнейшего продвижения он сделал личное заявление своим мужикам: располагаться в доме, как в собственном.

– Вы, должно быть, посчитали, что я для себя самого горожу этакие хоромы. Как бы не так, я не из тех, которые гребут только под себя, – дед враждебно косился в сторону соседских домов, которые замерли в неясном ожидании. – Так вот что я вам теперь скажу: будем жить все здесь, в этом доме, который строили собственноручно, и будем жить, так сказать, семьей единой, а для полной комплектации разрешаю каждому обзавестись личной бабой… Да чтобы поскорей детишек нарожали, из которых будем ростить сорт особенный, ведь для всего этого опыта в нашем доме уготовано место значительное, – дед говорил дрожащим от волнения голосом, грудь переполнялась собственным восторгом, а мужики зевали и мечтали, видимо, о своем, но уже следующие слова взбодрили их. – Короче говоря, у нас сегодня большой единый праздник!

Свой единый праздник мужики полюбили очень. Поддержали его на следующий день. И на следующий… А вскоре проявили такую ревность, смекалку и проворство, что вся деревня просто находила ходуном. В первую очередь, они легко и быстро взялись обзаводиться личными бабами, и потащился во все углы дома скарб разного вида и сорта.

Дед важно расхаживал по двору, чувствовал себя полновластным хозяином и находил величие в своем «творении». Но в это

первое время новой жизни состоялась непредвиденная встреча, которая неведомо какой силой придавила весь испытанный восторг.

Выйдя однажды вечером во двор, дед, в благоприятном расположении духа, начал прогуливаться вдоль могучего забора и с каким-то тайным интересом взирал через крупные щели на близлежащие домики. Там ярко пылали желтые языки костров, звучала песня под гармонь. Деду стало грустно, вдруг он увидел человека, не спеша движущегося по направлению к его дому. Когда поздний гость приблизился, дед его узнал.

Это была Ксения, ворожейкой в народе славилась и знахаркой чудной, все болезни травами могла излечивать, любую боль заговаривала словом своим всесильным, предсказывала точно будущее, и за все такие успехи люди ее колдуньей считали, но тихо, про себя, боялись вдруг разгневать и, чего доброго, пострадать. Ксения была в летах неопределенных, ибо знали ее еще деды наших дедов. Лицо ее хоть и морщинами глубокими изрезано, но живое, глаза лучат светом, волос очень густой и что смоль, только на висках серебром отливает, фигура согбенная, приземистая, стоит на земле крепко. По гостям Ксения ходила редко, все больше к ней захаживали, когда беда подступит, а тут сама предстала неожиданно. Дед насторожился, но виду не подал.

— Ты что же, Ксения, вдруг?.. Никак в помощницы решилась, хехе... — хихикнул дед и хитро прищурил глаза. — Да только припоздала ты. Наш дворец готов.

Старуха стояла вкопанно. Ее губы выразили усмешку: готов ли?

— Говоришь, дворец... А я еще помню, как мы с твоей покойной бабкой здесь в хороводе ходили. На этом месте во все времена березовая роща шумела, сосны стояли, здесь сад цвел, который теперь тебе помешал, — она взглянула на деда сурово, того покоробило, не находя защитных слов, он норовил уже уйти, отмахнуться от непрошено гости, но проницательная старуха все предусмотрела: — Не спеши, Иван, уходить... Знаю, что слаб ты. Только не ругаться я к тебе пришла. Пройдем лучше в дом...

Ксения вступила вместе с дедом на крыльце. По дому ходила долго, не спеша, с необыкновенным интересом просматривала комнаты, руками трогала стены, своим тяжелым посохом постукивала зачем-то в потолок, по полу, вслушивалась.

Деду было явно не по душе, он подумал уже погнать назойливую старуху, но отчего-то не решался, трусил, начал уговаривать:

— Ну что ты все вынюхиваешь? Не до тебя мне ныне, хворым себя чувствую. Да и время позднее, дня тебе мало было... Мы уже и почивать собрались.

Ксения не отступала:

— Ох и хитрец ты, батюшка мой, почивать они собирались... Ничего, высшишься скоро, потому я к тебе и зашла. Я и днем была, от реки подходила, наружная сторона при солнце различима, а вот внутренности при луне ощутимей, пока дремлет бес неугомонный.

Дед не выдержал:

— Что ты все загадками да загадками, совсем не разберу речь твою. Говори, зачем пришла?..

Он принял строгий вид, но гостья совсем не замечала его, а все по дому глазами:

— Гляди, что натворил, додумался — на доме дом поставил, и комнат сколько понапутал, поди-ка разбери, куда какая приведет? Трех жизней мало будет...

Дед вяло опустился на табурет, искал защитное слово.

Ксения продолжала:

— Не тужься ты своей большой головушкой, так, знаю, сам до конца не уразумел, что натворил — и мужиков деревенских оттолкнул и сам теперь злишься. А все потому, батюшка мой, что гордостью богат, в доме своем иконку не имеешь, которая всегда согреет, накормит и защитит от беды нежданной. Посему дом твой — незаконнорожденный, век будет стоять, как больное бельмо на глазу человеческом, не примет земля ни дом твой, ни тебя. Но если примешь веру над собой, получишь облегчение...

Ксения ушла мирно, важно опираясь на свой посох.

Вся ее речь, со своим внушительным толкованием, оставила некоторое поразительное чувство тревоги. Дедовские мужики сделались ко всему чрезвычайно чувствительными, раздражались по пустякам, становились агрессивными. Работать они нигде не хотели, а только напивались до свиньи, после чего в доме разгорались споры и даже драки. Помимо себя, они сцеплялись, не на жизнь, а на смерть, с деревенскими мужиками, которые повадились приходить в дом с частыми жалобами. В довершение всего, дедовские мужики стали напиваться до такого бесчувствия, что путали в темноте кровати жен своих, а когда подходило время родов, то поднималось буйное несогласие. Женщины не выдерживали, уходили прочь, с тяжелыми животами, в слезах проклиная тот день.

Все происходило на глазах деда, который тихо утрачивал былую уверенность, делал вид, что ничего не видит, все больше ходил по двору, ото всех один, вдоль огромного забора...

В один хмурый день дед исчез, как в воду канул. Все так и решили, что он, в чрезвычайном состоянии страха, самовольно привязал к своей голове камень. Мужики, в первые два дня избороздили острыми баграми все дно речки, надеясь уловить труп, но уже на

третий день стали сильно зябнуть и бросили свой безуспешный поиск. А когда, спустя некоторое время, по всему дому, неведомо откуда, разнесся спертый запах, заполнив комнаты ужасным зловонием, напоминающим разложение всего живого, тогда мужики уже несколько не сомневались в порочности своего творения и побежали в разные стороны.

Судьба дома действительно соответствовала горьким предсказаниям, и с каждым годом все больше ощущалась несносная сила разрушения. Что самое страшное, земля была мертвой, а точнее уснувшей: те некоторые деревья, которые дед оставил жить на своем холме, ни один год не давали плодов; когда приходит весна, деревья будто ожидают, начинают наполняться соком, но вот наступает пора расцветать и они мгновенно вянут – так и стоят голые, бескровные...

Из многочисленных сказов-пересказов мне известно, что мой отец, большой любитель природы, всегда болезненно переносил присутствие злого рока, но решительно противостоял всему. Он посадил рядом с домом несколько яблонь, с любовью ухаживал, в надежде ожидал... Но его характер многие не выдерживали, и потому очень часто власти отсылали отца подальше от дома и родных мест...

Помню, как в последний раз отец вернулся домой. Был очень худой и слабый, под глазами синие круги от страшной болезни, а в глазах, где-то очень глубоко, трепетал тихий свет радости. Он сразу лег в кровать и больше не вставал, все кашлял больно и надрывно, будто камень встал в его груди.

Мать не отходила от его кровати, сидела с красными от бессонницы глазами, стерегла покой. Иногда до меня доносились родительские речи:

– Никто мне не виноват... Кхы-кхы... Мне некого винить... – говорил отец, задыхаясь от страшного кашля.

Мать с отцом всегда соглашалась и была откровенна:

– Винить, конечно, некого. И так ясно – все за грехи родного родителя...

Когда у отца горлом шла кровь, мать в ужасе просила:

– Поешь землицы, она затянет рану, поможет земля родная.

Отец молча мотал головой: куда там землю, он так-то питался, можно сказать, одним воздухом, который судорожно хватал ртом.

Как-то ранним утром отцу стало легче. Сквозь окно просачивался яркий луч и падал на его кровать. Он лежал тихо, сбросив с себя одеяло и зажмурив глаза, отдыхал под солнечным теплом.

Я стоял рядом и с особым любопытством рассматривал на его груди странный рисунок темно-синего цвета: огромная птица с круглыми, остекленевшими глазами и с полуоткрытым кривым клювом несла в острых, крючкообразных когтях молодого барана, его голова

слабо болталась над островерхими крышами раскинувшегося внизу города. Эту картину я видел и раньше, когда был совсем маленький, и тогда на мой вопрос: что это? – отец серьезно отвечал: «Это родимое пятно нашего рода».

Отец заметил мой интерес, спросил:

– Сынок, как ты все это понимаешь?

Я смотрел на темно-синий рисунок, на грудь, в которой сильно хрюпело, и, пусть еще по-детски, но понимал – там творится что-то ужасное, непоправимое; тогда я еще не мог правильно организовать и объяснить свое внутреннее состояние, но ответил достаточно твердо:

– Отец, я все понимаю.

– Ну и слава Богу! Жить будет легче... – заметно повеселел он.

В тот же день отца не стало: опять горлом пошла кровь...

Мать горько причитала: «Отмучился бедненький, отошел горемычный... Так и не пожил в доме своем – всю жизнь по земле и теперь в землю...»

Похоронили отца, вскоре за ним ушла и мать.

В доме нас оставалось двое – я и моя бабка Настя, с которой мы вскоре переехали из деревни в город.

А дедов дом стоит и поныне ни живой ни мертвый, стоит сам по себе на отшибе, вы его безошибочно отличите еще издали: дом окружен высоченным, почерневшим от времени забором, стоит на голом холме и имеет вид заброшенный. Дом также примечателен своей чрезвычайной масштабностью, а в особенности диковинной крышей, рисунок которой очень сроден с китайской архитектурой, будто мощная рука величаво вознесла на верхнее основание больше дюжины обширных лодок, которые, столкнувшись высокими кормами, образовали загадочное сложение.

При сильном порыве ветра дом жалобно кряхтит и стонет. Соседи, хорошо знающие его историю, так и прозвали дом «пьяным» и не сомневаются в его скорой кончине.

Глава 3 **НАШ ГОРОД**

Наш город родился много лет тому назад на берегу красавицы Волги. Теперь он вырос, расстроился, наполнился разноликостью, чем близко напоминает чудовищного сказочного змея с несколькими головами, они то бьются, то лобзаются, оттого он и грустит, и смеется, и поет, и стонет.

Город состоит из старого и нового районов.

Старый район построен еще в прошлом веке, дома стоят здесь самой разной архитектуры. Частные домики – бревенчатые, красочные, ухоженные. А по соседству с ними длинные, мрачные бараки, появившиеся в промежуточный период – между прошлым и будущим. В этом районе сохранились еще те добротные дома в два, три этажа, с высокими окнами и крепкими стенами, в которых начинали жить первые хозяева города. Улицы здесь, не широкие и не шумные, затеняются в знойные часы лета тесными рядами кленов. Этими улицами старый район связывается с новым.

В новом районе недавно построенные ровно укатанные дороги, которые очень напоминают огромные, беспредельной длины базары, где пешеходы и автомобили представляют беспрерывное, хаотическое движение. Основная архитектура легко понимается с первого же взгляда, ибо взгляду не за что «зацепиться», по всей обширной территории района лениво тянется высокая, однообразная стенка из кирпича, стенка петляет, превращается в арку, иногда прерывается, дает проход, вновь вырастает, меняет свою величину. В основном стенка белого цвета, бывает краснеет. И все люди, живущие в этой кирпичной стенке, так или иначе находят свой покой.

Наш город богатый. В его черте выстроено несколько химических заводов с мощными тяжеловесными корпусами. Заводы производят высококачественную продукцию, которая имеет огромный спрос за границей.

Говоря о границе, отрадно осознавать, что наш город надежно защищен от врага всякого рода. Мы ежедневно слышим, как над городом то и дело взметают мощные и сверхмощные летательные машины, производя в землю потрясающие толчки.

В городе есть старая церковь, которая, к печали верующих, находится в нищенском положении.

В более чем ужасном состоянии прозябает городская тюрьма. Расположена она на окраине старого района, в окружении нескольких соснов, которые одиноко, как скучные часовые, стоят у тюремного забора. Тюрьма старая, говорят, что построена еще по воле царицы Екатерины, стены выложены из бурого камня, в стенах имеются окна-глазницы, прочно заваренные железными прутами-решетками. Внутри – множество запутанных коридоров и сотни камер. Но, к сожалению «хозяина», тюрьма не в состоянии вместить всех неугодных.

Как видите, город как город, коих немало. Люди живут здесь самые обыкновенные, живут в общем-то тихо, миролюбиво, ничем особенно не выделяются, чтобы не попортить вид общий. Однажды был случай: главные головы порешили напрочь избавиться от близлежащих домиков старого времени, для того, чтобы расширить постройку нового района. Город восстал. Один смелый человек вовремя

напомнил о той самой памяти, которая всегда бережно хранит старое и новое, доброе и злое, а, значит, заключает в себе то богатое общее, без которого не может быть истории.

Стоят и поныне на земле сохранившиеся домики, но в ужасе содрогаются всем своим телом от сильных толчков космической страсти. Вместе с ними вздрагивают люди и каждый новый день вдыхают в свои легкие тяжелые порции всесортного газа от родных заводов.

Интересно отметить, что подобные новшества века принимаются человеком сдержанно, постепенно перерастая в привычку. Привычка – страшная штука. Наша жизнь и все то, что придумано в ней за последние годы, стало настолько привычным, что сегодняшние дети сами теперь рождаются с врожденными привычками и довольно резко выражают самый необычный вкус к жизни. Родители поначалу изумляются, затем удивляются, отмечая в растущем ребенке что-то «не такое», но со временем привыкают. И все, или почти все так и живут в нашем городе на Волге, – неожиданно открывая новое, искренне удивляясь, надежно привыкая и перерождаясь...

Глава 4 **ЖИТЕЛИ КАМЕННОГО ДОМА**

Дом, в котором я живу, стоит на границе старого района и нового. Выложен он из крепкого камня давным-давно русскими и нерусскими мастерами для жизни в нем одного природного графа. Дом небольшой, всего в два этажа, но с обширными полуovalьными окнами, причудливыми балкончиками в форме кувшина, высоким крыльцом, массивную дверь украшает резная фигурная ручка, во всей внешности присутствует несомненный талант мастера.

В период светообновления каменный дом вместе со своим хозяином подлежал переустройству; нежный организм графа не выдержал неясного свечения и преломился, а внутренности дома были смешаны, переоценены и записаны на разные имена. Благо камень оказался тверд и неподатлив, потому наружная сторона сохранила свой изящный вид на фоне бледноликих новостроенных многоэтажек.

Ко всему дополнию, что в доме имеется прекрасный полуподвал со своей жизнеспособностью: с южной стороны размещается небольшое, но полезное предприятие по приему стеклопосуды, с северной стороны дома угол лично для меня, а в промежутке между нами, обычно в темные часы, творится что-то скрытое, но существенное для мира сего...

Мой угол с северной стороны далеко не северный, и его внутренняя температура благоприятно держится не ниже пятнадцати градусов, не выше двадцати. Площадь моего угла колеблется от пятнадцати до двадцати квадратных метров, здесь свою роль играет матерчатая ширма бордового цвета с двумя серыми заплатами. В моем обиходе есть все, что может составлять обычный покой: новенькая электроплита с двумя конфорками под названием «Мечта», небольшой круглый стол, два стула к нему, телевизор «Каскад», а напротив телевизора стоит мягкий, хотя и скрипучий диван, над диваном висят на стене старинные часы с кукушкой, есть еще кухонный шкаф, покрытый черным лаком, довольно громоздкий и чем-то печальный, когда я подхожу к нему близко, он опасно покачивается. Но зато меня очень радует красный абажур, он уже выгорел, вылинял и уже не красный, а имеет все цвета небесной радуги, лампа в нем действует беспрестанно, ибо солнечный свет попадает в мое полуокно в малом достатке. Полуокно соприкасается с тротуаром и оттого стекло содержит на себе слой повсе-дневной пыли, копоти и всю ту ненужность, которую обычно оставляют после себя ноги прохожих.

За ширмой – рабочий уголок, где имеется все необходимое для моего рукоделия.

К сожалению, я не могу так же быстро описать квартиры остальных жителей каменного дома, с которыми мало знаком.

Дворник дядя Миша из всех более доступен мне и доставляет особенную радость. Живет на первом этаже, в однокомнатной квартирке, один, и живет очень скромно. Он всегда входит ко мне на свой перекур, оставляет за дверью шипящую метлу, поудобнее устраивается ближе к окну и ловко крутит своими горбатыми пальцами в газету зеленый самосад. Курит он забавно, совсем необычно – дымом в легкие не затягивается, но, выпуская его, начинает смешно шевелить довольно большим носом, как бы принюхиваясь, – это его причуда.

– Не для дурману головного курю я, – так объяснял мне дядя Миша, – а больше для очищения. Уж очень пахучая травка, вроде свежей растительности. И городская жуть не так ощутима.

По обыкновению, он любит мило пожурить меня за то, что в моем углу нет божественной иконки, что очень не по-христиански, да и не по-человечески. При этом я всегда теряюсь и стыдливо отмалчиваюсь, в то же время с умилением испытываю на себе всю простоту и легкость религиозного восприятия, которое, как и белое облако свежего самосада, умиротворяет чувства мои.

Дворник возраста преклонного, но вид у него далеко не дедовский, будто какая тайная закалка удерживает в целостности и дух, и плоть. Роста он выше среднего, широк в кости, а сапоги носит, види-

мо, размера последнего, которые всегда тщательно омываются водой, при входе ко мне остаются за порогом. Руки дворника, серые, костястые, величины неимоверной, подобны крепкому корню рослого дерева, а под прочной кожей бугрятся и дышат ветвистые жилы.

Иногда я ловил серый взгляд дворника на своих стройных, нежной белизны пальцах и испытывал постыдное чувство приниженности, не находил места своим рукам. «Наверное, дурно обо мне думает, подозревает в холуйстве...» — кусала меня грустная догадка. Но со временем я убедился, что дядя Миша имеет ко мне добрую расположленность, а на весь мир смотрит только со своей ладони.

Наше приятельство я ценил. В его натуре всецело сохранялись традиции, верные нашим отцам: его вера, принципы, умозрение простые, без ненужностей, ведут к своей истине, к своему миру.

Мы с дворником всегда пьем чай. На столе стоит самовар, сахар, варенье из черной смородины; скучастое лицо дяди Миши заметно преображается, и тогда он выдает себя, наблюдая сквозь окно за ногами прохожих.

— Вот так всю жизнь, только ноги и вижу... Видимо, мир так устроен: каждому человеку свое место определено. И мне, признаюсь, в радость, что пользу несу своей метлой, глядишь, равновесие образуется во дворе нашем — кому-то гадить, а кому-то очищать. Одно знаю точно: без моей профессии не выжить ни в какие времена — все вокруг плесенью возьмется. И вообще, скажу по секрету, у меня к такому делу есть особый интерес — я вот, к примеру, не заглядывая в личный документ, определяю, кто есть кто, только увижу, как он ногами движет и всякие замечания к ним...

Но самый большой интерес состоялся в первые встречи нашего знакомства. Тогда дворник легко и безошибочно определял по одним только движущимся ногам фамилии людей и, в частности, жителей каменного дома.

— Валентин Абрамович Кряхин, — называл он только что прошедшего, — прокурор города. Лично с ним знаком не первый год, только отчего-то мы не здравствуем друг друга, то ли он меня не замечает, то ли я сам при встрече отворачиваюсь. Уж больно он всегда сердит. Зато замечу, что в ногах его все внимание, всегда шагает осторожно, ножку старательно выставляет вперед — просто великий артист...

В другой раз он также не ошибся:

— А это наш Иннокентий колесит, спотыкается — большой художник. Со мной всегда приветлив, остановится, поинтересуется здоровьем, а то и к себе затянет, посадит, значит, в свое «царское кресло», материи дорогой вокруг навесит и вот малюет мою физиономию и метлу заодно, уморит, не отвяжешься. Уж добрый больно... А без

красок своих ни дня не живет. Вон опять все свои туфли извозил, не понять какого цвета. Все нипочем, что в голове, то и на ногах...

...Юрко проскочили две пары женских ног, одинакового телоустройства и верхнего наряда.

— Маша и Даша, — сообщил дворник, светло улыбаясь, — близняшки, как две капли воды. В ногах только и нахожу различие: Даша степенная, всегда отстает, а Маша скорая, вперед забегает. Дочери Светланы Григорьевны.

...Проковылял калека, ударяя деревяшками о тротуар, волоча немощные ноги. Лицо дворника мгновенно сморщилось, жалобно сжалось в множество морщин.

— Олежка Стрельцов, — сообщил он в ту встречу глухим голосом, — бедолажка, с армии такой вернулся. Спрашиваю его: на каком фронте был? как, мол, ваша война называлась? кто нападал? кто защищался? Молчит солдат, будто клятву какую дал, или же умом своим не дошел, ради чего страдал. Всегда щетинится, как волчонок, видимо, не только ноги, но и душу подстрелило. Ныне опять в запое — успокаивается. Ему простительно.

...Однажды с чрезвычайной поспешностью прошагали мощные ноги, окатив стекла окна жирными каплями грязи.

Дядя Миша дернул головой так, будто получил пощечину, сказал с неприязнью:

— Вот она — Екатерина Павловна, хозяйка нашего дома, веретено и только. Всегда столько грязи за собой несет, где находит...

Дядя Миша уходил, но всегда оставлял после себя что-то шипящее, колючее, но очень полезное и облагораживающее, как его метла. И мне, пусть с трудом, но верится, что живут на земле еще такие славные люди, в которых легко уживаются внешняя черствость и задушевная кротость, они обычно сидят где-нибудь в своем уголочке и с откровением смотрят сквозь вековую пыль на мир уходящий, а мир совсем не замечает их.

Далее случилось так, что я, ради собственного удовольствия, принялся изготавливать детские кроватки-колыбели, совсем обыкновенные, из сосновых досок, которые выстругивал самым тщательным образом, затем прочно соединял густым, пахучим kleem, и уже готовое ложе устанавливал на качельные дуги, подобные известным деревянным лошадкам. Для полного увеселения младенца я крепил на верхнем основании несколько колокольчиков разной величины, изготовленных из тонких металлических пластин. При легком покачивании колокольчики издавали нежный, разноголосый звон. В таком ремесле я находил радостное упоение и личный интерес: все последующие кроватки производились по новым рисункам, ибо я не желал повторяться и каждый раз искал новые исправления. Заказов я

не принимал, поэтому мою работу никто не тормошил, все начиналось и производилось только под собственное желание, а готовое изделие приходилось первому же нуждающемуся.

Первая кроватка пришлась дяде Мише – у него, к великому счастью, явился на свет правнук. Добрый дворник, принимая мой подарок, был искренне благодарен и, видимо, в знак признательности, в тот же день совершил во все стороны дома несколько чистосердечных откровений о моем таланте. Уже на следующий день в мою дверь стучались...

Как-то странно получалось вокруг моих кроваток – все в общем-то были удовлетворены, и я испытывал взаимное дружелюбие, но случалось иногда скверно: если, допустим, один гость был вовремя и благодарил за полученную кроватку, то уже следующий опаздывал и как бы презирал первого.

...Совсем неожиданно ко мне пришел прокурор, Валентин Абрамович Кряхин. Вшел строго – так обычно входят взрослые в детскую, где только что нашкодили. Он брезгливо осмотрел мой угол и остался явно чем-то недоволен. На душе сделалось скверно, я насторожился. Мой смиренный вид удовлетворил могучего прокурора, тогда он коротко поприветствовал и тяжело опустился на стул – тот жалобно запищал.

Теперь мой гость, сидевший так близко на обыкновенном табурете, казался не настоящим, почти резиновым. Его мясистое, бордово-красное лицо напоминало переспелый помидор, струящиеся соки под лоснящейся оболочкой были явно подпорчены и переполнены в своих каналах, создавалось впечатление, что оболочка вот-вот треснет и брызнет на меня всей своей жижей. Я осторожно отодвинулся, сел поглубже в угол. Он заговорил:

– Иван Иванович, голубчик, как ваше самочувствие? Как настроение на сегодняшний день? Очень жаль, что вас никогда не встретишь во дворе нашем, а как иногда хочется пообщаться с новым человеком... Интересно, отчего вы так нелюдимы? Я-то, грешным делом, уже подумывать начал...

Кряхин не скрывал своего сомнения, от которого испытывал явное наслаждение. Он много спрашивал, но ответа не ждал, говорил только сам:

– Честно скажу, Иван Иванович, я такого от вас не ожидал, – иметь такое и укрывать. С вашей стороны это очень не по-соседски. Право, посмотришь – мужичок с ноготок, все в тени, и вдруг талант особенный открывается, который ныне в магазине за большие деньги не купишь...

Выразив своей речью великую благосклонность и самое тонкое понимание моего ремесла, он перешел к главному:

— А у меня внук намечается. Да, да, дорогой сосед, вот с такой радостью я к вам, так сказать, и с радостью, и за помощью. Ведь в вашем дружелюбии я ничуть не сомневаюсь, а уж мы-то в долгу не останемся...

Именно такими словами закрепил он свою речь, улыбнулся мне при этом так изящно и многозначительно, что я смутился, опустив глаза, ответил:

— Увы... увы, дорогой сосед, вы немного припоздали. Пораньше бы.

Закряхтел стул, покряхтел и Кряхин, но не встал и не ушел, а, напротив, улыбнулся еще гуще:

— А я, любезный мой, не спешу, как говорится, поспешишь — людей насмешишь, но и не опаздываю — это вы зря. Я ведь говорю: внук только намечается, и я хотел бы не спеша, но за-благовременно. Сами понимаете, жду внука-мужика. Тыфу, тыфу, тыфу. Все еще, правда, на воде вилами писано, но должно быть так. Помнится, еще при жизни моих супруга Маргарита Антоновна, предсказывала внука на этот год. Маргарита Антоновна, будет вам известно, чрезвычайно набожна была, царствие ей небесное (Кряхин перекрестился), и умна к тому же, сама секреты и тайны многие познала, оттого так скоро и скончалась. Но ошибиться она никак не должна. Тыфу, тыфу, тыфу.

Каждое новое слово, каждое выражение Кряхина было пронизано религиозным чувством, к своему и без того убедительному толкованию он присовокупил плевки — по три плевка через левое плечо после слов, составляющих свою чрезвычайную важность. Но все поведение его было так наигранно и неотк-ровенно, что спустя каких-то полчаса нашего общения я ничуть не сомневался в точности характеристики дворника и мог воочию убедиться, что прокурор — большой артист.

— ...Я к тому же, признаюсь вам, Иван Иванович, очень люблю детишек. И ошибаются те люди, которые считают, что у прокурора нет сердца.

При этих словах он принял массажировать левую часть своей груди с таким усердием, что я начал было верить в его сердечность. Но Кряхин успокоился довольно скоро и продолжал:

— Вот я, к примеру, своих сосунков, можно сказать, один вырастил и выхолил — не в упрек будет сказано покойной Маргарите Антоновне. Тыфу, тыфу, тыфу. У нее-то вечно все не получалось, все не так, как мне надо... Да, дети для меня всегда были большой надеждой... А теперь тем более, в нашем дедовском возрасте. Вот я и хотел постараться самолично, кто еще, как не я... Так что сами должны смекнуть — внучок образуется, а его и переложить не во что будет, он тогда и начнет сзымальства хныкать да требовать, требовать да хныкать. А у вас, я знаю, кроватки особенные, в самый раз для утешения — и покачать в них возможно, и музычка успокоительная имеется, что еще надо...

Кряхин говорил таким мелодичным голоском, овеянным материнской заботой и любовью трогательной, что мне на миг внушилось, будто передо мной сидит обыкновенная старушонка, с печальным лицом, полным скорби, я не выдержал, поддался состраданию:

— Что вы, Валентин Абрамович, не переживайте так сильно, успокойтесь. Я все понимаю, как же малыши без кроватки, обязательно хныкать начнет да требовать... Так что все будет сделано заблаговременно, непременно, — стал обещать я и отчего-то оправдываться, будто был виноват перед ним. — Как жаль, что так скверно получилось, вот если бы пораньше... Надо же, прямо перед вами готовую кроватку отдал Светловой Светлане Григорьевне. Уж очень просила. А вы знаете, у нее внутика и она так рада.

При имени Светловой Кряхин как-то странно ощетинился, стал ерзать на стуле, ложко покашливал, но почему-то молчал.

Желая разрядить появившуюся скованность, я взялся за самовар, предложил гостю чашечку горячего чая.

— Нет, до чая я не любитель, кофе обожаю.

Отказался было прокурор с легким пренебрежением, но когда я объяснил, что в моем кипятке заварены также листья смородины и душицы, исцеляющие многие недуги, нехотя согласился. Он неуклюже перебирал толстыми пальцами горячую чашечку, с шумом дул, охлаждая кипяток, густо сластил вареньем, наконец похвалил меня за чудное приготовление, возобновил прерванный разговор:

— Светлану Григорьевну знаю, знаю очень хорошо. А как же, в соседях столько лет живем, да и вообще женщина заметная. Хм-м... И с супругом ее, Леонидом Петровичем, знакомы, даже в дружбе ходили, но все это в прошлом... Я, признаюсь вам, Иван Иванович, совсем не хочу понимать таких людей. А как вот вы, интересно, посмотрите на все это дело?..

И прокурор города, Валентин Абрамович Кряхин, подстрекаемый своими чувствами, поведал один интересный для меня случай жизни со всеми подробностями.

И этот случай я непременно хочу передать уже со своих слов и с большими подробностями...

Глава 5 **ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК**

Светлане Григорьевне нет еще и сорока лет, к тому же она выглядит намного моложе. На мой взгляд со стороны, эта женщина имеет легкое тело с правильным сложением всех членов, она стройна, ее густые светло-русые волосы всегда собраны в пышную прическу,

лицо исключает излишнюю яркость грима, глаза излучают свет небесный, – этот свет пронизывает всю нежную оболочку, и открываются такие выразительные центры, как обаяние, миловидность.

Благодаря таким нешуточным качествам все мужчины нашего дома и вообще встречают и провожают Светлову взглядом переполненного восхищения, и, вероятно, содержат внутри себя тайный интерес. По тем же причинам многие женщины встречают и провожают ее с чувством ревностного подозрения, порождая тем самым лишь презрение да склоки.

Однажды, совсем случайно, я подслушал сквозь свое полуокно разговор двух женщин, похоже, из нашего дома, лиц их, к сожалению, не видел, одни только ноги. Женщины обговаривали положение предстоящего праздничного вечера.

– И Светловы там будут?! – не понять, с испугом или с радостью воскликнула женщина с тонкими, гибкими и, как мне показалось, очень длинными ногами. Видимо, от подступившего волнения она начала быстро топтаться на одном месте: – Значит, и Светлана Григорьевна будет присутствовать собственной персоной. Так, так.... Ну ты там, милая, в оба смотри, я-то ее знаю – не успеешь глазом моргнуть, уведет, та еще тихоня.

Вторая женщина, с очень полными ногами, очевидно, человек спокойного нрава, медленно перевалилась с одной ноги на другую, при этом, должно быть, поразмыслив, молвила так:

– Нет. Что ты... Мой не позволит, даже если и что... Я-то его знаю.

– Ха! Знает она, – не унималась длинноногая и вновь быстро заплясала на месте. – Я вот тогда тоже думала, что знаю, а когда пригляделась... Вовремя от нее оторвала – затанцевались голубчики.

– Нет, что ты, мой не позволяет, он и танцевать-то в жизнь не станет, ему выпить, закусить да с мужиками побалагурить...

– Вот–вот. И я думала, что мой не танцует, а он тогда даже вальс закружил... Так что смотри в оба – эта тихоня всему научит...

Случались разговоры еще более взволнованные, более интимные. И мимо всех разговоров, всех косых взглядов Светлана Григорьевна шла смело, открыто, грациозно.

Ее супруг, Леонид Петрович – тучный, коренастый мужчина среднего роста, на голове у него ежик, уши маленькие и будто склеены с черепом. Своим внешним видом Светлов напоминает маститого боксера: нос плоский, массивная нижняя челюсть, смотрит исподлобья своими маленькими серенькими глазками. Леонид Петрович занимает ответственную должность на одном из химических заводов, и его откровенно жаль, ибо он выдерживает на себе такие научные испытания, от которых коробится весь человеческий облик. Полный его

характер и настроение нетрудно теперь предположить, зная внешность супруги и внимание к ней со стороны.

Итак, в тот день, который послужил причиной этого рассказа, Леонид Петрович Светлов почти всю ночь и до самого утра пребывал во сне, зычно, протяжно храпел, и его было жаль: последние дни рабочей недели он не покидал родного завода по причине непредвиденного визита из «центра». Вернулся в семью накануне вечером и на нем не было лица.

В расшторенные окна слабо вливался зыбкий свет, лучи с тру-
дом просачивались сквозь сгрудившиеся тучи.

В то время, когда Леонид Петрович продолжал оставаться в постели, в другой комнате под звуки рояля исполнялась песня: Светлана Григорьевна и две ее дочери – Маша и Даша – составляли прекрасное трио. Вдруг между протяжным храпом и звуками рояля вмешался жалобный крик кота Степы. Степа с удовольствием лизнул шершавым языком ногу своего хозяина, за что получил по боку желтой пяткой.

– Нет, ты у меня будешь мышай ловить, – летел вслед коту строгий голос.

У рояля затихли. Дочери зашептались:

– Папаня опять не с той ноги встал... Что-то сегодня будет...

Так оно и выходило: как только Леонид Петрович входил в новый день с подобным возмущением, в семье Светловых происходили всякие неожиданности. Главной причиной нервного раздражения становился не этот безобидный кот, а внутренний страх перед всем непредвиденным, случайным. В результате такого страха Леонид Петрович любил посомневаться во всем, бывало, не верил даже своим глазам.

Поднявшись с постели, он долго стоял у окна, позевывая, взирал то на пасмурное небо, то на сырой асфальт, после чего уверенно принял сомневаться:

– Разве сегодня седьмое?..

Светлана Григорьевна подтвердила, поздравила мужа с праздником и напомнила, что на сегодня они приглашены к Большаковым.

Спустя время Леонид Петрович стоял на огромном пушистом ковре и неуклюже натягивал на себя брюки. Когда брюки были на месте, он вдруг заметил нечто чрезвычайное и стал пристально вглядываться себе под ноги, с тем же особым вниманием опустился на колени и с великим сомнением провел по ковру ладонью.

– Света... Света... Откуда у нас этот ковер? – спросил он супругу, расширив глаза.

Его удивление тут же передалось Светлане Григорьевне, она испуганно разверла руками:

— Так ведь ты... Вчера вечером... С собой... Сказал, что от парткома...

Светлов заметно просветлел, пришел в себя, но строго предупредил:

— Смотри, нигде так больше не скажи. Не то время...

В то же время из детской комнаты доносились веселые девичьи голоса. Вскоре к родителям вышли Маша и Даша, они были в одинаковых платьях, на лицах свежесть, а их косы украшали причудливые заколки формы бабочки. Маша выбрала бабочку ярко-красную, Даша — нежно-голубую. Возраст девушек уже соответствовал периоду горячих познаний и первых влечений, их полные, живые груди вздымались неровно и таили в себе свое первое открытие.

Даша подошла к матери, ласково заглянула ей в лицо:

— Ой, мамочка, какая ты красивая! — радостно воскликнула она и что-то украдкой шепнула.

Маша, в свою очередь, довольно решительно подошла к отцу, охватила руками его большой живот, сдавила — так обычно делают силачи.

Светлов от неожиданности крякнул:

— Так и есть, перепутали... Тебе бы пацаном родиться.

Он попытался высвободиться и продолжить сомневаться, но Маша не отступала, прижавшись к отцу, по-детски обиженно заговорила:

— Не любишь ты меня, папочка. Вечно сердитый...

Слова дочери подействовали на отца, и он смягчился:

— Ну что ты, доченька, я не сержусь... Я ничего... Сами-то пошли бы вот да погуляли, чем дома толкаться. Чтобы только все, как положено, будьте как все, как надо... И чтобы безо всяких там этих самых...

Таким образом, получив родительское добро, радостные девушки выпорхнули на улицу.

А спустя некоторое время на крыльце каменного дома появилась коренастая фигура самого Леонида Петровича, о его руку достойно опиралась Светлана Григорьевна. Степенным шагом они направились в глубь города. Говорили о погоде...

Время было осеннее, даже уже не осеннее, а скорее промежуточное, которое упорно сопротивлялось последующему этапу — вид был самый неопределенный. Вся природа, на мой взгляд, стояла не на своем месте, непонятно смешалась и тускло маячила между небом и землей; небо было заключено в безмерный сосуд, на дне которого просматривалась мутная жижа, этот сосуд висел так низко и так неудобно, что казалось, будто он вот-вот опрокинется на человеческие головы; страдалица наша Земля давно испытывает на себе массу секретных операций и внутренних перетрясок, оттого выделяет температуру повышенную; падающий снег тает, не достигая своего места.

Вместе с природой смешался человек: одни шли в курточках, другие в куртках на меху, третий в длиннополых плащах, в пальто, в шубах, на головах – шляпы и шапки, шапочки и фуражки, платки и просто повязки, словом, каждый шел независимо, свободно, по своей наклонности, шел, как ему вздумается и куда ему вздумается.

А вокруг плакаты и лозунги, призывы и наставления, повеления и обещания, поздравления и многое, многое такое известное и настолько привычное, что глаза ничьи уже не смотрят, все заучено наизусть. Несомненно, затянулась вся эта история, как и сама осень.

Но погляди внимательнее, человек, сквозь снег и сквозь дождь, сквозь плакаты и сквозь материи кусок, – как отрадно, что выше всего мутного и зыбкого, пестрого и роскошного, летящего и коптящего теплится дух всеобъемлющий, который, вызывая осознание общее, как бы разжигает лучину жизни, и человек, уповая на мысль долготерпивую, верит и движется...

Поздно вечером супруги Светловы возвращались домой. Хмельной Леонид Петрович передвигался с трудом и не мог различить сложений ни на земле, ни в небе, в то время как Светлана Григорьевна очень жалела опавший осенний листочек, который долго и плавно танцевал на ветру, ко всему тихо напевала: «Гори, гори, моя звезда...»

На высоких столбах горело ярко электричество, но Светлов все же неуклюже споткнулся правой ногой, а левой ступил в грязную лужу. Лужа была не такой уж глубокой, но этого оказалось достаточно, чтобы обострить сомнения к сегодняшнему вечеру и, в частности, к своей супруге:

– Вы только поглядите на нее – она еще и поет, бессовестная женщина... Да разве же так можно, Света? Ведь это... Это просто бескультурно и, если хочешь знать, нечестно с твоей стороны – танцевать весь вечер, танцевать с кем угодно и как угодно... На тебя одну только и смотрели все. Да ты знаешь, кто ты в глазах этого общества?..

Он, вероятно, хотел сказать очень обидное определение, может даже оскорблениe, но в это самое время случайный опавший листок с размаху шлепнул его по лицу да так точно, что совершенно залепил левый глаз. От такой неожиданности Леонид Петрович потерял равновесие, неуверенно шатнулся, взмахнул руками и точно шагнул в большую яму. Оттуда жалобно вскричал:

– Что за чертовщина? Света... Ты здесь?.. О, я так и знал, я чувствовал, что этим все кончится...

Но этим все не кончилось. Дома он принял смытьвать с себя налившую грязь. Светлана Григорьевна усердно помогала, но потерпевшего уже ничто не устраивало. Скоро обнаружив, что дочери до сих пор отсутствуют, он завелся с новой радостью:

— Вот оно — твое воспитание... Вылитые три капли воды. О, я уже вижу, чем все это кончится... Нет, с завтрашнего же дня все будет иначе, начнем жить по-новому, по-другому...

По всей вероятности, Светлов Леонид Петрович полностью не осознавал, что говорил, но было явным его горячее желание уйти от самого себя, он жаждал перемен, то чувство, которое интриговало, также не было осмысленным, но так или иначе именно это чувство вылилось в настроение — оно и привело к развязке...

В квартиру коротко позвонили. Светлана Григорьевна мгновенно встрепенулась и уже направилась было к двери, но супруг строго скомандовал:

— Не открывать. Пусть постоят там и подумают... Полуночники. Вот с этого и начнем жить по-новому.

Следом позвонили еще раз, еще... Леонид Петрович продолжал упорно стоять на своем.

Вдруг на дверь надавили с такой силой, что затрещали дверные косяки. От такой наглости Светлов подскочил и, нервно дергая руками, направился в прихожую, в следующую минуту оттуда донеслись подозрительные звуки.

Светлана Григорьевна быстро прошла вслед за мужем и здесь увидела, как двое неизвестных молодых парней силой справляются с ним, связывая бельевой веревкой по рукам и ногам. Поверженный испуганно моргал глазами и ничего не мог. Светлова была также повалена, лежала на диване очень бледная, почти без чувств, ошеломленная, связанная по всему телу, и безвольно наблюдала, как грабители быстро собирают и укладывают в узел нажитое добро.

Светлов некоторое время находился в состоянии несказуемого страха, безнадежно наблюдал за происходящим со своей стороны, но по мере того, как узел увеличивался, начинал приходить в себя, вскоре не выдержал:

— Эй, разбойники! — вскричал он чужим голосом и сам за-дрожал. — Ребятки, кого грабите? Честного гражданина!

Парни только ухмыльнулись: честняга нашелся. Один из них подошел к связанному, предупредительно покачал над ним костлявым кулаком, сурво спросил:

— А ну, краснокожий, признавайся, где деньги прячешь?

Светлов решил слукавить, прикрыл глаза, изобразив полное беспамятство, но тут же получил добрую оплеуху, громко вскричал:

— Ты что же, хулиган, дерешься. Нет у меня ничего... Забирай, что взял, и уматывай. Не то...

Он, видимо, хотел пригрозить милицией или попросту напустить страху, но вовремя одумался, увидев над собой нависший кулак.

Судя по тому, с каким усердием один из грабителей рылся во всех углах, нетрудно было догадаться, в какое смятение приходил Светлов, он понимал, что, не обнаружив тайника, его тут же станут зверски пытать. Представив на своем животе раскаленный утюг, Леонид Петрович выдавил горькую слезу: неужели все кончено?! В это время он уже не жалел своего богатства, которое так легко уходило, но презирал теперь свою слабость, от которой очень страдал. Вместе с тем в нем родилось чрезвычайно светлое желание жить. Это желание было настолько велико и было таким благотрепещущим, что он неожиданно взмолился: «О, Господи!..» После первых же слов души Светлов сам себе сильно удивился, ибо впервые за всю свою жизнь вспомнил о Боге. Но слова мольбы были сказаны с таким искренним чувством, что Леонид Петрович ощутил в себе небывалую помощь, скорее продолжил: «О, Господи! Прости меня, грешника окаянного... Раскаиваюсь в своем прошлом, ибо вижу сам, отчего пришла беда в дом мой... Спаси, Господи! Никто, кроме тебя, не спасет теперь... Каюсь... Каюсь...»

В чем раскаивалась душа Светлова, и за какие такие грехи вымаливал он прощение, известно только ему самому и Богу.

И Бог благополучно распределил каждое последующее передвижение...

А случилось так, что вместо денежного тайника грабители натолкнулись на картину, где были изображены Маша и Даша. Художник сумел восхитительно объединить портретную схожесть девушек с бо-гоопрятным лицом природы: на плечи милых сестриц ложились, словно обнимая, пышные ветви цветущих дерев, на головах лежали яркие веночки, сплетенные из разновидных лесных цветов, а выше, будто оберегая, парили птицы. Маша и Даша сидели, обнявшись, на зеленой травке, смотрели на мир с нескрываемой любовью, и, казалось, будто вся природа окутывала их своими неисчислимыми нарядами.

— Красотища... — вымолвил один.

— Здорово, — подтвердил другой. И неуверенно признался: — Гришка, да я ведь их как будто знаю...

В это время комнату заполнил тяжелый стон. Светлана Григорьевна, связанная по рукам и ногам, все-таки попыталась встать, но движения не получались. Она тихо попросила:

— Молодые люди, будьте так любезны, подайте глоток воды. Мне так плохо...

Грабители встревожились. Гришка переменился в лице, принялся озабоченно дуть в лицо пленнице, быстро распорядился:

— Мишка, развязи ее, а я воды принесу.

Испив воды, Светлана Григорьевна от души благодарила молодых людей, называя их воспитанными и порядочными...

Маша и Даша, ни о чем не подозревая, возвращались домой. Как обычно бывает в таких случаях, молодые девушки, оставшись наедине, теперь откровенно обсуждали проведенный вечер.

— Как здорово все получилось — спектакль удался. Этот Стасик теперь долго будет нас помнить. Правда, Даша, — от души смеялась довольная Маша.

— Точно, — подтвердила Даша. — Хамелеон несчастный. Я-то его жалеть начала — прикинулся обиженным, всеми обманутым... Здорово же ты, сестренка, с заколками придумала. Обязательно маме расскажем.

Вспомнили о доме, и смех сразу исчез.

— Ой, что сейчас будет...

— Папа, наверное, тигром ходит.

— Одна мама — наше спасение.

Девушки бесшумно открыли дверь, крадучись вошли в прихожую и тут, под ногами, обнаружили некое живое существо, которое каталось по полу и выделяло из себя звуки, подобные жалкому мычанию.

А из глубины квартиры ясно доносился голос рояля...

На том и кончилась эта история с двумя неизвестными. Светлана Григорьевна довольно быстро нашла свой сердечный подход к Мише и Грише, которые, в сущности, оказались далеко не злодеями. Труднее было с Леонидом Петровичем, который еще некоторое время отходил от мелких ушибов и при этом припоминал свои внутренние переживания. Все обернулось на пользу. Ровно через год в семье Светловых был двойной праздник: Маша выходила замуж за Гришу, Даша за Мишу. Со слов достоверных очевидцев, могу сказать, что в дни свадьбы всех глубоко поразил Леонид Петрович. Он был как никогда весел, беспрестанно танцевал и радостным голосом оповещал: «Можете меня поздравить, друзья, у меня теперь два сына, да каких!..»

Странное дело, когда Кряхин окончил свой рассказ, то недовольно нахмурился:

— Так вот, судите сами, что за семейка. Нет, чтобы отдать преступников под суд, они их укрыли. Мало того, сам Светлов пристроил их у себя на заводе.

Я же, в свою очередь, ощутил радость за счастливый конец этой истории.

— Так это же здорово! — воскликнул я улыбаясь. — Это просто прекрасно, что люди побороли зло и нашли согласие. Нужно радоваться, дорогой Валентин Абрамович, а вы хмуритесь... Не пойму, что вас пугает? Может, то, что парни пришли в дом непрошено, против закона, так ведь это — жизнь. Ну с кем не бывает...

Мое «с кем не бывает» отрицательно подействовало на Кряхина, его бордово-красное лицо вмиг потеряло обычную сочность. Он принял быстро-быстро моргать, пробубнил что-то невнятное и поспешно ушел.

Меня же очень заинтересовало такое неясное поведение прокурора, его сдержанное волнение определенно выражало некую секретность. И вскоре пришел ответ...

Глава 6 **С КЕМ НЕ БЫВАЕТ**

Мой скромный угол посетила Светлана Григорьевна Светлова. Она принесла большую банку варенья из черной смородины и еще раз благодарила меня за кроватку. Я же не замедлил пригласить ее на чашечку чая. Завязался обыденный разговор о погоде, о жизни, о знакомых лицах. Будто отгадывая мой интерес, Светлана Григорьевна упомянула о Кряхине и рассказала о том, что у него есть замечательный сын Павел, о котором и будет этот рассказ.

… В каменном доме не так давно жила Анна Тимофеевна Боженова. Жила одна, без мужа, но у нее был сын Сергей, который в ту пору освободился из мест лишения свободы, и именно по этой причине мать собралась в прокуратуру.

К прокурору она шла не в первый раз, по дороге очень искренне в душе молилась и держала при себе образок Божьей Матери. Затем долго и терпеливо ожидала перед дверью прокурора. Но получалось так, что прокурор был все занят и занят. Наконец распахнулась дверь и Анна Тимофеевна неуверенно ступила в кабинет.

Кряхин (это был именно он) не поднял глаз, он продолжал подписывать множество бумаг, а когда окончил и оглядел вошедшую, выразил свое недовольство:

— Это опять вы… Очень даже нехорошо злоупотреблять соседскими отношениями. Я же вам уже все объяснил и другого разговора быть не может.

Он сказал, как отрубил, резко встал со своего кресла, как бы провожая тем назойливую посетительницу. Пожилая женщина вся съежилась, точно ее окатили ледяной водой, стала извиняться:

— Простите меня, Валентин Абрамович, если я расстроила вас, но поверьте, я совсем не думала злоупотреблять. Сегодняшнюю ночь опять не спала… Все понять не могла… Вот потому и пришла.

Кряхин смягчился, опустился в кресло.

Анна Тимофеевна продолжила уже уверенней:

— Не подумайте, что я пришла выгораживать сына и обвинять кого-то в такой его судьбе... Но что было, то прошло, теперь он дома и должен жить, как и все нормальные люди. Вы согласны?

Измученная мать с робкой надеждой заглянула в лицо прокурора. Тот хмурился:

— Что вы этим хотите сказать, договаривайтесь?

— Я хочу сказать, что сын мой отбыл срок за свое преступление, теперь он должен быть свободным. Но почему за ним до сих пор такой ужасный надзор? Не понимаю, и как мать, и как человек...

Кряхин не выдержал, прервал довольно грубо речь Боженовой:

— Не понимаете, а ходите здесь... Только время с вами попусту теряю. Что вы хотите в конце концов? Уж не думаете ли перестроить общепринятый закон?

— Перестраивать законы не материнское дело. Я только хочу, чтобы сын мой поскорее забыл плохое, а для этого прошу вас снять эту нелепую слежку... Согласитесь наконец, Валентин Абрамович, с кем в жизни не бывает...

Мысли Кряхина в это время, вероятно, были заняты посторонним предметом, или же он попросту недопонимал свою собеседницу, оттого все услышанное приводило его в раздражение:

— То есть как это, с кем не бывает? Уж не хотите ли вы сказать, что каждый человек способен на такое...

Прокурор не договорил, в кабинет вошел Павел Кряхин. Павел, сын Валентина Абрамовича, работал здесь же, в городской прокуратуре, и занимал место помощника прокурора. Отец-прокурор преобразился, всем своим гордым видом указывая на сына-помощника.

Анна Тимофеевна взглянула на молодого Кряхина, отметила его значительное сходство с отцом, с грустью подумала: «Отец состарится, его кресло займет сын и будет то, что было...»

Но произошло неожиданное. Павел положил на стол папку, полную бумаг, и уверенным тоном потребовал от отца объяснений...

Между отцом и сыном завязался горячий спор, совсем неуместный при постороннем человеке. Боженова, не желая быть лишней, удалилась.

Она еще долго и терпеливо сидела на стуле перед дверью прокурора, слышала, как отец кричит на сына, а сын не уступает, про себя подумала: «Значит, на себя похож». Было еще много других мыслей, которые обычно волнуют душу человека. А после всех своих размышлений заключила: «Мир не без добрых людей».

Прошло немало времени, и Анна Тимофеевна поняла, что на сегодня лучше будет смириться, и покинула здание прокуратуры.

На остановке, ожидая автобус, она вдруг спохватилась: иконка... Досконально убедившись, что ее при себе нет, поспешила назад.

Вернувшись, она сразу же увидела свою потерю: образок Божьей Матери, на удивление, оставался лежать нетронутым на стуле. В этот момент с шумом открылась дверь и из кабинета не вышел, а вылетел взъерошенный Павел. За ним не отставал Валентин Абрамович, то и дело пытаясь остановить упрямого сына. Анна Тимофеевна, почти машинально, поплелась за ними.

Со стороны было видно, что спор между отцом и сыном имел напряжение чрезвычайное: у сына на ботинке болтался развязанный шнурок, мешал идти, но он не обращал внимания, а отец не видел, как на последней петле его плаща висел пояс и тянулся позади, как хвост. Глядя на взволнованное лицо Павла, казалось, что в этом молодом организме что-то сорвалось, но не упало, а колебалось, удерживая равновесие. Но уже в следующий момент его лицо выразило страшное удивление, подобное испугу, он схватился за живот руками и, озираясь по сторонам, побежал в подъезд ближайшего дома.

Секрет столь странного поведения не трудно предугадать, со стороны все будет лишь смехотворным, хотя в действительности каждого в жизни ожидают сплошные неудобства и разные неприятности.

Павел Кряхин побежал к первой же двери, стал скорее звонить, но ему никто не открыл. Когда попросился в следующую квартиру, то из-за двери мужской хриплый голос сообщил, что она одна и еще маленькая, и папа запретил открывать чужим. Он бросился к третьей квартире:

— Извините, пожалуйста... Будьте так любезны... — запальчиво перечислял молодой Кряхин общезвестные формулы вежливости, а сам, как в таких случаях бывает, притопывал ногами. — Будьте так добры, хозяйка, впустите на минутку... Сами понимаете, дело известное...

Из-за двери равнодушно отвечал женский голос:

— Я бы, наверное, открыла вам... Тем более вижу, что действительно не стоите на месте, — хозяйка умолкла и, видимо, размышляла, рассматривая в глазок просителя. — Я бы, конечно, открыла, если бы в другое время, время нынче опасное: люди злые, убивают, грабят, насилуют, говорят одно, творят другое. Как вот вам верить?

Несчастный клялся:

— Да что вы... Вы не подумайте... Не бойтесь же меня, наконец, не вор я вовсе, а прокурор. Правда, молодой еще, но все-таки.

Для достоверности он развернул перед глазком свое прокурорское удостоверение.

Голос за дверью повеселел:

— Вот так да... Прокурорчик, значит? Это интересно. А вот недавно к соседке один тоже попросился — студентиком назывался, так такого натворил...

Женщина пересказала всю историю, со всеми подробностями. Когда же открыла дверь, из любопытства, то уже никого не было, она осторожно попробовала воздух носом, и лицо ее скривилось:

— Фу-у... Какое хулиганство. Вот тебе и прокурорчик. Никакой терпимости.

После чего проворно взбежала этажом выше и пригласила домоуправа.

Из того же подъезда, вместе с неприличными запахами, как ошпаренный, выскочил Валентин Абрамович Кряхин. На выходе он увидел Боженову и вне себя от ярости вскричал:

— О-о! Это опять вы. Да вы меня просто преследуете...

Прокурор поспешил от злополучного места.

Боженова вошла в подъезд и очутилась в группе любопытных, которые теперь повыходили из своих квартир и весело удивлялись.

Павел Кряхин стоял один в темном углу и прятал глаза.

Пожилой домоуправ в пижаме и с большим животом раскрыл свою тетрадь и подготовился записывать, спрашивая:

— Так, ваша фамилия, имя... место работы?

Кряхин молчал.

Тогда домоуправ решительно объявил:

— Не желаете говорить, значит будем отправлять в отделение, заведем уголовное дело за злостное хулиганство...

Павел сгорал от стыда, глаза его прилипли к полу, он не мог представить себе, чем все это кончится...

— Прокурорчик... прокурорчиком назывался, — выкрикнула женщина, не впустившая в свою квартиру Кряхина, и все обступившие, приняв эти слова за шутку, весело рассмеялись.

Анна Тимофеевна тронула домоуправа за руку, тихо обратилась:

— Это сын мой. Моя фамилия Боженова. Я сейчас за ним все уберу. Только прошу вас, без милиции. Поймите, такой случай, с кем не бывает.

Хорошо, когда все хорошо кончается. Когда человек побеждает ужасное отвращение к своей природе, он обретает прекрасное. И потому неудивительно, что после этого происшествия Павел Кряхин, перейдя на адвокатскую должность, помог Анне Тимофеевне в снятии надзора с Сергея.

Глава 7 СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА

Говоря о прекрасном, нельзя не сказать о нашем талантливом художнике по имени Иннокентий. Тихий, застенчивый, безобидный, о таких людях так и говорят: «Он даже мухи не обидит». И действи-

тельно, он никогда не закричит, не скажет грубого слова, всегда поможет старикам, а плохое обойдет стороной. Фигура Иннокентия легко отличима: высокий, хилый, голова имеет форму яйца, при ходьбе покачивается на длинной шее. Как уже говорилось, художник с виду неряшлив, его костюм обычно испачкан свежими пятнами краски и это характерно – без их совокупности облик героя считался бы не полным. Его любимая жена Людмила вздыхает с сожалением, когда супруг приносит на себе в дом свежие пятна краски, но сожалеет не о замызганном костюме, а о своем супруге, который опять в пленау новой работы. Последние годы Иннокентий был одержим образом современной женщины. Этот образ измучил его вконец.

Поздним вечером Иннокентий возвращался из своей мастерской домой. На пороге повстречал своего старого друга, который откровенно пожалел его:

– Жаль на тебя смотреть, дружище. Совсем от дома оторвался, так и недолго потеряться. А кого ты так упорно ищешь, живет рядом с тобой...

Определив тонкий намек друга, художник с новым вдохновением пускается в свои поиски по каменному дому. Останавливается на Светлане Григорьевне Светловой. Пишет картину...

Наконец работа завершена: великолепная свеча топилась под ярким факелом огня, свеча занимала большую часть картины, была огромных размеров, и от всего веяло чувством мистики. Форма свечи имела плавные изгибы и напоминала стройный стан женщины, а сквозь нежный свет пламени, подобно зеркальному отражению, прощматривался ее лик – сходства указывали на Светлову; свет пламени ярко освещал ликующие лица людей, которые в едином хороводе исполняли вокруг свечи общий танец.

В конечном размыщении художник остался недоволен: «Свет, свет, свет... Нет, это уж слишком. Свет праздный – свет обманчивый», – так заключил он и загрустил еще пуще.

Но не остановился и соответственно своему мрачному состоянию вышел на Екатерину Павловну Барышникову, которая была польщена – с нее будет написан портрет, и не исключено, что его купит какой-нибудь музей...

И вот полная картина: в центре расположен могучий паук-каракурт. Паук изображен на светло-голубом фоне ясного неба, но все милое пространство заковано в сеть-паутину, по площади сети впутаны плененные фигурки-жертвы, выраждающие свою трагедию. Паук, как и свеча, также полон человеческого облика и вызывает внутреннее беспокойство.

После глубокого сосредоточения перед картиной художника охватывает ужас. Он самолично относит свои работы к ряду сумасбродных и надолго пропадает...

Предстал он передо мной совсем неожиданно. Ранним майским утром ко мне пришел дядя Миша, он держал под руку еле живого Иннокентия.

— Под крыльцом нашего дома валялся, — объяснил дядя Миша и попросил: — Пусть в твоем углу проспится. В семье трагедия.

Спустя время художник сидел на моем скрипучем стуле за самоваром и был откровенным.

А случилось так, что после долгих исканий Иннокентий вспомнил о своей семье. «Забыл. Совсем забыл. Действительно верно сказал давеча мой друг...» Он тут же решил оставить свою мастерскую и вернуться домой.

Вечерний ветерок мигом освежил художника, и он решил прогуляться. Пошел по центральной части города мимо сверкающих витрин магазинов, мимо красочных афиш кинотеатров. И везде были люди, люди красивые, счастливые. Машинально увлекся женщинами и словно прозрел: они все, как одна, — вытянутые груди, утянутые талии, грациозные походки, кукольные мордочки, но, может, одна особа пониже, другая повыше, одна сухопарая, другая увесистая, одна держится свободно, другая потаинственнее, а в общем у всех явно одно желание — привлечь, быть на виду; мужчины, кто тайком, исподлобья, а кто и в упор, так и следят своими страстными глазами за отшлифованными изгибами женского тела, женщины при этом ободряются, испытывая на себе заслуженное внимание, и, словно Сказочный цветок, тихо раскрываются — надо только заметить. «Так вот какова вся премудрость женской натуры — обратить на себя внимание особенное, испытать при этом чувство тихого восторга, чувство величия, чувство обоюдного искушения, которое волнующе растет, тайно предлагая продолжить игру для двоих...» Иннокентий незаметно ударился в философию. Вместе с тем, поддавшись неясному волнению внутри себя, он немного подосадовал, что сам так неловок для подобных состязаний и, хотя содержит особое внимание к женской стороне, остается незамеченным.

В это время художник, немного обиженный, немного рассеянный, неуклюже столкнулся с проходящей молодой женщиной. Женщина, видимо, очень спешила, она бросила на ходу обычное «извините» и продолжила свой путь.

Иннокентий, в свою очередь, сильно растерялся, замешкался и принял возмущаться самим собой: «Какой же я невежда. Вышел на люди, а сам спотыкаюсь, мешаюсь в движении, даже не имею приличия извиниться первым...» Он быстро пришел в себя и поспешил вслед незнакомке, чтобы исправиться, но тут же был всецело захвачен ее видом. «Эка лебедь! Не идет, а парит над землей. Все движения уверены, точны. Только я, болван, мог вмешаться под такую

ногу... А нога, нога-то, не так стройна, но как послушна своей хозяйке, чувствует под собой почву. Однако есть особенность...»

По ходу передвижения Иннокентий, сам того не замечая, стал преображаться: умерил, выровнял шаг, развернул хилую грудь, выпрямил плечи, при этом всегда вытянутая шея обратилась в нормальное положение.

Незнакомка, будто догадываясь о тайном преследователе, обернулась, обозначила на своем милом личике многозначительную улыбочку и игриво последовала дальше, как бы принимая за собой такое участие.

В то время, когда милое личико женщины очень привлекательно светилось в улыбке, художник с нескрываемым интересом разбирал глазами натуру, выводил пропорции всех членов... Вдруг он замер, резко остановил свой шаг, будто столкнулся с преградой. У Иннокентия екнуло сердце, капельки холодного пота выступили на бледном лице. «Людмила... – со страхом признал он в незнакомке свою супругу. – Людмила. Да как же так?! Не может этого быть... Нужели я настолько слеп, что не смог признать сразу. Как же я теперь глуп и ничтожен перед ней, плесться, как последний пижон, а она... она меня давно признала, даже дала понять... Вот опять смотрит на меня...»

Супруга Иннокентия действительно обернулась, но поглядела на своего пойманного преследователя не с презрением, а, напротив, улыбнулась ласково, будто была неимоверно рада этой нелепой встрече.

Художник успокоился: «Простила. Конечно, простила. Я ее знаю, она не злопамятна». Он догнал Людмилу у крыльца каменного дома, когда вечерний сумрак густо опустился на город, осторожно взял ее за руку и весь приготовился, чтобы признаться в том, чего раньше не признавал. Видимо от избытка нахлынувших чувств он не находил слов, а только дышал жаром.

Чуткая женщина поняла мужчину.

– Молчи... Ничего не говори, не надо. Я все понимаю, – шепнула она и повлекла за собой.

В коридоре оказалось очень темно, художник ощутил некую таинственность, его охватила приятная дрожь, – так бывало в первое свидание ушедшей юности, от своего внутреннего трепета он споткнулся и чуть было не упал. Людмила предупредила:

– Тс-с... Тихо, как можно тише, – сказала она, осторожно открывая дверь в квартиру. – Дети, наверное, уже отдыхают. Не надо мешать.

Иннокентий поправил движения, ступал бесшумно, недоумевая от радости: «Так вот ты какая – тихая, заботливая, осторожная... О, счастье мое!» И когда оказались уже в своей спальне, он попытался включить свет, чтобы удостовериться: не сон ли это? и еще больше

обрадоваться, но супруга остановила, нежно прильнув к притихшему мужчине...

Ночь для Иннокентия пролетела, как короткий сон; он откровенно удивлялся своей неустанной Людмиле.

Под конец изможденный художник уже тупо соображал и потому сразу не понял, почему любимая супруга еще досветла выпроводила его из родного угла, а на прощание ласково сказала:

– Ты ступай... Возвращайся к себе и живи, как жил... А через недельку встретимся, буду ждать. И пусть все будет, как в первый раз...

Он с радостью согласился, но стоило только выйти на пустынную улицу дремлющего города, как предутренняя прохлада мигом отрезвила ум: «Так, значит, это была Ложь?!»

На этом рассказ художника заканчивается, и по нему я вижу, как он еще борется со своим недоумением, пытается не верить себе, трясет головой и тупо бормочет: «Кошмар... Кошмар... Так вот, какова женщина – тихая, как мышь, хитрая, как лис, страшная, как ночь».

Иннокентий оставался жить у меня. В свою квартиру идти не хотел, забыл про мастерскую и заметно разлагался. Днем он пропадал неизвестно где, а когда возвращался на ночлег, то был нетрезв. Мне было жаль несчастного, в его попойках я видел единственный способ хоть как-то утопить свое горе. Если художник приходил сильно пьяным, еле волоча ноги, то он на это время забывался, говорил невнятное, но говорил без зла, спокойно, пусто улыбался и тут же засыпал. Но бывало, возвращался в ужасном состоянии: был пьян, но страдал неусидчивостью, глаза возбуждены, в ярости порывался в свою квартиру, чтобы наказать свою жену, после моих долгих утешений он остывал, долго плакал и тихо, сквозь слезы мечтал покончить жизнь самоубийством.

Случилось как-то, что Иннокентий дня два отсутствовал, меня охватило беспокойство и я пошел по следу...

Глава 8 **АФГАН**

В каменном доме живет Стрельцов Олег. Близкие зовут его Афган. Олег воевал в Афганистане, где стал инвалидом самым первым: его холодные ноги, как веревки, болтаются между костылями. Ему нет еще и тридцати лет, но он уже один: его жена, забрав маленького сына, ушла в другую семью вскоре после возвращения калеченого мужа. Зато, в знак благодарности и взаимопомощи, Стрельцову выделены от государства сверхпенсионные рубли. На эти небольшие деньги бывший воин теперь содержит

личного опекуна, который всегда рядом. Это Наташка Кувалда. Кличка «Кувалда» присвоена самим Афганом за ее тяжелый кулак. Кувалда попала к Афгану не случайно, а с поллитровкой, которую негде и не с кем было разделить, да так и осталась. Она толста и некрасива, если смеется, то очень громко, если плачет, то очень тихо, но зато Наташка имеет горячее сердце и сильные руки, которыми бережно и успешно переносит слабое тело Афгана в часы его сильного упадка.

Было раннее утро, когда я подошел к квартире Олега. Дверь оказалась незапертой, и я бесшумно вошел. Из глубины квартиры до меня тут же донесся отчаянный голос, который строго приказывал: «Подъем! По дому № 13 объявляется всеобщий подъем...» Командовал Афган, это было его любимое, сохранившееся в привычке упражнение, которое он проявлял довольно часто.

Меня захватил интерес, я стал пробираться глубже в квартиру, то и дело наталкиваясь на предметы всевозможного рода, совершенно негодные для дальнейшего употребления в жизни. На полу валялись пальто, куртки, поношенные и замызганные до полной потери какого-либо цвета, в углу комнаты из этой серости выделялось бордово-красное одеяло с грязными краями, а из-под всего этого хлама выглядывали самые разные человеческие лица: измятые, опухшие, небритые, беззубые, но с дымящимися окурками во рту. Здесь, казалось, поселился весь тот многоликий мир, без которого не может быть сегодняшней истории. В свете начинающегося дня в квартире полностью отсутствовали краски жизни, все охваченное глазом пространство было погружено в зыбкую пелену серости, утренние лучи солнца с трудом просачивались сквозь засаленные стекла окон, от всех предметов проистекали фиолетово-мутные оттенки.

В дальнем углу комнаты стоял Афган, слегка покачиваясь, но, к моему великому удивлению, стоял сам на своих собственных ногах, без Наташкиной помощи, и только одной рукой опирался о костыль, а другой рукой о спинку стула.

На этом стуле я увидел выставленную картину, которая, словно живой луч, светилась среди общего хаоса. Картина изображала удивительное сходство с первоначальным обликом нашей планеты – земля была полна цветов и света.

– Ну что, видите... видите... – вскричал Афган вне себя от радости, сам с трудом шевелил ногами.

На него из разных углов смотрели полусонные лица друзей, все изумленно улыбались: стоит Афган.

– Вот он! Вот... – торжественно указывал он рукой, и, казалось, сам задыхался от избытка чувств.

Здесь-то я и увидел своего пропавшего художника, на которого теперь было обращено все внимание. Но, удивительно, что на лице героя вздувалось, видимо от недавних побоев, несколько синяков.

Спустя некоторое время Иннокентий был уже в моем углу.

– Афган костылем уделал, – сознался он, потрогал ушибленное место, продолжил: – Ты только не смей, Иваныч, подумать чего дурного об этом парне. Он – бедолажка, увечный и никаких к нему претензий. Вот только горяч сильно... Так кто в этом виноват? Сами сформировали. Да, да, все мы хоть как-то да причастны...

Он принял горячо осуждать все человеческое. Я же, желая больше послушать об Афгане, стал подстрекать:

– Так за что же тебя этот самый герой так отдал?

– Вот за все такое вражеское и отдал. Спорили мы с ним... Он вообще любитель поспорить, хватка у него такая, чисто командирская, чтобы все по его и ни гугу, хотя сам мало что смыслит. Зато рисует он, сейчас, в его положении, это хорошее лекарство. Только вот кроме своих душманов ничего не мог рисовать – дым да огонь... Я ему и говорю тогда: «Ты, Олежек, брось рисовать эти ужасы войны, незачем». – А он мне в ответ: «Так я же ничего больше не могу. Со школы такие страсти рисуем, сами учили». – «Это неправильно было, ошиблись природой. Нужно березки рисовать, солнце...» – А он мне опять свое: «Я рисую, что болит». – Я ему тогда вставочку: «А ты рисуй, что лечит». После этого он слов не нашел да как вскричит, будто в него пуля попала, давай все крушить... Уж больно горяч. Но, главное, что он согласился вскоре. И мы с ним два дня вот, стакашку пропустим, поработаем. Без вина пока не может. И знаешь, в эту ночь он пошел...

Здесь Иннокентий сделал паузу, удостоверился, внимателен ли я, его лицо при этом выражало острую чрезвычайность, и у меня по телу побежали мурashki, как обычно бывает в момент мистического углубления. Он продолжал почти шепотом:

– Значит, проснулся я от какого-то толчка, будто кто изнутри позвал. В общем, проснулся я, вижу, еще ночь, лежу и, как сова, глазами шевелю. Вдруг в окно как засверкает – луна подошла, так и светит чистым серебром. На меня от этого света нашло такое спокойствие, словно царствие какое вокруг воцарилось, и куда только весь хлам исчез. Странное ощущение было... Здесь вижу, Афган встает, без костылей, без Наташки, я глаза давай тереть – не верится, а он пошел, пошел, осторожно ступает, как впервые в жизни, ходит, значит, по комнате, вглядывается, как бы выискивает, стену стал ладонями гладить, присел и пол потрогал. Я сразу понял – лунатит, замер весь, чтобы не повредить. А он еще погулял чуток и улегся самолично. Я порадовался за Олега, хотя сам еще до конца не уразу-

мел, как это у него получилось, а тут слышу, плач, тихое всхлипывание, как обычно дети успокаиваются после невроза, плакал Афган. Я сразу к нему: что? да как? кто обидел? А он мне так искренне, точно действительно ребенок начал пересказывать, как он только что, во сне, бывал в своем родном селе, где родился, там по берегу речки бродил... Я его сразу за плечи поймал, трясу и ору от радости: «Это ты не во сне, это ты по правде. А ну, давай вставай...» Пойти, он не пошел, но ноги свои почувствовал, потеплели ноги, значит, возвращаются к жизни.

От всего услышанного я ощутил радость за нашего Афгана, радость за нашу Землю, радость за наше Солнце.

Вместе с этой радостью я вспомнил о своем родном доме и затосковал. Моя тоска была наполнена горькой жалостью, как к чему-то брошенному, забытому, одиноко стоящему и зовущему.

На следующий же день я и художник тряслись в пыльном автобусе, покидая город...

Глава 9 **КУРЫ МОИСЕЯ**

Деревня. Деревянные постройки свежи и уютны в цветущей растительности. Деревенская природа – живой уголок, утешение человека после городской суеты. И действительно, людей будто бы прибавилось...

На крыше знакомого дома я увидел смелые передвижения – сосед Моисей сооружал на высоте обширную площадку, напоминающую трамплин.

Стало любопытно. Мы подошли совсем близко. Я, поприветствовав соседа, спросил:

– Что, Моисей, к небу потянуло?

– Потянуло... – отвечал сумрачно Моисей, откладывал в сторону тяжелый молоток. – Только против души такая затея. Да куда деваться – внук просит. Вот как в школу пошел, чуден стал, сладу нет. Прошлый год в каникулы гостил, так такого натворил...

Я стал внимательным, а Иннокентий, как я понял, был увлечен деревенским пейзажем, хотя делал вид, будто тоже думает о внучке Моисея.

Моисей, в свою очередь, поудобней устроился на своей крыше, свесив ноги, закурил и принял забавно рассказывать:

– Поначалу он ту, нашу, стайку облюбовал, местечко отдельное оборудовал под самой крышей, и все там один что-то... Ну, да пацан есть пацан, известное дело, только вот бабка наша все в доме ворча-

ла: чудилось ей, что куры наши беспокойно кудахчут, будто кто их испытывает. Мне не до того. Но выхожу однажды утром во двор. Воздух, помню, свежий, теплый, как парное молоко, только подумал о рыббалке, а тут глядь... В общем, сидит посреди двора моя бабка, лопочет что-то несуразное да крестится быстро, глаза большие сделала, будто родилась заново, и улыбается. Ну все, думаю, рехнулась старая. А она меня завидела и шепчет: «Молись, старый, молись скорее, благодари Господа... Наш двор только что святой дух посетил, знамение благое принес на птице божьей...» Я, как по велению, перекрестился... Здесь вижу, выходит из стайки одна наша кура да так важно, будто она петух, гляжу, а перья-то у нее, краской разной изрисованные, пестрят, точь-в-точь жар-птица. Ну я тут и допер да как заржу, а кура наша как взлетит...

Сосед действительно заржал, как жеребец, но скоро умолк, посеръезнел, опять продолжил:

— Дело не в том, что внук обучал кур летать, да всякие экспериментики над ними устраивал, главное, что произошло чудо: в курах наших, неведомо с чего, порода новая открылась, глядите сами — не куры, а целые страусы...

Я посмотрел на гуляющих кур и был поражен: некоторые из них имели чрезвычайно длинные конечности, их соотношение с туловищем представлялось уродливым, создавалось мнение, будто эту птицу кто-то долго и насилино вытягивал.

Иннокентий также заинтересовался и был удивлен больше меня. Внимательно изучив кур необычного телоустройства, прошептал мне на ухо: «Нет, Иваныч, тут что-то нечистое... Совсем ни к чему курице иметь такие конечности».

Моисей, находясь по-прежнему на крыше, тоскливо наблюдал за гуляющими курами и, будто угадав мысли художника, подтвердил:

— Да, совсем дрянь дело — петухи-то робеют, вот беда, как им теперь устоять перед такой птицей...

Моисей опять взялся за молоток, а мы с художником направились вверх по холму.

Глава 10 **АЛЕНУШКА**

Деревенская жизнь согревала художника. И душа, и мысли, и весь он сам теперь принадлежали природе. «Райский уголок», — восторгался он искренне.

Иннокентий подолгу пропадал с этюдником и приносил в дом красочные этюды и свое здоровое настроение.

По вечерам мы всегда пили чай, много говорили о природе, об искусстве, о человеке. В разговоре, так или иначе, Иннокентий вспоминал свою Людмилу плохим словом. Не объясню, какое чувство руководило мной, но я, желая хоть как-то облегчить, взялся защищать ее.

— Да что ты заладил — нечестная да нечестная... А ты вот ответь, в чем нечестная? — так, довольно уверенно наперя на художника.

— То есть как это... — он посмотрел с недоумением.

— Вот именно, в чем? Она, можно сказать, в тебе первую молодость возродила, дала понять, что еще жива. Нет, чтобы после всего вернуться в свою семью и рисовать, рисовать... А ты ее под сомнение спешишь ставить. Сомнение — зло.

Мои доводы, видимо, звучали убедительно и Иннокентий растерялся. Он начинал верить.

В те самые дни с ним приключилась одна удивительная встреча.

...Пологий берег обширной цветущей поляной подступал к деревенской речке. Золотушка — так именовали ее жители деревни — была всегда прозрачно-чистой и воды несла к своему океану с немоверной быстротой.

Художник шел, взбодренный чистым воздухом и сказочной прелестью близкого леса, шел босой по мягкому травянистому покрову, шел не спеша, пристально вглядываясь в каждую травинку.

Наконец он остановился. Поляна в плавном изгибе переходила в возвышенность, которая великанским коленом выступала в реку, в этом месте собиралась тихая заводь, продолжая в зеркальной глади вод перевернувшуюся природу, за выступом река брала поворот и бежала быстрее прежнего, оставляя за собой журчащие водовороты. Иннокентий разложил этюдник и расположился против возвышенности — место впечатляло своими характерными перепадами.

Вдруг он заметил человеческую фигуру; близ реки, в траве, очень тихо и незаметно от всего сидела молоденькая девушка. Склонив на колени голову с густойрусой косой, она тоскливо смотрела на воду, в руках держала сплетенный из полевых цветов венок. Рядом, в траве, ходила маленькая собачонка, ходила осторожно и совсем не мешала думать своей хозяйке.

«Аленушка! — затрепетал художник. — Живая Аленушка, в подлинном виде, чудеса чудес».

Тем временем девушка поднялась во весь рост и бросила вперед венок, который цветочным кольцом плавно опустился на реку. Она пошла вслед, с особым вниманием наблюдая за ходом плывущего букета, уже далеко за выступом остановилась и стала затаенно ожидать, когда же венок провалится в водяную воронку... После чего приняла еще более задумчивый вид.

Нетерпеливый художник подошел совсем близко и привлек к себе внимание. Девушка не ожидала, стояла смущенная и красивая. Ситцевая ткань летнего платья свободно облегала стройную фигуру, материя и душа волновались в одном дыхании.

«О, сколько естества! Глаза полны света, лучатся, как самые чистые капли в реке, ровные брови – ее берега. Как отрадно повстречать сей человеческий лик, нетронутый еще лохматой рукой цивилизации в kraю земном», – так воспринимала душа художника деревенскую девушку, а глаза уже рисовали.

Она еще больше робела. Иннокентий поспешил успокоить:

– Только не пугайтесь меня, не дичитесь, я не опасен, я только со стороны...

Иказалось, что он сам чего-то боится. Заикаясь, спросил:

– Скажите... Вы... У вас... Как ваше имя?

Девушка улыбнулась:

– Алена.

– Алена! – тут же радостно подхватил художник. – Алена. Конечно же Алена. Я так и знал...

– Почему? – недоуменно и в то же время весело посмотрела девушка на странного человека, на лице которого пестрела свежая краска. Он быстро пояснял:

– Я хотел сказать, что вот именно здесь, на нашей Земле, только такое и могло родиться: и эта река, и лес, и эти цветы, и Аленушка... Все естественно и в то же время загадочно, вот интересно, ваш веноочек, ушедший под воду?..

Иннокентий говорил, а точнее пел, и девушка уже ничуть не сомневалась, что перед ней сейчас истинный ценитель прекрасного. Они в разговоре пошли к деревне. По пути Алена откровенно поведала художнику свою грусть–печаль:

– У меня есть давний друг, еще со школы дружим, зовут его Никита... – она немного колебалась, но глаза художника выражали особый интерес: рассказывай, рассказывай, я жду. И она продолжила:

– Пять лет тому назад Никиту призвали в армию, но уже через год он вернулся, по здоровью негодным стал – облучение получил. Мне об этом никогда не говорил, не жаловался, но все в деревне об этом знали. Из-за болезни стал выпивать, да что там выпивать, специально напивался так, чтобы себя не помнить. Все было у меня на глазах, но ни меня, ни кого другого слушать не хотел, еще больше злился, когда его ругали.

В то же лето собирались на нашей Золотушке; мы здесь раньше часто собирались, молодежь была, весело было; мы с девчатами занимали поляну, а мальчишки подымались на кручу и кто ловчее в реку

прыгнет. Вот и тогда Никита, помню, нетрезвый был, я его удерживала, да куда там... Прыгнул в реку с самой макушки, все ждут... Долго не было, потом поняли, что его уже не будет, стали искать, но впустило. Течение быстрое...

— Так он утонул? — встревожился художник.

— Я ведь вам говорю: не нашли его, — ответила утвердительно Алена и вдруг спросила: — А вы в Бога верите?

— Да, конечно.

Она заметно повеселела и продолжила свой рассказ:

— Помню, возвращаюсь как-то вечером от реки, на душе больно, все о Никите, не верится, что его нет. Вижу, у нашего дома бабушка Ксения стоит, меня дождалась и говорит: «Не терзайся, Алена, жив твой Никита. Тело его сейчас на исцелении Господнем, а тебе срок испытательный даден, коли выдержишь, радость наступит. Только терпи и верь».

Выслушала я ее тогда и силу неимоверную ощутила над собой, будто не одна я теперь, присутствие живое имеется, даже дыхание на себе испытывать стала.

А ровно год спустя меня опять бабка Ксения поджидает. Привела в свою избу и давай картами все обо мне, да о Никите: «Тоскует он по тебе и себя ругает за непослушание, значит, очищается душой... И тебя хочет видеть. Вот и ступай к его mestу, опусти на воду веночек, плетенный самолично, да чтобы соразмерение с его головкой, как опустишь венок, так и ступай за ним вслед — он и разрешит вашу встречу».

Я все так и сделала: сплела венок, бросила его в реку и побрела вдоль берега... Не могу сейчас определить тот путь, уж очень далеко завел веночек первый, под ноги не смотрела, встречу ожидала.

— Ну и что, встретились? — горел Иннокентий своим любопытством.

Он, поглощенный тайной рассказа, не заметил, как они подошли к дому, где встретил их я. Определив по лицу художника всю важность встречи, я сам приобщился к слушанию и в продолжение рассказа был сильно увлечен.

— ...Как только веночек ушел под воду, я посмотрела на небо и поняла, что уже ночь, на ноги свои глянула, а они все избиты от ходьбы и гудят устало. Села я тогда на берегу и в сердце затосковала. Смотрю то на водоворот в реке, то в небо, а там уже звезды первые вспыхнули...

Тут-то я и ощущала что-то необычное, будто опять чья-то сила охватила всю меня и вот-вот подымусь вместе с берегом и рекой, а внутри такое было чувство, будто все теперь посильно мне и понятно, как никогда... Поначалу голос его появился вместе с перекатами

воды и ветра, и по голосу ясно, что радуется Никита приходу моему. Я замерла вся в ожидании... И тогда он вышел ко мне, весь сверкающий от воды и звезд, стал гладить косу мою и повел меня домой...

Конец рассказа показался мне чрезвычайно мистическим. Я разочарованно отвел лицо в сторону и стал равнодушным. Иннокентий еще оставался под впечатлением, и глаза его выражали необъемное представление об услышанном.

Алена, в свою очередь, дополнила, что расстояние до злополучного места с каждым годом сокращается, что очень важно по предсказанию, и вдруг предложила:

— Я рассказала вам все как есть и очень понимаю вас... Потому, приходите ровно в полночь на наше место, все увидите сами.

Ровно в полночь мы были на условленном месте. Засели как можно ближе к воде, под диким кустарником, и старались быть незамеченными. Вера и сомнение беспокойными волнами обливали мое нутро, то вырисовывая высокое представление сбыточности, то погружая в ничтожное разочарование обмана. Я усердно крепился. Мой друг казался более взволнованным, был неусидчив, то и дело будоражил кустом притихшую природу, я начинал нервничать, и тогда неизъяснимое чувство страха овладевало мной.

— Да тихо ты... С тобой только в разведку ходить. На твой шум не только утопленники, но и динозавры воскреснут, — недовольно шипел я на художника.

Иннокентий же, казалось, совсем не слышал меня, был всецело заворожен рекой, тихо сомневался: «Неужто и в самом деле? Да если сейчас такому быть, то жизнь наша прекрасна!»

Алена давно была у реки, сидела на берегу, у самой воды, была спокойна и, очевидно, сильнее нас.

Я, немного успокоившись, принял любоваться природой и в который раз убедился, что природа даже ночью не спит. В голову совсем неожиданно стали приходить романтические мысли о великих путешественниках, которым посчастливилось увидеть всю истинную красоту Земли и, вместе с тем, открыть многие существующие тайны.

Незаметно я отвлекся от действительности, но чем-то взволнованный художник вернул меня на прежнее место — под дикий кустарник. Я вновь обратился к реке и ясно увидел, как яркое, неправдоподобно яркое свечение лучевыми потоками как бы выплескивалось из недр реки. Все это происходило у ног Алены, которая в это время привстала и потянулась руками в воду...

Я принял тереть себе глаза, надеясь на обман. Тут же услышал, как рядом Иннокентий трепещет от удивления:

— Фу-ты, не разберу, где река, где небо? Откуда этот свет? Вот оказия... Кто пинает? Иваныч, ты за что меня?

Не успел я осмыслить ненормальное поведение друга, как сам получил добрую оплеуху незримого существа, от неожиданности замахал руками. Иннокентий, сжавшись, лежал под кустом и закрывал свою голову руками. Я с недоверием потрогал ушибленное место, но следующие шлепки, тычки и подзатыльники были настолько чувствительны, что я уже не желал налаживать образ своих мыслей и вскочил на ноги...

Очнулся я у дома, долго не понимал всего и даже того, как художник смог опередить меня. Когда отышались и признали себя целыми и невредимыми, увидели возвращавшуюся Алену. Она сама подошла к нам:

– Вы только не обижайтесь. Он это не со зла. Плохо, когда ему не верят.

Алена простила и ушла.

А мы до самого рассвета не сомкнули глаз, брали в толк виденное и пережитое, говорили почему-то с опаской, вполголоса, но как только первый луч солнца осветил наш угол, мы сразу осмелели. Иннокентий вытянул в потолок свой длинноющий указательный палец и торжественно заключил:

– Так вот какова истинная вер-р-ность!

По его расширенным зрачкам и подъему плеч я догадался, что он испытывает в себе сейчас небывалый взлет чувств, и если бы не ноги, привыкшие ходить, он, несомненно бы, полетел...

В последующий же день вдохновенный художник уже пробовал первые этюды к новой картине, о героине которой нетрудно было догадаться.

В процессе своего труда Иннокентий стал часто вспоминать о доме, о семье. Я видел, что он тоскует о своей Людмиле, порадовался – мой друг преображался, входил в спокойное русло жизни.

Мы возвращались в город; перед нами вновь вырастали тяжелые корпуса из всеразличных каменных сложений. Я смотрю на городское представление и с гнетущим чувством пытаюсь понять: что за родственная нить располагает к нему вновь и вновь, будоражит чувства на новые встречи в его окуренных стенах. А позади остается родительская сторона – непорочная, по-детски искренняя, которая всегда примет заблудшую душу, омоет ее и взбодрит на новые старания...

Часть вторая
РОМАН

Глава 1
НАЧАЛО КОНЦА

Открывалось новое время, время сказочной реальности. Во всем мире происходили довольно существенные преломления – просыпались все и даже те, которые считались зрячими; сошедший свет сознания разжигал костры. Пробудившийся человек ощутил небывалую свободу, почувствовал силу, начал передвигаться во все стороны...

Я, как и многие, направился в церковь, поставил свечи за упокой всех покойных и за здравие живущих. Когда крестился, чувствовал неловкость – так обычно ведут себя новички, но со временем освоился, здесь все были одинаково просты. В церкви купил образ Божьей Матери, вернулся домой, поместил иконку в своем углу и стал грустить.

Я взирал на образ и размышлял: «Вот любящая мать с сыном. Они, несомненно, красивы, благочестивы, лица светлы, счастливы. Но чего-то здесь не хватает... Почему нет рядом отца? Кто он? Где он?»

Ответить на свои вопросы я сам не мог, опять шел в церковь, там приобрел Библию, которую взялся изучать с чрезвычайным усердием. Слова этой книги давались с трудом, для их уяснения я искал полного единения. Таким образом, я посмотрел на окружающий мир со стороны, и он стал выстраиваться в виде шахмат: были извечные короли и королевы, офицеры и просто пешки... Тогда я задумался: «А где же я во всем этом параде?» Искал и не находил для себя место. Когда поглубже проникся в самого себя, я презрел, сам презрел себя за свое мышьюное существование. После того, как я самолично отвел для себя этакое место, мне вдруг стало необъяснимо свободно – я осознал. В моем сознании пролился новый свет – свет умиления и радости. Радость была тихой и почти детской, когда ребенок встречает на своем пути нечто необыкновенно красивое. Радость моя удваивалась от новой мысли: в жизни нет ничего случайного, все движется закономерно, даже те ямы, в которых человек иногда прозябает, полезны, и, как бы не были они глубоки, жаждущий света всегда выйдет на ровную почву, сбросив с себя сети паутины.

Размышляя о выявленной паутине, я вплотную сблизился еще с одним жителем каменного дома – Екатериной Павловной Барышниковой.

Глава 2 **НЕИЗВЕСТНАЯ ВОДКА**

Екатерина Павловна Барышникова – почетный житель нашего города, народный депутат, человек, который известен даже за рубежом. Она женщина вдовая, но у нее есть дочь, с недавних пор проживающая в одном из заграничных городов со своей семьей. Живет Екатерина Павловна со своей матерью, огромной, малоподвижной старухой, которая ежедневно просиживает у окна, украдкой высовывает из-за шторы глыбо-образную голову и наблюдает сквозь толстые линзы очков за происходящим во дворе – окно во двор, видимо, последнее утешение старухи. Люди, входящие в эту семью, рассказывают, что зовут ее Пелагея Ильинична, ей восемьдесят лет, и она почему-то всегда молчит при людях, но чаще всего Екатерина Павловна пытается поскорее выпроводить старую мать подальше от посторонних глаз.

То, что Барышникова имеет власть не только над своей матерью, но и вообще, очевидно. Когда она одна, то будто нет в ней ничего, женщина как женщина, но стоит появиться рядом человеку со своим интересом, она сразу преображается в прекрасного пушистого зверька, в характере которого просматривается лукавый подход к своей добыче.

Я часто вижу многим известного генерала, располагающего неограниченными правами на свои действия. Генерал – частый гость Екатерины Павловны, вероятно, друг и свой человек. Чернобровый, огромного роста, всеми повадками напоминает сибирского медведя, но перед этой женщиной почему-то всегда робеет, попадая в глухую ограниченность. Чем пленила этого большого человека эта кая маленькая женщина, известно ей одной.

Но шло время, происходили встречи самые разные, самые неожиданные, из этих встреч складывалась движущаяся цепь, имеющая свое начало и свое продолжение...

Однажды вечером я собрался с приятной мыслью продолжить свое изучение Библии, но уже заранее знал, что при этом занятии вскоре начну неистово мечтать о жизни благой и в мечте заснуть. Я разобрал постель и пошел запереть до утра дверь. Неожиданно на пороге появилась Екатерина Павловна Барышникова.

– Ну что, соседушка, не заплесневел еще в своем чулане... – с таким приветствием она прошла в комнату, была, как всегда, расторопной, успевала говорить и глазеть по сторонам. – Все по-старому, все на своих местах, ни да ни нет, чем живешь, для чего живешь, не понять, – она вздохнула почти с сожалением, но вдруг ее лицо обрадовалось – увидела иконку и иронично улыбнулась. – Ба-а... Вот это ново. Значит, и ты не утерпел, решил чувства проверить. Да-а...

Нынче была на рынке, так там кресты продают – вместо мужика девка пригвожденная, и все нарасхват. Смех...

Она громко расхохоталась, а мне стало тошно: «Сколько в ней желчи... Действительно, столько грязи несет», – вспомнил я слова дворника, но терпел, ожидал, когда перейдет к делу. И она перешла:

– Я к тебе вот зачем пришла – изготовь к концу месяца две кроватки, одну, как у Кряхиных, другую в точности, как у Бобовых. Поспеши, мне очень нужно. Вот тебе авансом...

Барышникова ушла, а я, оставшись один на один, принял себя кусать: почему в ее присутствии мой рот остается вечно закрыт? Странно, она разговаривает со мной, как со стеной, говорит только сама... Сердце мое начало бунтовать, в голову ударила кровь, я стал негодовать на непрошенную гостью. «А гостья ли она здесь? Скорее будет, что я здесь гость временного пользования...» – поймал себя на такой мысли и быстро согласился, что Барышникова – бесспорная хозяйка, и если я хочу продолжить спокойную жизнь в этом доме, то должен все исправно выполнить ко времени.

Я взял в руки принесенный задаток – под бумагой оказалась бутылка русской водки. «Вот так да-а... Насколько себя знаю, никогда не употреблял такой напиток, даже пиво избегаю, а тут... К чему бы это?» Я убрал бутылку в темный угол. В следующий же день принял выполнять заказ. К назенному времени кроватки были готовы и в моем темном углу прибавилось.

Спустя некоторое время Барышникова вновь посетила меня, и я уже знал, по какому вопросу, стал отнекиваться, ссылаясь на свое нездоровье, но не тут-то было.

– Вот потому и недомогаешь, что впustую сидишь да небо коптишь. Все книги да книги. О, горе-писатель! Ну что ты там можешь написать, коли одну верную работу и то из-под палки...

Она еще с минуту поругала меня, что у нее получалось очень искусно, кстати и даже по-матерински любовно, будто действительно пришла спасать мое здоровье, затем перешла к делу – оставила заказ на новые кроватки и задаток.

Барышникова ушла, а я, как и в прошлый раз, остался в тяжелых раздумьях. Меня совсем не пугала трудоемкость работы, но весь исход дела приносил только разочарование; теперь я не находил своей радости, негодовал, когда видел в свое полуокно, как совсем незнакомые мне люди увозят на своих машинах мои кроватки.

В моем темном углу теперь стоял длинный ряд бутылок с водкой, они не давали мне покоя: «Что делать с этим богатством? Отдать пьющему, нет такого рядом. Просто выбросить, подымут малолетние...» – размышлял я и уже догадывался, что у этой водки также есть своя судьба, о которой я скоро узнаю...

Вдруг я заметил, что одна бутылка очень выделяется от остальных: необычная, фигуристая и этикетка расписная. Я взял бутылку в руки, вынес на свет и был еще больше удивлен: не мог прочитать ни одного слова – все буквы были иностранного происхождения. «Вот так да-а... Нерусская водка на русской земле». Я взялся тщательно изучать странную бутылку, сильно встряхнул ее, наблюдая за всплесками, и был крайне изумлен чрезвычайной прозрачностью раствора, который имел совсем необычный малиновый отблеск. «А может, это вовсе не водка? Вероятнее всего – импортный напиток без алкоголя, безо всяких там химикатов... А еще больше похоже на лекарственную настойку». Таким образом, я быстро уговорил себя, а точнее обольстился, жаждая из обыкновенного любопытства вкусить неизвестный сорт водки, открыл бутылку, налил и выпил.

Внутри меня нежно зажгло, в голову ударило волной приятного дурмана, я прикрыл глаза и стал улыбаться неведомо чему, ленивый хмель медленно обволакивал мое сознание. Вскоре я стал испытывать радость, но радость неосознанную, пустую, выразить которую я никак не мог, кроме как вновь заполнить водкой стопку.

После повторной порции мысли приняли возбужденный оборот, и мои последующие передвижения носили характер полной неосторожности.

Браться за Библию в таком состоянии я не решался, в моем сознании теперь не было сосредоточения, бесовский игрок вошедшего хмеля рассеивал мои мысли.

Желая заняться соответственно настроению, я, совсем неожиданно для себя, обратился к своей стене, за которой в это позднее время всегда что-то двигалось, ворочалось, скрипело, звякало, доносилось шипение и бульканье. Раньше я на такой шаг ни за что не отважился бы и, даже когда находило великое любопытство, урезонивал себя: «Не мое это дело...» Но тут осмелел, прилип к стене ухом, этого было мало, тогда начинал осторожно ковырять стену...

Не добившись ничего определенного, я вышел во двор и принял-ся шнырять у подозрительных окон полуподвала.

Глава 3 **НОЧНОЙ ГОСТЬ**

Был поздний вечер. Темень легко укрывала меня от посторонних глаз, оттого еще больше разрасталось чувство таинственности. И даже когда я понял, что окна для меня так же недоступны, как и стена, я все еще продолжал блуждать у дома...

Вдруг на меня что-то свалилось, я с трудом удержался, но сразу не понял, что бы это могло быть, а когда увидел рядом человека, тут же получил кулаком по носу. Нападавший бил меня не со зла, а скорее машинально, ибо когда он понял, что я совсем не тот, кого надо было бить, помог мне встать на ноги.

— Черт тебя здесь носит. Я-то думал — легавый. Сам виноват, — он принял горячо ругать меня, черта и какого-то легавого.

У меня же текла из носа кровь да так сильно, что я закинул голову назад и не мог идти. Он взял меня под руку:

— Говори, куда тебя?

Мы пришли в мою комнату, но только успели ступить за порог, как я отчетливо услышал свист тормозов подъехавшей машины. В то же время на втором этаже хлопнула дверь, и кто-то поспешно спустился к выходу. Донеслись возбужденные голоса, но понять их было невозможно. Я решился полюбопытствовать и хотел уже открыть дверь, но мой гость резко предупредил, приложив палец к губам.

— Тс-с... Тише, потерпи чуток. И свет пока не включай, нас здесь нет, — прошептал он почти по-дружески, но я тут же ощутил на себе его силу, и не мог не подчиниться.

Голоса стали приближаться, вероятно, те люди, которые приехали, и человек, встретивший их, теперь вместе направлялись на второй этаж.

— Вы говорите, через окно? — спрашивал мужской голос.

— Да, да, через окно, которое во двор... И вы знаете, уже не в первый раз... — отвечал женский голос, и по нему я узнал Барышникову.

— Почему же раньше не сообщали?

— Так будто бы ничего не пропадает. В альбомах роется, в книжках... Что ищет, не понять. Я уж думаю, сумасшедший какой...

Они прошли в квартиру Барышниковых.

Мы сохраняли тишину, сели за стол и пытались рассмотреть друг друга. В мое окно просачивался лунный свет, благодаря которому я мог что-то различить. Прежде всего, это был молодой человек лет тридцати, лицо худое, глаз не видно, на голове фуражка, одет в болоньевую куртку, которая в темноте не имела точного цвета и смешивалась с остальной одеждой. Больше всего меня поразила его чрезвычайная бледность: лицо и даже руки, не попадавшие под свет луны, казалось, светились.

Он, в свою очередь, лениво окинул взглядом мой угол, задумчиво произнес:

— Твой погреб многое напоминает...

Я не понял смысла его слов, слов, пронизанных холодом, мне стало зябко, от всего зародилось сомнение — предчувствие чего-то

худшего, в себе догадывался, что этот человек здесь не случайно. Мне на миг представился образ хищного зверя, который, обычно по ночам, выбирается из своего логова в поисках жертвы. Неприятный страх стал холodить мои внутренности, я ощутил дрожь, которую упорно сдерживал. А он сидел спокойно, прижавшись спиной к стене, и, как мне показалось, ухмылялся над моим страхом.

Я начинал нервничать, но здесь же успокоился тем, что бояться мне, собственно, нечего, и решил с ним о чем-нибудь заговорить:

— Что-то лицо твое очень знакомое, паренек. Мы нигде раньше не встречались? Как тебя зовут?

— Нет, не встречались, — нехотя ответил гость, но тут же поправился, — Васек. Васьком можешь звать.

Я понял, что этот Васек — вовсе не Васек, но его игру решил принять и пошел на пустую болтовню:

— Ага, Васек, значит. Ну-ну... А я... А меня...

— А тебя я знаю, писатель, — быстро определил он меня и это было так неожиданно, что я совсем сбился, сидел, раскрыв рот в недоумении.

Он же больше не проронил ни слова, сидел по-прежнему, притулившись к стене, и, как мне показалось, вновь ухмылялся.

На лестничной площадке послышались шаги — уходили. После того, как рокот автомобиля удалился, я сразу же включил свет.

Мой гость сидел, облокотившись о стену, и смотрел на меня просто, безо всяких тайн. Его лицо сохраняло бледность, которая всегда случается у людей, долгое время не видевших солнце. Я вдруг понял, что он совсем не опасен: небольшого роста, сутулый, костлявый, он не представлял той силы, от которой у меня распух нос, а его глаза, ввалившиеся глубоко в череп, были померкнуты далекой грустью, располагали к себе. Это лицо я видел впервые, но навязывалось мнение, будто я уже встречал его. И только синяя татуировка на его теле вызывала сомнение, настораживала.

В свою очередь, он изучил меня, оглядел с головы до ног, сказал:

— Умойся, писатель, кровь на лице. Сильно же я тебя...

Я принялся смыть запекшуюся кровь, про себя размышлял: «Интересно все получается: свалился, как снег на голову, сунул кулаком по носу, а теперь переживать берется, как о друге лучшем... И все-таки, откуда он меня знает? Нет, спрашивать его не буду, все должно разрешиться само собой».

Когда умылся, увидел его перед образом Божьей Матери, сразу засомневался: «Сейчас надсмеется, как и Барышникова...» А он трижды осенил себя крестом и склонил голову. Молчал. Я тихо наблюдал. Он подошел к столу, взял в руки мою недопитую бутылку, и его лицо выразило сдержанное удивление:

— Ого-го. Вот этого я никак не ожидал...

— А я и ничего... Это я так, от простуды, растирание делаю, — стал я почему-то перед ним оправдываться и даже врать.

— Да нет, я не об этом. Не думал я, что у тебя с Барышниковой так близко.

Я был поражен, поскорее опустил глаза, чтобы не выдать свое замешательство, гадал, но так и не мог определить, кто он, почему так свободно расположился здесь, и все точно рассказывает обо мне. От своей растерянности я боялся смотреть ему в глаза, которые, по всей вероятности, вновь ухмылялись. Не зная, как повести себя дальше, я предложил странному гостю чашечку чая. Он согласился с охотой.

Пили чай молча, казалось, каждый был занят своими мыслями. Гость, на удивление мне, подливал одну только густую заварку, не разбавлял; кипятком, пил маленькими глоточками и без сладостей.

— Тебе, наверное, интересно, откуда я тебя знаю? — спросил он меня неожиданно и, определив, что отгадал мои мысли, снисходительно улыбнулся. — Все очень просто: когда человеку становится совсем скучно и неинтересно жить, он начинает что-то выдумывать, изобретать или же попросту читать книги. Так вот и я. Помню, до звонка еще больше года оставалось, а все осточертело, сидишь в камере и знаешь, у кого какие мысли, кто о чем мечтает, кто что может сказать, одним словом, скучота, а куда деваться? Вот и ударились в литературу. Всех классиков перебрал. А тут смотрю однажды, фамилия уж больно забавная — Подневольный, будто специально про нас... В общем, все твои сказки за одну ночь прочел, жаль только последних листов недоставало... — он сделал паузу, поразмыслив о чем-то, взглянул на меня пристально, спросил: — Сказки твои понравились... Но мне интересно другое: ради чего ты так сладко врешь?

Я хотел было взбунтоваться, но чувства мои подсказывали, что лучше сейчас смолчать. Мое лицо все-таки выразило обиду, и он это заметил:

— Тебе плохо, писатель... Странно, почему от выдумки человеку всегда приятно, а от правды тяжело? Но ты меня поймешь, ведь я их всех там встретил: художник Иннокентий сидит за мокруху — жену свою порубил на почве ревности, Мишка и Гришка за разбой, Афган при мне на больничке скончался... Это только в твоих сказках вместо милиции в загс ведут, а на самом-то деле...

Он принялся безжалостно перечислять судьбы несчастных, заточенных в тюрьмы, при этом коротко, но довольно тонко замечал характерные стороны уголовного мира. Мне легко стало все представляться, вдруг закружила голова, показалось, будто проваливаясь в кошмарный сон — сон, который составляет нашу реальность...

...Гость ушел посреди ночи. Я долго еще ворочался на своем диване, противно кряхтел и не мог уснуть. Мне то и дело мерещился он – костлявый, сутулый, почти голый череп с ввалившимися глазами, натянутая на губы улыбочка, которая и любит тебя, и презирает одновременно. Затем услышал его голос, слабый, будто от лени, каждое слово плавно растягивает, не спешит: «А ведь все врешь, писатель. Правда-то, она вот какая...»

И я ясно увидел тускую, глухую комнату, стены которой, как и потолок, были мрачными, непроницаемыми, покрыты испариной, комната была заполнена людьми, их было очень много, им было ужасно тесно, и все они были схожи между собой: стриженые головы, бескровные лица, истощенные тела, среди них я узнаю Иннокентия и Афгана, Мишку и Гришку, а вот и он, все они тянутся своими бледными лицами к одному–единственному зарешеченному окну, сквозь которое с трудом просачивается светлый луч солнца...

Я вскочил с дивана весь мокрый, меня знобило, внутри себя ощущал жуткий переполох всех чувств, которые смело спорили. Видимо от вчерашней водки мне было как никогда дурно, тошило, состояние разбитое.

Было уже утро, и только я подумал умыться, как ко мне кто-то постучался. Еще не открыв дверь, я понял, что это опять он, и когда увидел его на пороге, то ничуть не удивился.

– Извиняй, писатель... – бросил он на ходу и прошел в комнату, меня почти не замечал, стал заглядывать под стул, на котором сидел ночью, под стол. – Вот она... – объявил он и что-то поднял.

Я подошел ближе и увидел в его руках использованный почтовый конверт и фотографию девушки, лицо которой мне показалось знакомым.

Он быстро убрал все в карман и обратился ко мне с неожиданной для меня просьбой:

– Если можешь, дай почитать твои сказки, интересно, что же будет дальше?..

Я почувствовал накатившую радость, но радость не искреннюю, а победоносную, принял его пытать:

– Что-то не пойму я тебя: то ты всю ночь пилил меня, что я выдумываю и сладко вру, теперь признаешься в обратном...

Он ухмыльнулся:

– Плохо же ты обо мне подумал, писатель. А сказки твои мне по душе, хочется верить. Только нельзя забывать и про яму с паутиной...

Спорить было не о чем. Напротив, я как будто бы давно ожидал это короткое откровение и теперь ощутил в себе равновесие.

Я быстро нашел сборник своих сочинений и подал человеку, который, в сущности, был для меня загадкой; он и теперь оставался стоять по ту сторону забора и пугал своей непонятной свободой, казался очень уверенным, даже наглым – откуда исходит такая сила? И, видимо по причине своего трусливого характера и внутреннего сомнения, я не смог открыться сам, хотя очень хотелось сказать, что мои «сказки» вовсе не сказки, не выдумки из ничего, а жизнь, которая существует, но мы не признаем ее, смеёмся, как над мечтой несбыточной... В общем, я многое что хотел сказать, но не решился, а гость мой уходил.

Только я успел закрыть за ним дверь, как тут же услышал крик, выдавливающий сдержаный ужас, быстро выскочил на площадку и увидел Барышникову, против нее стоял мой ночной гость – мне видно было только его спину и сжатые добела кулаки.

– Не вопи, собака, не трону. Придет время, сама себя кончишь, будешь гореть синим пламенем... – прохрипел он и ушел.

Екатерина Павловна стояла ошеломленная. Сказанные слова были произнесены таким решительным, пронизывающим тоном, что не оставалось никакого сомнения... Когда она увидела меня, то сильно удивилась, быстро побежала вверх по лестнице в свою квартиру, то и дело озираясь в мою сторону.

Что же случилось? Такого бледного, растерянного и испуганного лица у Барышниковой я никогда не видел да и не мог предположить, что она на это способна. В чем же тут дело?..

Глава 4 **ПЛОХОЕ ЖЕ ДЕРЕВО БУДЕТ БРОШЕНО В ОГОНЬ...**

Прошло совсем немного времени с того дня, когда я из обыкновенного любопытства заглянул в фигуристую бутылку загадочного происхождения, и на мою голову тут же посыпались сплошные неожиданности. И когда меня вновь посетила Барышникова, я уже догадывался, что пришла она отнюдь не за кроватками, но и не так просто. Только ступив на порог, она категорично заявила:

– В течение недели чтобы освободил комнату. Договаривались на полгода, а уже... В общем, поторопись, место нужно.

Екатерина Павловна стояла на пороге и удивляла меня своей скованностью, чрезвычайной натянутостью, во всем чувствовалась неуверенность, бывшая напыженность и сила беспредельной власти исчезли.

Я заверил, что уберусь вовремя, и она ушла.

Во всем этом передвижении я видел причину, связанную с моим ночным гостем. Собственно, отгадывать, почему и за что, мне не

приходилось, а нужно было беспрекословно выполнять данное указание, ибо я проживал все это время как квартирант, без прописки, хотя добросовестно платил каждый месяц Барышниковой определенную сумму денег.

Размыслия о переезде, я не нашел чувства сожаления. Библия открыла мне новый взгляд: каждую встречу, каждое исчезновение или же пополнение в моей жизни я уверенно относил к неизбежному и был теперь спокоен. Я даже порадовался, что судьба моя ожила и задвигалась...

И потому, когда посреди ночи, после оглушительного удара весь дом заходил ходуном и на мою голову, казалось, обрушились сразу все потолки – я ничуть не испугался. «...И будут большие землетрясения по местам...» – эхом отозвалось в моем сознании. Здесь же я увидел, что моя подозрительная стена, с которой все и началось, насквозь прорублена, словно кривым топором великана, а в трещину бьет огненное пламя, которое ежесекундно набирает силу, опаляет невыносимым жаром.

Когда я выскочил на улицу, то ясно увидел, как яркое пламя огня жадно охватывает внутренности каменного дома, бешено растет, выдавливая из окон свои острые языки. Двор быстро заполнялся людом, слышались испуганные голоса, звон бьющегося стекла, метались непонятные тени.

Как обычно бывает в таких случаях, все с тревогой и надеждой ожидали пожарку. Я, раздуваемый зреющим пожара и человеческим волнением, хотел было ринуться в огонь, дабы помочь спасающимся, но с радостью обнаружил, что в такой помощи никто не нуждается, спасали только домашнее добро: из окон летели плащи и шубы, пальто и костюмы, пуховые подушки и даже был вынесен холодильник. Мне стало грустно, я подумал: «Вот если бы сейчас каждый вылил в этот огонь хотя бы ведро воды, он бы, несомненно, утих». В моих руках была одна хозяйственная сумка, в которую я успел положить свои рукописи, полезные книги и некоторые дорогие сердцу вещи, но сам понимал, что спас не все, там безнадежно сгорали мои кроватки...

Подоспела пожарная команда. К этому времени дом был охвачен огнем, казалось, полыхал камень, внутри рушились потолки, раздувая пламя добела. На крыше дома собралось множество кошеч, они жалобно пищали, метались, обжигая лапы: крыша была железная и, очевидно, раскаленная, падавшая на нее из пожарных шлангов вода шипела, как жир на сковороде.

Спустя малое время водой удалось усмирить бушевавшее пламя. Пожарные смело вступили в дом, а вскоре стали что-то выносить в брезентовых плащах. Какое же было удивление, когда увидели в брезенте завернутые тела людей: черные, как обгоревшие головешки,

они представляли собой лицо смерти, о которой каждый человек знает, предполагает и теперь видит наяву. Обступившие люди охали и ахали, смотрели выпущенными от испуга глазами, как погружают трупы в «скорую помощь». Я же вновь поймал себя на мысли, что ничего ужасного здесь нет, все естественно, и испытывал одну только жалость, понимая все телесные мучения человека. «...Плохое же дерево будет брошено в огонь...» – звучали в моем сознании пророческие слова. Когда «скорая» увезла несчастных, то встал вопрос: кто они? Все жители каменного дома были налицо – целые и невредимые, хотя никто еще не осознал случившееся...

Вскоре выяснилось, что нет Екатерины Павловны. Ее старая мать, Пелагея Ильинична, сидела на полуразваленном ящике, оплакивала горе и ничего не могла толком объяснить. Зародилось сомнение: среди трех пострадавших одно тело было женским. Мне вспомнились слова: «Не трону... Сама будешь гореть...»

Я увидел, как человек в милицейской форме ходит среди погорельцев и задает вопросы, видимо, пытался поскорее выявить причину пожара. Рядом с ним был Кряхин Валентин Абрамович, который проявлял смелое участие. Я почувствовал недоброе и решил скрыться.

Но не успел ступить и пяти шагов, как меня остановила чья-то сильная рука. В темноте узнал дворника. Дядя Миша продолжал держать меня под руку и, казалось, не хотел отпускать.

– Уже уходишь?.. – спросил он глухим голосом.

Я ничего не ответил, только оглянулся на дом, в стенах которого уже не осталось ничего, кроме дыма.

Дворник понял меня, согласился:

– Да... Это уже конец.

Такого грустного, опустошенного лица у дяди Миши я никогда не видел, казалось, он неожиданно потерял то дорогое, которое уже никогда не вернуть. С минуту он еще топтался на месте в каком-то недоумении, затем вдруг предложил:

– Знаешь что, пойдем к моему брату. Он уже два дня дожидается.

При этой мысли дворник повеселел. Я не стал отказываться, тем более, что до рассвета нужно было где-то ждать. Мы отправились пешком, чуть ли не через весь город. Он, как и я, был налегке, и только самое дорогое – шипящую метлу – держал при себе...

Глава 5 СОН

Брат Савелий жил один. Он был моложе дяди Миши лет на десять, но такая разница в их возрасте неощутима. Братья всегда

дружили, сохраняли свое родство: сначала гостили Савелий у дяди Миши, затем дядя Миша перебирался к Савелию. Что самое прекрасное, между братьями никогда за всю жизнь не было ссор или недоразумений. Бывало они разлучались, но ненадолго, только чтобы навестить своих внуков, а когда вновь встречались, то только о детях и говорили да вспоминали свою юность.

Савелий встретил нас с радостью. Когда узнал о случившемся, сдержанно сказал:

— Чему быть, того не миновать. Хотя жаль, такой дом сгубили, не уберегли...

Спать не ложились долго. Пили чай. Савелий, желая развеять своего брата, много рассказывал о внуках, как они хороши и забавны. Я же больше молчал, размышляя о предстоящей жизни...

А когда все легли спать, Бог послал на меня удивительный сон.

Будто возвращаюсь я в свой родной дом. Иду по комнатам, а они такие тесные, давят на меня своими стенами — то ли дом стал меньших размеров, то ли я вдруг вырос. Одно было явным: дом заброшен, хлам разный, пыль, плесень, полный сумрак, будто ставни на всех окнах затворены. Вдруг вижу, из одной комнаты слабый свет просачивается, подхожу.

Отрок сидит за письменным столом, увидел меня, обрадовался, говорит:

— Что же ты так долго... Помогай решить. Времени осталось очень мало.

На столе лежала тетрадь, полностью исписанная примерами умножения, но удивительно, что ответы были неправильными, а на пример $2 \times 2 = \dots$ отрок не находил ответ. Я скорее помогать:

— Да что ты голову ломаешь — четыре.

— Эх ты, не так. В этом мире другие правила... Видишь, не пропускает... — сказал отрок спокойно и указал на окно, которое с улицы закрывалось огромной серой тенью.

— Вот так да... Что еще за новые правила? — удивился я еще больше, но сам принял быстро подгонять под ответ цифры, однако тщетно, и я сдался. — Пустота какая-то...

Отрок тут же подхватил:

— Пустота, говоришь. А ну, посмотрим... Он взял тетрадь и записал: $2 \times 2 = 0$. Тень за окном мгновенно упала, окно распахнулось и дом заполнился ярким светом. Отрок потянул меня за руку:

— Пойдем, пойдем скорее, я тебе покажу...

Мы пошли по незнакомой дороге, которая проросла колючим бурьяном и густыми травами — травы, словно морские осьминоги, опутывали ноги и не давали идти.

Удивительно то, что маленький отрок, оказывается, сильнее меня, он всю дорогу тянет меня за руку вперед и при этом по-учительски приговаривает:

– Ну что же ты, писатель... Давай, давай, подтянись. Немного осталось...

Наконец мы вышли на простор. Перед нами открывается великолепный пейзаж: сразу у ног начинает расстилаться во всю округу поляна, густо насыщенная травой и яркими цветами, поодаль шумит листвой березовая роща, воздух благоухает свежестью близкого леса. Отрок вновь тянет меня за руку:

– Смотри, смотри же... Там, видишь?.. Выше...

Я вглядываюсь и вижу: там, где оканчиваются все прелести земной природы и начинается лазурный небосвод, между небом и землей, в густом мареве вод, стоит белокаменная церковка с золочеными куполами. Ветер донес до слуха моего тревожный звон колокола. На сердце своем испытываю радость, и неведомую тоску...

Внезапно чья-то огромная тень застилает во мрак всю видимость и не разобрать уже ни цветов на поляне, ни стройных берез, ни церковки с золочеными куполами. Пред нами выросла лошадь огромных размеров. Она была крайне безобразна: серо-буро-коричневого цвета, грязная, в поту, навозные мухи так и липли к ее спине, брюхо чрезвычайно раздутое, а ноги очень худые – похожа на большую клячу. Но кляча оказалась далеко не больна, а с прекрасным аппетитом, поедала всякую траву и цветы... И вот уже большая часть поляны обестравлена.

Отрок с беспокойством дергает меня за рукав:

– Ну что же ты стоишь, как истукан? Предпринимать надо...

Я, не зная, что делать, начал попросту просить:

– Что, Коняга добрая, не насытилась еще? Большую часть поляны уже опустошила... Оставь место детям малым повеселиться.

Кляча с трудом отняла от травы свою горбатую морду, бестолково поводила глазами, затем безразлично мотнула головой и продолжила трапезу.

– Ну ты и жрать, Коняга! – не удержавшись, воскликнул отрок. Но кляча оставалась невозмутимой.

Тогда я принимаю скорбный вид и сочувствуя:

– Эх, Коняга, Коняга... Что же ты наделала со своей лошадиной красотой? Да на тебя уже и жеребцы не смотрят.

Она вздрогнула, глаза ее наполнились необъемным удивлением: о ком здесь речь? Приподняла переднюю ногу, внимательно изучила и осталась довольна: красивая ножка, перевела взгляд на заднюю часть, с силой ударила копытом о землю, дернула холкой, и рой жир-

ных мух облаком взмыл в воздух. В заключение гордая лошадь встала надменным образом, задрав высоко свою длинную морду.

Здесь я начал действовать, быстро подошел к ней, мягко похлопал по шее, ласково сказал:

— Ну-ну, не гневайся, не серчай, красавица. Пойдем лучше до воды прогуляемся... Там я тебе и холку расчешу...

Она не запротивилась, и мы направились к пруду. Но как только мы вошли в воду, гордая лошадь замерла, с ужасом глядываясь в свое отражение: кто это?! Серо-буро-коричневая кляча начала краснеть, она испытывала стыд, вдруг громко зарыдала. А вместе с ней рыдал и я...

Когда проснулся, на щеках были слезы, но на душе легко и безмятежно; я испытывал чувство далекой и пока неосмысленной радости. В моем сознании цепко сохранились сюжеты сна: отрок, церковь, красная лошадь, мой дом... Начал гадать: к чему все это? И после недолгих размышлений я твердо уверовал, что мой дальнейший путь лежит в родной дом.

Услышал протяжный стон дяди Миши, он, видимо, страдал даже во сне. Я посочувствовал несчастному дворнику, понимая, сколько старания и любви было вложено в ту землю, на которой теперь тлеют раскаленные угли.

Я тут же решил пойти проститься с каменным домом, а, вернее, с его стенами, которые долгие годы укрывали меня от разной непогоды.

В свете дня последствия пожара представляли картину ужасную, напоминая страшное время войны: в проемах окон не сохранилось ни одной рамы, обгорела штукатурка, не устояли потолки, все внутренности теперь состояли из золы и разных обломков, из-под которых кое-где струились белые змейки дыма.

У дома стояло несколько легковых автомашин. Ходили незнакомые люди с озабоченными лицами и в красивых шляпах; они что-то выискивали глазами, что-то записывали в свои папки.

Внутри дома были люди в рабочих телогрейках, они пытались заглянуть под развалины.

Глядя на них, я, почти машинально, вошел в дом и принялся разгребать золу руками, при этом чувствовал, что где-то здесь, под мертвыми обломками, лежит частица моего вчерашнего... И как велика была моя радость, когда я увидел свой живой самовар, хотя внешний вид его заметно пострадал. Подняв самовар, я уже собрался было уходить, но вдруг услышал:

— На ловца и зверь бежит, — говорил Валентин Абрамович Кряхин, расположившись на выходе из дома, и приглашал меня жестом руки. — Смелее, смелее к нам, Иван Иванович, рукоделец ты наш, мы вас тут заждались...

Рядом с ним стояли люди в милицейской форме, и по их лицам ясно было, что я им очень нужен.

Последующие передвижения имели связь с состоявшейся трагедией.

После того, как меня доставили, вместе с вырученным самоваром, в отделение прокуратуры, сразу же начался допрос. Неутомимый следователь долго и дотошно вытягивал из меня откровенное объяснение причины пожара, полагая, что я в этом деле осведомлен, как никто другой. Я только разводил руками.

В процессе нашего общения мне стало известно, что в пожаре погибло двое мужчин, а третьей потерпевшей, как и предполагалось, оказалась Барышникова Екатерина Павловна, которая, к удивлению докторов, осталась жить с массой ожогов.

Я догадывался, что для меня в этом деле отведено место незначительное, главным же «героем» был мой ночной гость – Сергей Боженов. Хитромудрый следователь так или иначе сводил наш разговор к одному вопросу: видел ли я в подъезде дома встречу Барышниковой с Боженовым, который, угрожая расправой, сказал: «Я тебя сожгу, собака». Чувствовался явный подвох. Нужно было мое подтверждение. А когда я спросил, не мог ли дом загореться по своим причинам, следователь исступленно замахал руками и решительно объявил: «Здесь прямой умысел. И я его докажу любым образом». Надежды на верное ведение дела было мало, просматривалось ярое стремление собрать нужные факты и, таким образом, создать миф преступника. Я боялся своего же правильного ответа, который, без сомнения, пошло используется. «А надо ли вообще отвечать?» – осенила меня догадка. В моей памяти всплыли обрывки сна: мы с отроком ищем ответ на задачу, слова отрока: в этом мире другие правила... $2 \times 2 = 0$. Вот он, ответ! И когда следователь в очередной раз спросил о встрече Боженова с Барышниковой, я уверенно ответил, что ничего подобного не происходило и вполне серьезно усомнился в разуме Екатерины Павловны, которая, должно быть, не в себе от такого потрясения.

Таким показанием по делу я очень расстроил следователя, и он тут же освободил меня, но не совсем, а приказал явиться к нему по первому же вызову и не отлучаться за пределы города до полного окончания следствия.

Место моего временного проживания оставалось в квартире Савелия, он был гостеприимным, к тому же дядя Миша оказался также интересен следствию, и уже через неделю я и старый дворник тихо сидели в коридоре прокуратуры, с неприятным чувством ожидая своего вызова.

Во второй раз встретил меня знакомый уже следователь почти дружелюбно, о деле сразу не заговорил, поинтересовался моим здоровьем, от здоровья перешел к моей памяти и, как бы вскользь, осведомился, не вспомнил ли я что-нибудь существенное, что мог по растерянности забыть в прошлую встречу. Я подтвердил, что с памятью у меня все в порядке и по делу дополнить нечего. Тогда следователь не выдержал, вскричал:

— Да знаете ли вы, кого прикрываете? Да ведь он...

Видно было, как он подыскивал нужное определение страшному преступнику, но так и не нашел, съехал на обобщение:

— Эти люди способны на все. Они вас зарежут, глазом не моргнут.

— С такими людьми я не знаком, — довольно решительно перебил я его и этим поставил точку.

Уже расставаясь, озабоченный чем-то следователь со злобой в голосе уведомил, что в скором времени я обязан буду явиться в суд.

Глава 7 **БОСОНОГИЙ**

Умер дядя Миша. Умер внезапно и легко. В свои последние дни он не подавал признаков болезни, по-прежнему ходил с метлой и разметал снег у подъездов, когда возвращался, оглашал свои замечания:

— Чем выше дом, тем больше хламу. Опять кто-то хлеб из окон бросает. А все потому, что окон несчетное множество, легко затеряться.

Дворник часто приносил с улицы заледенелый хлеб, размачивал водой и скармливал птицам. Он умер у подъезда дома, когда крошил хлеб голубям, — сердце остановилось. Теперь дворник лежал в деревянном гробу, лежал тихо, как и прожил свою земную жизнь.

В день похорон в квартире Савелия было многолюдно. Приходили даже незнающие дядю Мишу, но хорошо знающие Савелия. Пришли проститься с дворником его дети, внуки, все поголовно горько плакали, когда уставали плакать, выходили в коридор покурить, освежиться, возвращались и опять плакали. Мне было очень грустно. Я смотрел на покойного, на гроб, в котором он теперь будет «жить», но не испытывал чувство смерти, необъятая сила добра, в которой всегда жил дворник, и теперь жила, легко побарывая в моем сознании тьму; я ничуть не сомневался, что дух этого человека давно нашел свой приют в вечности, и потому он так легко и безболезненно расстался с земной жизнью.

Стали выносить – и рыдание усилилось. Получилось так, что я выходил в группе последних и увидел метлу, она стояла в углу коридора и как будто ожидала; я, почти машинально, взял метлу в руки и шел с ней позади всех до самого кладбища.

Когда прощались с покойным, плач возобновился с новой силой и, казалось, достиг зимнего неба.

– Кого хороните, маловеры... – прогремел чей-то голос и мгновенно усмирил всех плачущих, голос не спрашивал, он укорял.

У могилы стоял неизвестный мне человек. Одет он был не по сезону легко: открыта голова, клетчатая рубаха нараспашку, летняя куртка, серые брючата, а на голых ногах, без носков, заношенные туфли. Создавалось впечатление, что этот человек всегда и в любую погоду ходит босой и нараспашку, но тут решил приобуться. На вид парню было лет тридцать пять, не больше, но лицо старчески желтое, в щетине. Он уверенно подошел к гробу, и все расступились, зашушукались: «Вот он, явился... Принесла нелегкая... Пьянь...»

От парня действительно разило водкой, но держался крепко.

– Кого хороните... Кого оплакиваете... – продолжал он укорять, с сожалением оглядывая собравшихся.

Затем стал целовать дворника, но не в лоб, как все, а в губы, в глаза, в руки, при этом разговаривал с покойным:

– Ты прости, прости нас, дед... Я знаю, ты все слышишь... Прости эти крики...

Я услышал, как кто-то говорил:

– Витюшка, самый первый из внуков. К жизни не приспособился, вот и пьет... Да и с головой у него будто не все ладно, как бы чего не выкинул...

Но Витюшка ничего такого не выкинул, а только покрестился, поклонился, как, бывало, делал при жизни его дед, и скоро ушел.

Началось погребение и кто-то из старушек попытался заголосить, но не получилось, казалось, будто каждый теперь думал о словах, сказанных босоногим.

Поставили металлический памятник с фотографией дворника, на могилу положили венки, и все разошлись. Но рядом с могилой, в снегу, оставалась стоять метла, с виду колючая, шипящая, но очень полезная и облагораживающая, как и вся прожитая жизнь дяди Миши.

Глава 8 МАТЬ

Приближался Новый год, и мне захотелось встретить праздник только в своем доме. Чтобы не получилось неприятных по-

следствий, я направился в прокуратуру и добился разрешения на выезд из города. Я шагал по длинному, узкому, мрачному коридору прокуратуры и уже представлял, как войду в свой дом, в котором наверняка стоит холод, но это не беда — есть в доме печь, есть дрова...

«Боженова, входите...» — услышал я знакомую фамилию и увидел, как пожилая женщина, суетливо заправляя под платок выбившуюся седую прядь, поспешно входила в кабинет. Я остался ожидать, ничуть не сомневаясь, что эта женщина — мать Сергея Боженова. Она скоро вышла.

— Извините, если я не ошибаюсь, вы — мать Сергея...

— Да... А вы с ним были знакомы?

Я коротко рассказал о себе, и мы легко познакомились.

— Однажды следователь вашу фамилию упомянул, так побледнел сразу, ругался очень. Даже обещал вас вместе с Сергеем... — вспомнила она, и в ее глазах я видел тревогу.

— Да, горячий следователь. Тяжело с таким... Но ничего.

Мать поняла мое настроение, приветливо улыбнулась, но в то же время она была печальна, грусть глубоко сидела в светло-серых глазах, в каждой морщинке лица, казалось, эта женщина до того прыгнула со своей грустью, что только ею одной и жила.

В разговоре мы вышли из прокуратуры, пошли по хрустящему снегу, солнце приятно слепило глаза, я нес тяжелую сумку Анны Тимофеевны Боженовой и слушал ее со вниманием.

— Денек сегодня удачный, — рассказывала она, счастливо улыбаясь, — наконец-то дали разрешение на передачу... Я с самого утра по магазинам, вот колбаски копченой удалось купить, сальца, сахару... Все в Новый год им там веселее будет. Пусть и для них будет праздник...

Я слушал, радовался вместе с ней и понимал: как проста, но как велика любовь матери — накормить во что бы то ни стало. Рядом с ней я стал чувствовать себя, как никогда спокойно, безмятежно. Мне вдруг показалось, что со мной это уже все было, оттого-то я и испытываю в себе полное спокойствие и уверенность, только тогда я был еще молод, и она была молода, я так же провожал ее, и мы говорили о Любви, я называл ее Аннушкой, она отвечала — Иванушка, вот сейчас мы подойдем к калитке ее дома, а мне так не хочется с ней расставаться...

— Вот мы и пришли... — прервала мои мысли Анна Тимофеевна и пригласила в гости.

Я из вежливости стал отнекиваться, но она настояла, упросив меня отведать свежих пирожков с картошкой.

Глава 9 **СЫН**

Анна Тимофеевна Боженова жила в старом районе города, жила в маленьком частном домике вместе с большой старушкой, за которой вела уход.

— До этого мы с сыном жили в каменном доме, — так рассказывала мне она, — но как только Сережу посадили в очередной раз, перебралась сюда...

Домик был маленьким, но уютным, в комнатах прибрано, теплом дышит натопленная печь. Я пытался отыскать угол, отведенный для Сергея, но так и не нашел. Мать объяснила:

— Он здесь не жил. Да и не потому, что дом чужой, бабушка к нему хорошо относилась, только не таков он... У него друзей — полон город. Хотя навещал часто, бывало, ночевать оставался... Вот и в ту ночь, когда пожар случился, Сережа у нас гостили. Я сама тогда простывшая была, температурила, позвала его в помошь...

Больная бабушка, с парализованными ногами, заметно скучала на кровати, услышав о Сергееве, она приподнялась на локти, подтвердила:

— Да, да... Сереженька в тот день у нас был, пол выметал, за водою ходил, подсоблял нам... Точно, точно. Он и ночевал здесь — вон там, у печи, его любимое место... А в утре его арестовали...

Старушка говорила так убедительно, будто я в чем-то сомневался. Мне стало неудобно, начал быстро и утвердительно кивать головой.

Таким образом для меня потихоньку, помаленьку открывалась эта история. А когда мы сели пить чай со свежими пирожками, наш разговор принял еще более теплую, более открытую сторону, и я узнал многое...

...В школьные годы Сергей учился с нежеланием, еще хуже было поведение. А когда пришла пора первый раз влюбиться, он сразу же влюбился, сам в то время заканчивал десятый класс. Влюбился Сережа в Леночку, которая в ту пору училась в восьмом классе, но и она сумела-таки влюбиться в Сережу. Все будто бы ладились в их дружбе, не ссорились, умели простить и, очевидно, понимали, что до полной любви им недостает полного возраста, и терпеливо ожидали.

В то же самое время в другой школе учился другой юноша, который тоже полюбил Лену, но был совсем нетерпелив. Однажды они сошлись: Сережа и Лена возвращались из кино-театра, а нетерпеливый юноша поджидал. Все произошло очень быстро: Сергей, после слов примирения, оттолкнул от себя навязчивого парня, тот не устоял, упал, неудачно ударился головой и больше уже не поднялся.

Большое горе охватило двух матерей, одна похоронила сына, другая проводила в тюрьму на долгих семь лет.

Прошли годы. Преждевременно поседела мать. Сын вернулся домой.

Этот день для Анны Тимофеевны стал самым большим праздником. Семь лет ходила с опущенной головой, семь лет уши только и слышали: «Мать убийцы...» А она ведь знала – не таков ее сын, верила, вот вернется и докажет...

Вернулся сын, но уже другой сын, не тот, что всегда любил шутить и улыбаться, теперь он любил больше молчать, быть наедине.

Сядет у окна, закурит папиросу и смотрит часами в пустоту, мысли тяжелые решает.

Мать все понимает, видит сыновью бледность, худые руки, синие татуировки, вздыхает и молчит. Но однажды насмелилась:

– Сынок, а Леночка так и не написала тебе?.. – спросила она осторожно, хотя сама давно все уже знала, успокаивающе продолжила: – Ну ничего... И на твою долю девушек хороших хватит. Придет твое время...

Сергей еще глубже затягивался папиросой.

Однажды он увидел в окно незнакомую девушку. Она сидела за рулем «Явы» и уверенно управляли мотоциклом. «Вот сумасшедшая, – усмехнулся он про себя, – любительница острых ощущений».

На следующий день она вновь появилась во дворе и, будто специально, долго газовала на своей «Яве» прямо под окном. Сергей захлопнул окно, тихо выругался: «Вот вертихвостка. Не сидится ей на месте...» Но сам поинтересовался:

– Мама, а кто это?..

– Не узнаешь? – отвечала Анна Тимофеевна, радуясь, что сын начинает интересоваться жизнью. – Это же Танечка Барышникова, эх, боевая девка. В этом году школу закончила... Кстати, вчера тобой интересовалась: что, говорит, Сережка из тюрьмы вернулся?

– А она откуда знает?

– Так ведь в одном доме все живем.

Слышно было, как заглох мотоцикл. Сергей опять открыл окно и сразу увидел ее – на него, прямо и открыто, смотрели карие девичьи глаза, она, продолжая сидеть на мотоцикле, склонила на плечо свою голову, приветливо улыбнулась:

– Что, не насидался еще?.. Прокатиться по ветерку не желаешь?

Сергей растерялся; про себя отметил: «Смелая, да еще с юмором». Ответил:

– Я не самоубийца.

– А я думала, ты ничего не боишься.

Он помрачнел:

– Бояться мне нечего... Кроме милиции. Надзор у меня.

– Надзор... А что это такое?

– Это тюрьма в собственном доме.

– Интересно... – девушка перестала улыбаться, о чем-то задумалась, затем быстро решилась: – Если тебе нельзя, значит я к вам сейчас приду. Можно?..

Через минуту Таня уже была в квартире Боженовых и засыпала Сергея своими вопросами:

– А зачем вас там так коротко стригут? Ой, а правда, что там кормят через день? Больно было колоть татуировки? А женщины вместе с мужчинами сидят?..

В ее глазах испуг быстро сменялся любопытством, казалось, она хотела тут же открыть все секреты тюрьмы.

Сергей смотрел на красивое лицо девушки – чернобровая, с пухлыми, ярко накрашенными губами, в ней сохранялось до сих пор что-то детское, задорное – и думал: «Зачем тебе это? Что за интерес тревожит такие мысли?»

Когда Сергей ответил ей на все вопросы, стал спрашивать сам:

– Что обозначает сережка в одном ухе? Почему девчата носят мужскую одежду, а парни красят глаза?..

На все вопросы Таня ответила одним словом – мода.

Когда они встретились вновь, веселая Таня долго каталась Сергея на своей быстрой «Яве», знакомила с новыми постройками города.

Сергей сидел за девичьей спиной, крепко держался за талию и размышлял: «Когда был там, о чём только не мечтал. Какой только не представлял эту жизнь. Но чтобы вот так...»

– Устал, наверное? – кричала сквозь ветер она.

– Да нет... – отвечал Сергей, хотя все время был в напряжении от сомнения, что за рулем сидит девчонка.

– Сейчас передохнем. За городом красивое место знаю...

Вскоре они были в березовой роще – место сказочное, тихое, чистое. Таня взялась собирать ромашку, объяснив Сергею:

– Для волос полезно.

Сергей устало упал в траву, хотелось обдумать, что вокруг происходит, но ничего не получалось, вспомнил, что там думалось намного легче, свободнее, здесь кто-то мешает, мысли путает, спать хочется...

Подошла Таня, села рядом, улыбается открыто, без принуждения:

– Ну что, нравится здесь? Если хочешь, завтра приедем еще. Или нет, давай лучше в кино...

– Я завтра на работу иду устраиваться, – небрежно перебил ее Сергей.

Девушка потупилась, опустила голову, молчала.

«Нет, что-то все не так, — размышлял Сергей, — не то говорю, не то делаю. Зачем я здесь? Зачем она здесь? Ребенок еще, малолетка. Но интересно, что она от меня хочет?»

— Таня, у тебя парень есть? — осторожно поинтересовался Сергей.

— Был... — глухо ответила она.

— Разругались?

— Расстались навсегда.

— А что так?

— Неинтересный... Как все...

— Неужели здесь все одинаковые?

Она немножко помолчала, затем ответила:

— Был один... Но его еще в девятом классе посадили... Может знал — Сашка Костров?

— Нет, не встречался, — ответил Сергей и с интересом посмотрел на Татьяну.

Она сидела рядом, обняв руками колени, сидела близко, но как-то стесненно, почти обиженно и часто моргала длинными ресницами.

Сергею захотелось вдруг ее пожалеть, приласкать, погладить ее пышные волосы, но что-то тормозило: нет, это не для меня...

На следующий день он ее обманул.

Таня постучалась в квартиру Сергея. К ней вышла Анна Тимофеевна и извиняющимся голосом сказала:

— Танечка, а он еще не вернулся. Но я думаю, вот-вот появится. Ты далеко не уходи...

— Хорошо, Анна Тимофеевна, я его во дворе буду ждать...

Таня ушла, а мать сразу к сыну:

— Ты что же, сын, меня врать заставляешь? Почему не захотел выйти? Посмотри, девчонка к тебе всем сердцем...

Сергей этого не мог объяснить ни матери, ни себе. Он сильно нервничал и боялся подойти к окну, чтобы вдруг не встретиться с чистыми девиччьими глазами.

В эти же дни его навестил приятель. Пришел с бутылкой вина. Вместе выпили, заговорили о жизни:

— Главное, первое время удержаться, перетерпеть, пока надзор. А потом... — так поучал его друг. — У меня тоже первый год нелады были, все не так, чувствуешь себя каким-то инопланетянином в этой жизни, все озираются. Но ничего, пронесло, вот уже третий год дуру гоню...

— А как перетерпеть? Ко мне почти каждый день с «мусорской» заглядывают. Никуда не выйти. Жизни никакой нет.

— Да ты пока не дергайся. Все будет... А пока найди какуюнибудь с косичками, они сейчас все ранние, приручи ее. С ней время быстро пролетит... Хочешь, помогу?

Сергей отмахнулся.

Друг ушел. После разговора с ним Сергей посмотрел на себя немного иначе, безо всяких правил, и стало будто бы посвободней. Как только услышал знакомый рокот мотоцикла, сразу подошел к окну.

— Привет, Танюха! — крикнул он и пьяно улыбнулся.

Таня была невеселой, даже скучной, она искоса взглянула на Сергея, холодно спросила:

— Ну что, устроился? Работничек... В ее голосе сквозила обида, но видно было, как она борется, терпеливо ждет.

— Устроился, — быстро солгал Сергей и уже лгал дальше: — А ты знаешь, я назавтра билеты в кино достал. Классный фильм. Идем? Только днем, сама знаешь...

— А какой фильм, Сереж? — сразу оживилась Татьяна, на лице заиграла улыбка.

— Да ты зайди. Что, так и будем, через окно...

Она прибежала скоро, запыхавшаяся, довольная.

Сергей стал угождать чаем. Она пила чай, смотрела на него и смотрела долго, так, будто не видела вечность. Когда насмотрелась, стала шутить:

— Сереж, а Сереж, я тоже такого ангелочка хочу... — говорила она и трогала руку Сергея, на которой была татуировка.

Из любопытства она приподняла рукав рубахи и увидела другой рисунок:

— Ой, а это кто? Черттик, смешной какой...

Она отставила чай, увлеклась татуировками.

Сергей, в свою очередь, заинтересовался Татьяной, посмотрел на нее, как на молодую женщину, с вожделением; он никогда не был еще ни с кем так близко и потому вздрагивал, когда она притрагивалась к его телу, чувствовал, как неведомая блажь усыпляет его сознание...

Он не помнил, как обнял ее, как гладил руки, плечи, волосы, как стал целовать...

— Ой, Сережка, ты совсем не умеешь целоваться. Вот так надо...

Таня сама целовала Сергея и при этом озорно смеялась.

«Она по-прежнему шутит, — думал про себя Сергей. — Значит, не обиделась. Значит, не против...» Возбужденно запрыгали мысли, он напрягся, стал пытаться...

Звонкая пощечина поставила Сергея на ноги.

Таня, раскрасневшаяся и лохматая, сидела на кровати и поправляла юбку.

— Чего захотел... — сурово выговаривала она. — Значит, и ты, как все.

Сергей испытывал в себе раздражение, он был чем-то недоволен, но чем, не мог понять, на упрек Тани стал сам упрекать:

— А ты что же думала, буду с тобой в березовую рощу на прогулки выезжать, в кино ходить и все... Нет, избавь, у меня то время давно прошло...

У Тани брызнули слезы, сидела сжавшись и старалась плакать как можнотише.

Слезы подействовали на Сергея. Он стал успокаивать. Слезы потекли еще сильнее, слезы девичьи, слезы обиды, а сквозь слезы она говорила:

— От тебя никак не ожидала... Ведь ты... Ведь я не так хочу... Я хочу с тобой серьезно... Я замуж за тебя хочу...

Такое признание Татьяны было для Сергея неожиданностью. Он предполагал, что такие девчата, как Татьяна, напичканные модными тряпками и завороженные беспредельной вольностью современности, напротив, будут опасаться и сторониться пришедшего к ним уголовника. Решительные слова девушки ошеломили его, перевернули прежнее мнение, отрезвили. Он теперь ругал себя, что сразу пренебрег человеком, принудил плакать; ему стало стыдно. Он гладил ее по волосам, осторожно целовал в мокрую от слез щеку и впервые признался в любви...

Она успокоилась, положила голову ему на плечо.

— А ты знаешь, я еще никогда так не плакала.

Таня облегченно вздохнула, слабо улыбнулась, но она не знала, что слезы ее только начинаются...

Теперь они встречались каждый день. В их жизни появился новый интерес: бороться со своими плохими привычками; Татьяна пообещала Сергею не превышать на «Яве» восьмидесяти километров в час и не злоупотреблять косметикой; Сергей по просьбе Тани сразу же бросил курить. От материнского глаза это не ускользнуло. Сын признался:

— Мама, ты не беспокойся, все будет хорошо. Мы поженимся, когда Тане исполнится восемнадцать.

А вскоре и Таня открылась своей матери.

Однажды вечером Анна Тимофеевна беседовала с сыном о предстоящей жизни, о трудностях, которые появятся, поучала, как правильно относиться к будущей жене — она еще молода и это большая сложность...

В тот же час к Боженовым пришла Екатерина Павловна и прямо с порога грубо заявила:

— Не мечтайте, ничего не будет. Они не пара.

Тогда же Барышникова лукаво предлагала Анне Тимофеевне переселиться вместе с сыном в новый район, где обещала квартиру, на что мать категорически отказалась:

– Никуда переезжать не будем. И мешать детям не стану. Пусть сами решают...

Уходя, Барышникова с ненавистью взглянула на Сергея:

– Да ты посмотри на себя и на нее. Если не оставишь в покое, плохо тебе будет.

Сергей промолчал.

Но сильно изменилась Татьяна, стала реже бывать, что-то недоговаривала. А однажды не выдержала, разрыдалась:

– Мать совсем взбесилась. Никогда не была такой... Сегодня лыжной палкой избила, потому что отказалась ехать к тетке в Сибирь. Что с ней? А ведь я ее так любила...

«В Сибирь сплавить хочет...» – догадался Сергей. Посмотрел в лицо Тани, лицо потускнело, исчезла детская задорность, а вместе с ней исчезла радость. Он вспомнил про мотоцикл, предложил:

– Давай за город махнем, к березкам, освежимся...

Стоял октябрь. Деревья освобождались от листвы, несмело, не торопясь, как робкие девственницы, сбрасывали свой золотой наряд на землю, оставаясь в обнаженном ожидании...

Только что прошел дождь. Татьяна и Сергей катили по сырому асфальту, они будто убегали, спешили туда, где будут только вдвоем.

Роща дышала свежестью осени. Опавшая листва и потускневшая трава не просыхали от частых дождей. Но здесь было по-прежнему тихо, безопасно, красиво, белоствольные березы так и светились на блеклом фоне остального мира.

– Я бы здесь всегда жила, – мечтательно призналась Таня, – ромашку бы собирала, землянику, грибы... А за этим лесочком, немножко вправо, озерцо есть... Ты любишь рыбачить?

– Люблю...

Сергей слушал Татьяну, а сам смотрел на сломленную то ли ветром, то ли молнией березу, которая, падая, придавила своим стволом к земле другую березу, стоявшую рядом, – она вся прогнулась, но не сломалась, так и жила под мертвым стволом. «Вот так и я: сам еще толком не стою на земле и ее за собой... Мучиться будет...»

Именно тогда, в березовой роще, в Сергеев что-то сломалось. Он, совсем неожиданно, стал уговаривать Татьяну уехать на время в Сибирь, там хорошенько отдохнуть, между тем будет время успокоиться ее матери, уговаривал, но сам в это не верил.

Но ему поверила Татьяна и уехала...

– Вскоре Сережу арестовали, – рассказывала Анна Тимофеевна. – Не могла я больше жить в одном доме с Екатериной Павловной, встречаться с ней не могла, всегда плохое ожидала...

– Ну а что же с Таней? – торопил я.

— Когда она вернулась, я уже не жила в том доме. Мой новый адрес ей был неизвестен, а сама к ней прийти я не решалась, думала: будь, что будет... Может, я тогда поступила неверно, кто знает? А встретились мы с ней как-то в городе... Она уже замужем была и готовилась уезжать за границу...

— Что же она его так быстро «похоронила»? — не удержался я.

Но Анна Тимофеевна объяснила:

— Таня здесь ни при чем. Хотя она действительно Сергея, похоронила... Екатерина Павловна солгала ей, сказала, якобы Сережа умер в колонии. Таня приняла все за правду. А письма, которые он писал, до нее не доходили...

После полного рассказа Анны Тимофеевны я теперь знал, чью фотографию и чье письмо держал в руках мой ночной гость, и понимал, почему так сильно тряслась перед ним испуганная Барышникова.

Между тем, для меня оставался неясным еще один вопрос: по какой причине вспыхнул и сгорел дом? Примерно так я и поинтересовался у Анны Тимофеевны. Она посмотрела на меня с нескрываемым удивлением:

— Разве вы не знаете? Странно...

Здесь открывается черный занавес: в каменном доме, в полуподвале за моей стеной, размещалось небольшое нелегальное производство по изготовлению спиртных напитков, основная часть которых тайно переправлялась в братские страны; а чтобы не было большого конфликта с законом, производство имело над собой научную защиту: талантливый ученый-химик производил здесь свои опыты и часто добивался в новых соединениях высококачественного спирта; так он и кончил свою жизнь в ужасных мучениях, вместе со своим помощником...

За окном белыми хлопьями посыпал снег, сгущались вечерние сумерки, мы стали прощаться. Я очень благодарил за теплое гостеприимство. Больная бабушка приглашала меня чаще навещать.

Что удивительно, за все время нашей встречи никто не обмолвился о предстоящем суде, но, когда мы вышли во двор, уже у калитки, Анна Тимофеевна твердо сказала:

— Я верю, скоро все кончится и Сережа вернется домой.

Я смотрел на ее измученное страданием лицо и вдруг понял, что я в какой-то степени участник всего случившегося, посмотрел на калитку и вновь поймал себя на мысли, что это уже со мной когда-то было...

Я шел по заснеженной улице, а чувство моей далекой молодости так и не оставляло меня, больше того, нахлынули из памяти мои поступки безвозвездного ущерба, стало тревожно: «Аннушка... Анна...» «А может, она — та самая?.. — меня бросило в жар, попробовал себя

успокаивать: – Ну и что, что Анна... Ну и пусть калитка, у многих такие калитки... Почему именно она... Моя Аннушка меня бы сразу признала, пристыдила... Хотя нет, она всегда была терпелива, ждала, пока я сам пойму... Неужели?.. Поэтому-то она не проронила ни слова об отце Сергея. Так, значит... Никто сейчас не скажет точно. Но так или иначе, видимо, настало мое время расплаты, встреча со своим же грехом...»

Глава 10 **УРОДКА**

Еще не решив точно, куда податься на ночлег, я захотел просто погулять. Направился на городскую площадь, где наверняка все уже было готово к встрече Нового года. По пути любовался красочно оформленными витринами, живописными афишами. Весь город утопал в обрушившемся потоке снега, напоминая далекую зимнюю сказку...

Городская площадь была украшена высокой ветвистой елкой, на ветвях мигали разноцветным огнем лампы, рядом собирались люди – старые и малые – любовались, вскинув головы кверху. Стояли деревянные, выкрашенные яркой краской терема, их уже завтра займут бойкие, звонкоголосые торговцы и будут преподносить разные угощения. Вокруг площади был выстроен снежный городок, его облюбовала детвора, разделившись на группы, вели снежные бои. Один стрелок метко влепил снежок девочке прямо в спину, а она, вместо того, чтобы обидеться и заплакать, быстро слепила свой снежок и ответила обидчику... Детский восторг, казалось, разносился по всему городу.

Мое внимание привлекло поздравление, написанное на огромном белом планшете красными буквами; рядом стоял маленький мальчик, его за руку держал молодой отец; мальчик стал читать вслух, по слогам, поздравительное послание: «С Новым годом, дорогие товарищи! С новыми успехами в труде, с победой разума и гуманности!»

Мальчик задумчиво повторил последнее слово, поинтересовался:
– Папа, а что такое гуманность?

Отец довольно мудреными словами стал объяснять маленькому сыну.

Тут же я почувствовал на себе чей-то тяжелый, пронизывающий взгляд, оглянулся, но никого не увидел, еще с минуту озирался по сторонам, пока не понял, что это тяжелое чувство исходит из меня самого...

На окраине города, на отшибе, в окружении нескольких сосен стоит старая тюрьма. Сюда не доносится детский восторг общего

праздника, не достигает этих мест яркий свет высокой елки, здесь безлюдно, нет-нет промчится шальной грузовик, напоминая о старой дороге в город, внезапный ветер рванет подгнивший тюремный забор, тот заскрипит, застонет, даст знать о себе вечный охранник: стой, кто идет? и, скучи ради, а может от страха, пальнет в густую чернь ночи, в ответ тут же взорвутся яростным лаем дворовые собаки.

Тюрьма... Это слово знает каждый, но что прячется за ее каменными стенами, известно не всякому.

С первого взгляда, все очень просто: длиннющие коридоры – продолы да множество камер с железными одноглазыми дверьми. По продолам ежеминутно перемещаются контролеры – продольные. Продольные – люди разные: пожилые чрезвычайно раздражительны, выплескивают в камерах свое скопившееся зло, молодые, очевидно, осознают, что сами еще грешны, могут оказаться в этих же камерах, и ведут себя сдержанно, терпеливо, с пониманием, но бывает и наоборот.

Здесь нужно признать, что среди работников есть исключения: например, продольный по имени Володя, проработав более десяти лет, вдруг начал гавкать по-собачьи, особенно ночью, когда в камерах устанавливается полнейшая тишина, он тихо подходит к одной камере и лает голосом дога, затем перемещается к другой и лает уже овчаркой, дальше дворнягой...

Камер в тюрьме несколько сотен. Есть камеры общие, в них положено содержать от пятнадцати до двадцати заключенных, но здесь всегда переполнено вдвое, а то и втрое. В общих камерах сидят люди в основном веселые, озорные, отличаются смекалкой и проворством. В то время как в спецкамерах тихо и не тесно, заключенных обычно до шести человек – они, как правило, отличаются той настороженной задумчивостью, которая случается в напряженном ожидании плохого. Есть больничные камеры с деревянными полами, чистыми простынями, мягкими койками.

Но я хотел бы остановиться на штрафном изоляторе (ШИЗО), где в данное время находился Сергей Боженов за нарушение режима содержания: в ночное время, после отбоя, читал книгу, на замечания контролера не реагировал. Для ясного представления пусть каждый из вас, на время, поместит себя в небольшую комнату, где-то два на три метра, вместо стула здесь будет стоять металлический столбик, диван заменят деревянные нары, которые совсем не будут мешать, нары прикованы к стене и открыть их возможно только после отбоя, с тусклого потолка на вас грустно смотрит маленькая лампочка, зарешеченное окно не имеет стекла, оно зашторено полиэтиленовой пленкой, но так неудачно, что даже зимние снежинки с порывом ветра заносятся в камеру, тут же, безо всякого разделения от общего инте-

рьера, находится место вашего туалета. Что, плохо пахнет? Ничего, это только первое время, затем привыкаешь. Страшнее всего холод. Пол, стены, потолок из сплошного бетона. Вы обуты в кирзовые ботинки без шнурков, а одеты в серый костюм из х/б, который вам мал; в рукава, под штанины заныривает холод, тело пронизывает промозглую сырость, исходящая от влажных стен. Вдруг в стене вы видите маленькую батарею, скорее прижимаетесь, но она так раскалена, что через несколько секунд вы не выдерживаете, отходите, так и не успев согреться. И тут-то в сознании вспыхивает верная догадка, что над вами здесь попросту кто-то издевается...

Трети сутки Боженов в карцере, трети сутки не спит – не дает холод. Беспрестанно ходит от стены к стене, так теплее. Иногда подходит к батарее, прижметсѧ спиной, стынет грудь, обнимется грудью, зябнет спина – все впустую. Тогда он вытянул вперед руки и начал делать приседания, хотя уже знал, что этого заряда тепла хватит ненадолго.

– ...35, 36, 37... – считает вслух свои приседания, а в окно вместе с ветром залетают снежинки, свободно кружат по камере и опускаются ему на плечи.

В контролерской тепло. Продольный Вова-собака сидит в кожаном затертом кресле, вытянув перед собой ноги и положив их удобно на стул. Он человек незловредный, никогда не ругается, не кричит, но и не может улыбаться, его полноеечно отекшее лицо ничего не выражает. Вова продолжительно зевнул несколько раз, побоялся, что может совсем уснуть, и вышел на продол погавкать. У первой камеры начал дворнягой...

У камеры, где находился Боженов, он услышал: «...97, 98, 99...» Быстро подошел к двери и, не открывая волчком, громко сказал:

– Деньги считаешь... Давай сюда. Все равно утром шмон. Гав, гав, гав...

Трудно было понять, спрашивает или размышляет вслух, сказав, он тут же пошел дальше.

Сергей услышал голос, бросил приседать, подошел к двери, позвал:

– Командир, подойди...

– Не положено.

– Спросить хочу...

– Не положено, – заученно и невозмутимо повторил продольный.

Боженов знал, как на него можно положительно подействовать: несколько раз гавкнул. Вова-собака тут же с радостью отозвался особыенным заливистым лаем, подошел к двери:

– Ну, что хотел?

— С наступающим тебя, — сказал Сергей, заставил себя улыбнуться и быстро зашептал:

— Деньги есть. Давай придумаем...

— Не положено, — не дал договорить продольный и пошел прочь.

Но не найдется ни одного продольного, который не любил бы деньги; Вова немного поразмыслил и тут же вернулся, повторил:

— Что хотел?

— Третью сутки не сплю, колотун страшный... Дай бушлат на ночь — четвертак получишь...

— Давай, — уже не раздумывая, согласился тот, открыл кормушку, протянул в камеру свою ладонь. — Давай деньги.

— Неси бушлат, из рук в руки.

Он быстро принес бушлат, сунул его в кормушку, взамен получил бумажный сверточек.

Боженов принял бушлат.

Но в следующий же момент в камеру вновь протянулась Вовина рука, на ладони был развернут только что врученный сверток, на бумаге вошкались две здоровенные жирные вши.

— Забирай своих насекомых, — пробубнил он, — возвращай бушлат.

В его голосе Сергей заметил нотки обиды.

— Не обижайся, командир, выслушай, — извинился он, накинул на окоченевые плечи бушлат. — Грош тебе цена, если ты не знаешь, что в твоих руках сейчас большое богатство — вошь-лекарь, я недавно сам об этом читал и, если с умом приготовить и употребить, то она излечит от многих заболеваний. А если вошь теперь перевести на деньги, она будет стоить поболее четвертака. Так что, смекай, чего-чего, а этих насекомых у нас здесь невпроворот — золотое дно. Только скажи...

Вова-собака выслушал Боженова и в который раз убедился, что речь некоторых заключенных действует внушительно, тут же вспомнил, как однажды сам был на городском рынке и видел женщину, продававшую вшей. Он завернул вшей опять в бумагу, спрятал их в карман и сказал деловым тоном:

— До утра еще приготовь.

Сергей согласился.

Продольный захлопнул кормушку и за дверью разразился радостным лаем.

Сергей Боженов поглубже влез в бушлат, который был без воротника и очень коротким, в кармане обнаружил спички, зажег, обогревая озябшие ладони.

...Его внимание привлекло странное существо, которое любопытно передвигалось по сырой стене. Величиной с двухвостку, оно име-

ло такое же скользкое и жирное тельце, а множество длинных тоненьких ножек были подобны комариным. Самое удивительное, что у этой двухвостки имелись крылья, которые придавали сходство с бабочкой, но так как на них отсутствовал яркий рисунок, они напоминали крылья домашней тли. Полудвухвостка-полубабочка с трудом взмахивала крыльшками, на мгновение взлетала, пусть медленно, но передвигалась, выразительно крутила головкой с выпуклыми глазами, как у стрекозы.

«Что за уродина такая? Кто породил тебя в этих стенах?» – размышлял Боженов, рассматривая нелепое существо. И первым чувством было отвращение. Он зажег спичку, не задумываясь, стал подносить... Внезапно существо остановилось, замерло, а затем само направилось прямо в пламя. Сергей оторопел, отдернул руку со спичкой, удивился: «Где же это видано, чтобы безмозглая тварь в пекло бросалась... Значит, жить надоело...» Он задумался еще глубже, а в душе проявлялось чувство, пока неосмысленное, но с приятной тревогой в себе: «Тоже тепло ищет. Иди же ко мне, Уродка». Сергей бережно взял насекомое, расположил на своей ладони, припугнутое существо казалось мертвым, тогда он поднес ладонь к лицу, дохнул своим теплом. Уродка закрутила головкой, зашевелила крыльями, ее тельце, до этого недвижимое, сморщенное, расправилось, он опять дохнул, она задвигала ножками, щекотно трогая ладонь, начала передвигаться, периодически взлетая с помощью диковинных крыльев.

Боженов целиком увлекся своей необычной сокамерницей, которая, словно танцуя, перемещалась по ладони и совсем не думала ее покидать. «Видно, по нраву пришлось такое место. Носи теперь тебя в своей ладони...» – размышлял он и уже боялся чем-то нарушить прекрасный танец. «Не пугайся. Не тяжела ты мне. Вертись, вертись, эко, балерина!»

Затем, ради собственного интереса, он взял спичку, положил на ее пути: стоп, не положено. Уродка остановилась, стояла, тупо скаввшись. Сергей послал свое тепло, и она мгновенно воспряла, взмахнула крыльями и – преграда позади. «Так вот что тебя спасает – тепло».

Увлеченный он забыл о лютом холоде тюрьмы. И, уже засыпая, все еще продолжал радоваться: «Как прекрасно твое творение! Ты, двухвостка, рожденная ползать, имеешь крылья птицы, созданье дивное, хотя и неразумное. Как жаль, что слова нет в тебе и ты молчишь... А может, я глух. И все-таки ты есть...»

Резкий звонок прокатился по всем этажам тюрьмы, означая всеобщий подъем. Боженов был уже на ногах, всем телом содрогался от наступающего дня; за окном еще лежали сумерки. В спичечном коробке покоилась двухвостка, туда же Сергей накрошил от своей пайки черного хлеба, в надежде, что она сможет им питаться.

Подали завтрак. Горячий кипяток на время согревал живот.

Началась проверка. Продольный открыл дверь, сильный сквозняк сорвал с окна полиэтиленовую пленку, в камеру вошел полковник-хозяин, внешне напоминавший огромную каменную глыбу. Его опухшее, измятое с ночи лицо не внушало ничего доброго, мутные глаза навыкат выражали напущенную победоносность, от него сильно тянуло табачным дымом. Окинув взглядом камеру, он спрашивал, но больше для формальности:

— Вопросы есть?.. Жалобы есть?..

В дальнем углу камеры стоял Боженов, лицом к стене, закинув руки за спину, сжимал кулаки, молчал.

Самодовольный хозяин уже выходил, как вдруг, в углу камеры, увидел спичечный коробок, поднял.

— Почему беспорядок?! Не положено, — прорычал он и швырнул коробок под тяжелый каблук сапога. Раздался звук, напоминающий хруст молодого дереваца.

Хозяин вышел, унося за собой табачный запах.

Сергей Боженов раскрыл взмокшую ладонь, на ладони, сжавшись, сидела Уродка, он дохнул теплом, Уродка расправила крылья и начала свой танец...

Глава 11 **НЕИЗВЕСТНЫЙ**

В свою деревню я приехал под Новый год. Когда подъезжал, был поражен обилием снега, в котором утопали деревенские домики, и только белые, уходящие высоко в небо столбики печного дыма подтверждали живое существование. Проходя по деревне, я вновь убедился, что здешний человек ох как может слиться с природой, оставаясь с ней полюбовно. Возле домов возвышались гигантские снежные наносы, но каждый двор был вычищен и выметен, а от калиток до дороги проложены настоящие сугговые пещеры, внутри которых детвора оборудовала личные тайные места.

Я торопился в свой дом, хотелось поскорее протопить печь, вскипятить самовар, который нес с собой, пригласить кого-нибудь из соседей, того же Моисея.

В одном дворе еще издали я заметил веселье: несколько разгоряченных мужиков и женщин выплясывали под гармонь, прямо на снегу, — погода позволяла. Когда я проходил близко, меня заметили, узнали и затащили в избу, в которой, казалось, собралась целая деревня. Через всю избу тянулся празднично накрытый стол, за столом я увидел торжественно нарядных жениха и невесту. И каково же

было мое удивление, когда под белоснежной вуалью я распознал лицо нашей Аленушки. Я не знал, радоваться мне или сомневаться, но так или иначе подошел к молодой паре, поздравил от души и выпил стопку горькой за их благополучие.

Узнав меня, Аленушка просияла:

— Как хорошо, что вы пришли. Я даже не ожидала... Спасибо вам, — и попросила: — Садитесь здесь, с нами.

Я сел и обратил внимание на жениха: русоголовый, с добрыми голубыми глазами, с рыжими усами, которые высоко окрылялись, когда он улыбался.

— Мой муж, Сергей, — сказала Алена и тут же шепнула: — После очищения Бог дал ему новое имя... Но о том, что с ним раньше было, он не должен узнать, не то найдет сомнение и он пропадет.

Она вновь поражала своим чутким восприятием Божьего промысла, но сомневаться и проверять, как в прошлый раз, я уже не хотел и не потому, что боялся, я не боялся, я понимал, что живет в этой деревенской девушки непоколебимая вера, которая дарует ей любовь вечную. Я смотрел на эту прекрасную пару и испытывал радость. Мне захотелось выпить вместе с женихом и невестой, и мы выпили. После чего я неудержимо плясал на снегу, при этом выкрикивая слова, понятные мне одному: «Не ошибся... Не ошибся...» Вскоре я простился и ушел.

Продолжая путь по деревенской дороге, я увидел на заснеженной лавочке одинокую фигуру, поначалу решил, что мерещится, подошел ближе и распознал Моисея, который явно сидел давно, был запорошен снегом.

— Со свадьбы? — спросил он глухим голосом.

— Да, — ответил я и удивился, как сильно постарело его лицо, почернело и было чем-то опечалено.

— Свадьба — это хорошо, жизнь, — продолжал Моисей и голос был так томителен, что мне вдруг стало тревожно. Я задумался: «Что же произошло? Что случилось с человеком, который точно окаменел, сидит, как холодная статуя, наряженная в огромный белый тулуп».

Он посмотрел на меня пристально, решительно сообщил:

— А я вот внука своего скончал, сорок дней сегодня. Сам сгубил пацана... — у него задрожали губы, но перетерпел. — Крылья ребенок придумал, все хотел взлететь... А я-то ему, дурень старый, все условия... А оно, вон чем обернулось — голову человек потерял, — он сделал паузу, видимо, размышлял, стоит ли об этом теперь говорить. И все-таки решился: — Оказывается любить — не значит потакать во всем, важнее следить за порядком, поправлять в человеке каждый слепой шаг. Вот так вот: век живи, век учись и дураком померешь... Но ты ступай, ступай, мне теперь лучше одному.

Я поздравил соседа с наступающим, пригласил в гости.

Моисей посмотрел на меня рассеянно, задумчиво ответил:

— Приду... Обязательно приду, только в другой раз...

Я подымался вверх по холму, шел с трудом, вяз по колено в снегу. Всю дорогу, пока не дошел до своего дома, размышляя о Моисее, о его погибшем внуке. И мне на ум пришли такие слова: «Для старого и малого един закон – не отрывайся от земли, взлети душой, а тело усмири».

Только ступив во двор, я понял, что неожиданности продолжают-ся. От калитки до крыльца была прочищена дорожка. Я осторожно вошел в дом, и на меня дохнуло теплом: дом оказался кем-то протоплен. Этот кто-то обжил одну из комнат, которая хорошо обогрева-лась, но сам отсутствовал. Беспорядка в доме я не нашел, напротив, чувствовалась хозяйская рука: в комнате были побелены стены, выкрашен белой краской подоконник, я подумал, может какой бездомный остался перезимовать, ну и слава Богу, все мне не одному.

Я ощутил чувство симпатии к человеку, которого еще не видел, но пытался предположить по домашней чистоте и порядку. Предвку-шая новую встречу и желая придать дому праздничный вид, я пошел в лес, выбрал душистую сосновую ветку, сломленную ветром, поместил ее в углу, согрел самовар, зажег свечи и стал ожидать.

Новый год я встретил один и, видимо, от одиночества стал зяб-нуть, решил подтопить печь, а когда открыл ее, понял, что сегодня она не топилась, стены сохраняли вчерашнее тепло. Я принял сомнева-ться: «Ушел совсем. Должно быть, прохожий, блудный был... Но для кого стены выбелил?..» И здесь я рассмотрел в верхнем углу натянутую белоснежную занавеску, ее трудно было сразу отличить от выбеленных стен, за занавеской обнаружил старинную икону в тяжелом окладе, под стеклом. «Значит, не совсем ушел...»

Я затопил печь, и, пока пил чай, комната наполнилась теплом. Меня разморило, начал дремать.

Свечи освещали дом светом таинственности: оживали стены, дви-гались тени, слышались странные шорохи.

Я отчетливо услышал, как хлопнула входная дверь, открыл глаза и увидел перед собой маленькую согбенную старушонку, которая пристально смотрела на меня, а глаза точно угли раскаленные. «Ксе-ния, вот кого не ожидал...» Пока я пытался понять, почему именно Ксения поселилась в моем доме, она заговорила сама:

— А я смотрю, свет в окне трепещет, подумала, Иван вернулся.

Она смотрела на меня с нескрываемым разочарованием. Я же, в свою очередь, недоумевал:

— Какой такой Иван? А я здесь кто?..

— Иван, да не тот, — ответила коротко старуха. Увидев мой самовар и разложенные на столе книги, сухо спросила:

— В гости пожаловал? И надолго?

Вопрос был задан холодно, в ее глазах я видел укор, она явно презирала меня, но после того, как я объяснил, что намерен вернуться совсем, мгновенно переменилась, посмотрела по-доброму:

— Давно пора...

Я опять услышал, как хлопнула дверь, ворвавшийся ветер задул свечи, а когда я их вновь зажег, в комнате никого уже не оказалось. Я еще долго пил чай, наслаждался свежестью леса, идущей густым ароматом от оттаявшей сосновой ветки, смотрел на старинную икону с образом Иисуса и думал: «Кто же Он? Почему не идет?...»

Утро нового года выдалось ясным. Лучи через окно падали на кровать. Я лежал с закрытыми глазами, чувствовал на своем теле солнечное тепло и вспоминал детство.

Во дворе лежал новый снег: чистый, сияющий, еще никем нетронутый. У крыльца стояла лопата. Я взялся расчищать, ощущая как оживает мое тело, поскрипывают косточки, растягиваются мышцы. Когда уставал, высакивал за ворота и ждал: не идет ли Он...

После обеда стал собираться в город; хотелось поскорее закончить там все свои дела и вернуться сюда насовсем...

Глава 12 **СУД**

Состоялся суд. Я был вызван в качестве свидетеля. Расположился на свободном месте и принялся изучать собравшихся, большинство из которых оказались знакомыми по каменному дому.

Вдруг я увидел страшно изуродованное лицо, его черты смешались со множеством свежих, красноватых еще шрамов, хорошо были видны только раздутые ноздри, синяя полоска потрескавшихся губ и остекленевшие, словно замороженные в лед глаза, не было ни бровей, ни ресниц, казалось, будто пьяный скульптор взялся вылепить маску, да так и недолепил. Лицо мне было незнакомо, я никогда с ним раньше не встречался, и только мог догадываться, что под всеми шрамами-ожогами еще что-то оставалось от Барышниковой Екатерины Павловны.

Собрался весь состав суда. Свидетелей, в том числе и меня, попросили удалиться из зала за дверь.

За дверью также оказалась Светлова Светлана Григорьевна. Ожидая вызова, она взволнованно разговаривала с маленькой женщиной в большой песцовой шапке и с ярко накрашенными губами.

— Пораспустили злодеев. Никакой на них управы. Была бы моя воля... Я считаю, их совсем нельзя выпускать оттуда... — говорила Светлова очень громко и, несомненно, для всех.

Маленькая женщина соглашалась и так страстно кивала для утверждения головой, что, казалось, вот-вот упадет ее песцовая шапка. Мне же от сказанных слов сделалось неприятно. А Анна Тимофеевна Боженова, которая стояла рядом, вздрогнула, потупилась и отвернулась. Открылась дверь и назвали мою фамилию. Я вошел в зал судебного заседания, мне указали место в центре, предупредили о наказании за дачу ложных показаний и потребовали объяснение по делу. Легко повторяя свои предыдущие показания, я тем временем искренне удивлялся облику суда, избранного народом. Во главе, то есть в центре, сидела женщина лет сорока пяти в сером, почти мужском костюме. Лицо тоже серое, невзрачное, ничто не выражает. Видно, что она думает о постороннем, иногда совсем забывает, лезет рукой в карман костюма, достает семечки, шелушит под столом. В зал смотрит рассеянно. Когда пришла в себя, живо встряхнула с юбки, перебила меня и задала совсем нелепый вопрос, на который я не ответил, а она о нем тут же забыла. Рядом с ней, по левую сторону, располагался молодой мужчина. Он смотрел на меня пристально и долго, и, хотя ничего не спросил и не сказал, я понял его так: уж кто-то, а он в этом деле точно разберется, всех видит нас kvозь. По правую сторону от главы находилась молодая женщина, которая совсем не сидела на месте, то и дело перекладывала бумаги, теребила нервно ручку, порывалась что-то записать, но не решалась, казалось, у нее много вопросов, но она почему-то сдерживала себя, привставала со стула, поправляла платье и опять садилась. Когда я окончил говорить, судья еще с минуту смотрела вопросительно, затем взглянула по сторонам, будто о чем-то вспомнила, и сразу разрешила мне сесть в зале.

Стояла поразительная тишина, слышен был каждый шорох, каждый тяжелый вздох.

Боженов был спокойным, сидел за деревянной перегородкой, сидел сгорбившись, когда его спрашивали, не спеша поднимался и не спеша отвечал. Его надежно охраняли со всех сторон.

Сразу за перегородкой, спиной к подсудимому, за столиком сидел его защитник — маленький, сухонький старичок со знаками фронтовых заслуг на костюме. Несмотря на преклонный возраст, он был подвижным, но, как мне показалось, со слабым сердцем — в критические моменты его лицо заметно бледнело.

На противоположной стороне, у окна, размещался стол прокурора. Валентин Абрамович Кряхин сохранял в своем лице повседневную сочность, а выражение его было достойно неоспоримой уверенности во всем. Он пока был занят исключительно своими бумагами.

Я взглянул на Боженова, который по-прежнему сидел, отрешенно уставившись в пол, и вдруг близко почувствовал навалившуюся на него опасность, сила которой исходила из стопы бумаг, составляющих уголовное дело.

Мои опасения подтвердились уже в следующую минуту. В зал вошла женщина в песцовой шапке и стала говорить так быстро и так сбивчиво, что ее трудно было понять; говорила много, но ясного было мало. Из всего ею сказанного я понял только то, что в тот день, а вернее вечером того дня, когда загорелся дом, она встретила, совсем случайно, у подъезда каменного дома Боженова, который вел себя как-то странно и подозрительно. Как именно странно и подозрительно – этого объяснить не могла.

Судья и прокурор восприняли такие показания с особой важностью. Они ее часто переспрашивали и записывали в свои папки. Адвокат также проявил к свидетельнице свой интерес и что-то записывал в свою папку. Суд представлялся какой-то игрой, игрой, в которой разыгрывается приз, пока никому не доступный, строго охраняющийся за деревянной перегородкой, и кому он достанется, решат исписанные в папках бумаги...

Вошла Светлова. Она уверенным тоном подтвердила показания предыдущего свидетеля, ко всему дополнив, как накануне пожара видела Боженова, он преследовал Барышникову до самой квартиры, при этом выкрикивал угрозы, что сожжет не только ее, но и весь дом...

И вновь переспрашивалось, уточнялось, записывалось, росли стопы бумаг в папках. Чертово колесо закрутилось и с большим успехом.

Следующей должна была давать свои показания Боженова, но прокурор опротестовал, заявив, что родная мать подлежит сомнению, как лицо, заинтересованное в пользу подсудимого. Судья отряхнула от семечек руки и, на месте посовещавшись, одобрила заявление прокурора.

Я сидел ошарашенный. У меня появилось непреодолимое желание вскочить и выбежать за дверь. И я встал, но уйти не смог, что-то не пускало. В это время встретился взглядом с Сергеем, он удивлял своим спокойствием, будто все, что вокруг происходит, не для него, и только на самом дне его глаз лежала неведомая мне тоска, которая так и говорила: «Ну что же ты стоишь, как истукан? Предпринимать надо...» В моем сознании закружилось, задвигалось: отрок, дом... отрок, церковь... отрок, лошадь... лошадь, ложь... Я опустился на стул. «А что же предпринять?..» Я начал терзаться, уже не замечая продолжения суда, и потому, когда судья объявила перерыв до следующего дня, я не слышал, но встал и поплелся к выходу, про себя размышляя: «Странное дело получается: большинство здесь собравшихся прекрасно знают об истинной причине пожара, но упорно хо-

ронят эту тайну... Видимо так устроен мир: одни чего-то боятся, остальные с любопытством наблюдают, ожидая развязки... Ну, а что же я?..»

В это время я неосторожно толкнул кого-то прямо на выходе из здания суда, оглянулся, чтобы извиниться, и увидел Светлову.

– Нужно под ноги смотреть, – выпалила она с негодованием.

Я опешил, но быстро оправился, примирительно сказал:

– Зачем с такой злостью, Светлана Григорьевна...

Но она уже отвернулась и спешила уйти. Мне было жаль смотреть на эту взбесившуюся женщину. Я быстро догнал ее, уверенно взял за руку:

– Что с вами? Почему обманываете себя и других? Ведь вы не такая, я знаю, вы умная, вы добрая, вы красивая, а теперь, что с вами стало, посмотрите на себя – на вас лица нет... Зачем вы играете эту страшную роль?

Светлова стояла обескураженная, не знала, выслушивать меня дальше или уйти, наконец заговорила сама:

– Мне сказали, что вы на стороне этого бандита, покрываете его, это правда?

У нас начинал kleиться разговор, и я был рад. Но, когда я ответил, что Боженов никакой не бандит, а жертва и ему нужна от нас помочь, она резко отпрянула от меня, округлив глаза:

– Хороша жертва... Он наш дом спалил. Он сжег все... Вы хоть знаете, на какую сумму ущерб только в нашей квартире?

«Так вот, где собака зарыта... Теперь ее понять можно». Я немного помолчал, как бы сочувствуя и разделяя такую потерю, затем удивленно спросил: – Неужели вы за правду считаете, что он поджег дом?

– А кто же... Екатерина Павловна обманывать не станет...

– Барышникова – пострадавшая, и в ней говорит одна только ненависть. Но всю правду знает Боженова, поэтому ее и недопустили. Если вы желаете, я вам сейчас все расскажу.

Она согласилась, и всю дорогу, пока мы шли к ее новому пристанищу, я рассказывал все, что знал, о Сергее Боженове, о его любви к Татьяне, о том, как Екатерина Павловна обманным путем разрушила их дружбу...

– Странно, я как будто бы это уже слышала... А хотя все естественно: мы жили в одном доме и часто встречались. Только сами понимаете, чужая семья, чужие дети, у каждого своих трагедий хватает...

В заключение я сказал, где находился Боженов в ту злополучную ночь, и она будто бы поверила. Расстались мы с миром.

Утром следующего дня все вновь собрались в зале судебного заседания. Не было только Светловой. Не появилась даже тогда,

когда объявили: «Встать, суд идет». Я начал терзаться: «Что же случилось? Неужели заболела? А, может, просто плонула на все...» Неприятная тревога охватила меня, и я уже подумал побежать к ее квартире, но в это время раскрылась дверь, и я увидел ее.

Она была чрезвычайно бледна, под глазами отечность, видно, что эта ночь была для нее длинной и бессонной. Светлова встала перед судом. Прокурор начал свое обвинение по делу, но, увидев Светлову, сбился и замолчал. Судья взглянула недоуменно, спросила:

– В чем дело, гражданка?

Но та никак не ответила, а быстро повернулась и подошла к подсудимому. Все было неожиданно, и даже охрана, которая строго бдила за каждым действием возле подсудимого, не прореагировала, все чего-то ожидали.

– Прости меня, Сережа, – сказала Светлана Григорьевна и, не дав опомниться даже Боженову, повернулась опять к суду:

– Я вчера дала ложные показания...

После признания Светловой в зале началось волнение. Первой не сдержала себя песцовая шапочка, она юркнула к Светлане Григорьевне и стала что-то шептать, разводить руками и пожимать плечами, а когда та отстранила ее от себя, она так глубоко натянула шапку, что оставались видны только ярко накрашенные губы. Тут показала себя Барышникова, она решительно поднялась со своего места и самым надменным образом покинула зал. Заволновался Кряхин, убирая свои бумаги в папку и, видимо, собираясь уходить. И только судья, не желая прерываться, строго спросила:

– Вы даете себе отчет? Или через час скажете обратное... Лучше не мешайте, посидите и подумайте...

Светлова настаивала:

– Я уже обо всем подумала и своим словам даю отчет.

Судья объявила минутный перерыв. После перерыва огласила, что дело возвращается на доследование.

– Это победа! – ликовал взволнованный адвокат. – Теперь осталось набраться терпения и ждать...

Глава 13 **ВОЗВРАЩЕНИЕ**

Я уезжал в деревню. На автовокзал пришел рано утром, к первому рейсу, занял очередь в кассу и тут увидел Анну Тимофеевну. «Это судьба!» – с радостью подумал я и подошел к ней.

– Далеко путь держите? – поинтересовалась она после приветствия.

— В Раздольное, в дом свой возвращаюсь. А вы?

— К Сереже, с передачей. Его в другую тюрьму перевели, далековато, но ничего, потерпим, немного осталось...

Мать тихо расцветала, молодела в лице, а душа наполнялась радостью в предвкушении скорого возвращения сына. Мы присели на лавочку. Она рассказывала:

— Теперь новый следователь, совсем другой, во всем разбирается начал... А недавно письмо мне от Сергея принес, записку, несколько слов, пишет: «Когда вернусь, будем жить счастливо...» — Я видел, как заискрились глаза матери счастливой слезой, она улыбнулась. — Он никогда так раньше не говорил... Всегда был недоволен жизнью, будто большего хотел. А теперь совсем другой стал. И во всем вас благодарит... Вас и Светлану Григорьевну. Он так и написал: «Спасибо этим людям. Если бы не они...»

Мне было приятно, я отводил глаза, прикрывал свою улыбку и нескладно говорил:

— Да что я... Я здесь ни при чем. Это все она... Хотя я очень рад за него... Вот вернется, обязательно встретимся...

Объявили посадку и мы простились.

...С трудом поднимаясь по заснеженному холму к своему дому, я увидел, как из печной трубы выется белый, густой дым, а когда вошел в дом, увидел Его. Это был молодой человек лет тридцати, внешностью напоминающий дьячка: длинные, волнистые волосы свисали почти до плеч и были расчесаны на прямой пробор, лицо вытянутое и острое, заросшее редкой бородкой, на нем была белая рубашка без воротника и широкие штаны, почти как шаровары. Он сидел за столом и был занят книгой, увидев меня, встрепенулся.

— Наконец-то, приехали... — сказал он, подходя ко мне, помог снять пальто, представился: — Иван Красноглинский. Может, родителей знали?.. Дома-то трагедия случилась, а здесь все равно пустует, думаю, перезимую, а там, как Бог даст...

— А я и не гоню, живи, сколько душе угодно, — с радостью предложил я.

— Я знал, что вы не откажете... Недавно бабка Ксения была, картошки приносила и предупредила, что вы возвращаетесь. Вот, думаю, и попрошу...

Иван быстро собрал на столе обед: появилась картошка на сковороде, сало, огурчики.

После обеда пили чай. В разговоре Иван открыл свою трагедию.

...Иван Красноглинский с детства питал ко всему окружающему мистическое чувство, принимая интересующий предмет за живое и разумное. И само это чувство уже отделяло мальчика от внешнего

мира. Он стал уединяться, научился разговаривать сам с собой, иногда это получалось вслух, и о нем быстро сложилось мнение, как о человеке ненормальном. Его так и прозвали – Иван-дурак.

У него был старший брат, который поддерживал общее мнение и подсмеивался. Отец никак не относился к юродивому сыну. И только одна мать продолжала любить и верить в него.

Но в прошедшем году, ранней весной, мать умерла от болезни. В ту же весну отцу вздумалось срубить березу, которая росла во дворе, у дома. Береза была высокой, ветвистой, напоминала собой стройную девицу. Но хозяину стало казаться, что от дерева падает большая тень на огород. Решив от нее избавиться, он призвал в помошь сыновей.

Иван взмолился:

– Не нужно, отец, сжалься. За что ты ее? Ведь тень здесь ни при чем, все годы был хороший урожай, а теперь такую красоту погубим. Пусть живет, она ведь наша, с нами выросла.

Брат покрутил пальцем у виска, взялся за топор, оттолкнул:

– Иди отсюда, не мешай, без тебя управимся.

Он подрубил ствол и стал толкать, направляя березу в нужную сторону, но она стояла крепко. Тогда он решил:

– Сейчас рогатину принесу, подопру повыше...

Отец закурил, оставаясь стоять под деревом. Подул ветерок, совсем ничтожный, но его оказалось достаточно – береза накренилась и быстро повалилась. Он успел только оглянуться на хруст, как тут же тяжелый ствол сильным ударом прибил его к земле.

Умер отец не сразу, еще несколько дней мучился. Старший сын во всем обвинил Ивана:

– Смерть отца – на твоей совести, ты накаркал...

После смерти отца Иван еще оставался жить в родном доме. Но спустя некоторое время произошло новое несчастье: старший брат взял острый топор и стал рубить березу на дрова, вдруг топор скользнул и повредил ему ногу, да так неудачно, что пошло заражение и ногу пришлось отнять...

– Когда я пришел в больницу навестить брата, он погнал меня, – так заканчивал Иван свой рассказ, – угрожал расправиться... Я видел, что в него вселился бес и, не желая брато-убийства, ушел...

Выслушав, я вновь убедился, как страшен и неразумен наш мир, мир, перевернутый с ног на голову, мир, где в Бога вонзают топоры, а Сатану возносят до любви...

С Иваном завязалась тесная братская дружба. С ним было легко и интересно, он знал много из Священных Писаний, историю христианства и мог философствовать, слушая его, я проникал в иной мир...

Для меня оставались нераскрытыми многие вопросы по Библии, и я, обычно в вечерние часы, за чаем, любил их вспоминать:

— Ты, я вижу, человек осведомленный во многих тайнах, тебе легко понимать сказанное Богом, — подходил я таким образом к своему вопросу и видел, как Иван краснеет, смущаясь, теребит свою бородку. — Вот и объясни мне, почему Бог сначала сотворил Свет, а уже потом было Солнце? Как это представить?

— Все довольно просто. Только для этого нужно вернуться в детство, — отвечал он с великим желанием и при этом весь как бы озарялся. — Ведь Бог есть кто? Любовь, Добро, а если обратить в человека, то ближе как ребенка Он к себе никого не допустит. Вот и бери с самого рождения: сначала ребенок видит свет, а уже затем, по своему развитию, он осознает, что источник света — Солнце. Это и есть личное открытие, сотворение Мира...

После такого объяснения я попробовал вновь прочесть первые строки Библии, и все получилось. Но как порой трудно взрослому человеку вернуться туда, откуда пришел, вернуться, чтобы увидеть главное, увидеть, понять и начать все сначала...

Помимо меня Иван вел дружбу с людьми ему подобными. С ними он подвязывался в паломничество по священным местам. И именно в то предновогоднее время, как теперь выяснилось, они посещали старинный русский город.

А однажды к нему пришел деревенский паренек, который, как я понял, учился где-то в городе, стремился к чему-то высшему и жаждал общения с Иваном. Он, волнуясь, подал ему принесенную газету, в его глазах горел интерес:

— Вот, полюбуйся, еще одного разоблачили... Сколько самозванцев — Христос на Христосе...

Я присутствовал тут же и отметил, что слова паренька пришлись Ивану не по душе. Принимая газету, он мрачно сказал:

— Как нехорошо говоришь, брат, будто ужалить хочешь.

Затем он сосредоточенно изучал газету, покачивал головой, про себя улыбался и вновь объяснял:

— У Бога есть два сына. Первый сын, любящий отца своего и почитающий, имя ему Христос — спаситель мира, второй сын лукавый, гордый, не признает отца своего, как Бога, и имя ему Антихрист — ложный спаситель. Но два брата внешне очень схожи, и различить их в смутное время может только сам Отец. Грех ставить под сомнение человека, который сказал: «Я — сын Божий». Напротив, пусть каждый стремится к этому месту, пусть больше рождается сынов, идущих к Богу. А Он примет каждого и познает по его делам...

Его объяснения, домыслы, рассуждения были самобытны, рождались в разговоре, для меня были доступны и не нуждались в боль-

шем подтверждении. Я тайно подумал: «Его устами гласит сам Бог. Быть может, ты и есть Сын, которого мир не принимает, считая за неразумного глупца...»

Тогда же я его и спросил:

— Кто такой Иисус? И когда сбудется предсказание о Его присуществии, о котором так много говорят повсюду?

Он ответил просто:

— А Он никуда не уходил. Его распяли маловеры и похоронили, но теперь, две тысячи лет спустя, осознали Его любовь и ожидают прощения... Он же всегда жил и живет в душах, любящих Его и Отца, где незримо, а где и в полноте своей Он неотрывно присутствует в земной жизни...

В другой раз я поинтересовался смыслом, вложенным в образ Вавилонской башни. На что он отвечал:

— Все наглядно — это и есть наша сегодняшняя страна. Представь один общий дом, в котором живут узбеки и киргизы, татары и белорусы, мордва и русские... Их всех поработил один хитрый, властолюбивый, гордый человек. «Вы все — рабы мои, а чтобы был полный порядок и не было меж вами никаких тайн, будете говорить на одном языке и выполнять одну работу: строить дом, пока крыша не вонзится в небо...» — потребовал он. И увидев, что все стали послушны, уже представлял себя на вершине мира могучим владыкой... Но Бог, видя человеческое невежество, которое росло и гордилось собой, взял и вернул всякому человеку свое сознание: грузин опять стал грузином, киргиз — киргизом... и, бросив свой рабский труд, они вернулись в свои дома...

В тот вечер, слушая впечатляющий рассказ Ивана, я задремал.

Глава 14 ТАЙНЫ ДЕДОВА ДОМА

...И вот снится мне сон: вижу наш дом, и не то чтобы наш, но очень схожий, такой же высокий-превысокий, как одна непрерывная стена со множеством окон. Ищу дверь, чтобы войти, и нет двери. Тогда я влез на эту стену и давай карабкаться вверх, постучу в одно окно, никто не откликается, постучу в другое — тишина, будто все вымерли. Э-э, думаю, что-то здесь нечистое, страх охватил непонятный, и нет, чтобы на землю спрыгнуть, я к другим окнам подымалась... Наконец, добрался до самой крыши, глянул вниз и обомлел: от земли копоть лохматой шалью подымается, а под копотью маленькие червячки копошатся, как опарыши, только разного цвета, больше ничего не разобрать. Стал сожалеть: «Куда лучше с земли небом лю-

боваться, все понятно и красиво, а отсюда глянь — черт ногу сломит...» Здесь, вижу, солнце подходит все ближе и ближе, жарит меня огнем своим невыносимым, чувствуя, вот-вот кипеть начну. Вдруг слышу голос свысока: «Человек, не твое здесь место. Ступай туда, откуда пришел...» Откуда ни возьмись налетел ветер, подхватил меня и понес... Очнулся я от крика.

— Держись... За руку мою держись, сейчас помогу... — кричал Иван.

Он ухватил меня за рукав и удерживал на весу. Я же не чувствовал под собой почвы, болтался высоко над землей и ничего не мог сообразить. Наконец, он вытянул меня из невесомости, помог встать на ноги. С меня градом лил холодный пот.

— Только-только успел... — говорил взволнованный Иван, вглядываясь в темноте в мое лицо, спросил: — С вами часто такое?..

— Нет... Не помню... — отвечал я, приходя в себя. — А что, собственно, случилось? Где это мы?

Он стал рассказывать, как я проснулся посреди ночи, встал с постели и, осторожно ступая, вышел из комнаты. Поведение мое показалось странным, и Иван решил проследить за мной. Но вскоре потерял из виду — в комнатах было очень темно. Он по звукам определял мои шаги... А настиг уже на чердаке...

Теперь мы пытались найти выход, ходили в темноте друг за другом, спотыкались, наталкивались на разные предметы.

Неожиданно я зацепился за что-то острое, резко повернулся и здесь мои руки, по инерции, ухватили твердый предмет полуovalной формы, прощупав его пальцами, я обомлел — это оказался человеческий череп. Бросив череп, я бессознательно побежал, ударяясь и падая, почувствовал, как наступил в пустоту и, быстро скатившись по лестнице, опять оказался в доме.

— Вы где?.. — услышал я голос сверху, откликнулся и вскоре ко мне спустился Иван. Он был мной обеспокоен. — Что с вами происходит?

— Там, наверху, мертвец...

Не спали до утра. После размышлений пришли к выводу, что все это не случайно: и мое столь необычное перемещение на чердак, и страшная находка. Я откровенно признался, что давно намеревался подняться на крышу, но не мог найти ту потайную комнату, откуда идет ход. А тут, нежданно-негаданно...

Иван объяснил все так:

— Видимо, там имеется своя тайна. А теперь пришло, время ее узнать...

Дождавшись рассвета, мы отыскали потайную комнату и поднялись на чердак.

Чердак оказался не просто чердаком, а хорошо оборудованным помещением, когда-то принадлежавшим покойному деду. В центре стоял огромный дубовый стол, рядом кресло с чрезвычайно высокой спинкой, вдоль стен тянулись громоздкие стеллажи, полки которых были забиты стопами бумаг и книгами, здесь стояли еще металлический сейф с открытой дверцей, кожаный диван и урна. Вся имеющаяся мебель и прочие предметы находились под густым слоем пыли и казались одного серого цвета.

На дубовом столе лежал человеческий череп, который напугал меня ночью, а в кресле находились останки. Скелет представлялся в ужасном состоянии: под пылью, связанным сетью паутины, а внутри черепа, по всей видимости, проживала мышь или еще какое существо, и оставила после себя нечистоты. Впервые за всю свою жизнь я ощутил щемящее чувство непоправимости, безнадежности, хотя подобное чувство я испытывал, увидев однажды холодной зимой на снегу погибшую заледенелую птицу, а мимо проходили люди...

— Дед мой... Дед... Забыли тебя здесь... Как это страшно...

Иван был задумчив, на его лице недоумение сменялось возмущением, он размышлял:

— Столько лет... За что такое наказание?.. Он мучается — дух бездомен, — твердо сказал: — Нужно немедленно захоронить.

Сразу же начались приготовления к похоронам, но в доме под рукой ничего не оказалось, чтобы сколотить гроб. Пришлось пойти к соседям, и в тот же вечер вся деревня узнала о случившемся. Стали приходить — кто помочь, а кто просто посмотреть. А когда понесли мосхи деда на кладбище, у подножия холма собралось много народа.

Я впервые присутствовал на похоронах, где не было слез и рыданий, только слышались одобряющие слова: «Бог простил». После погребения кончилась и моя жалость, я даже порадовался, что прах деда наконец обрел свое законное место. Стоя у свежей могилы, я глубоко задумался над Судьбой, которая даже после смерти человека продолжает существование, как бы объясняя результат прохождего...

После похорон Иван провел на чердаке раскопки, изучая пожелтевшие бумаги со стеллажей и, в скором времени, открыл еще одну тайну:

— Под домом имеется какое-то строение... Мы нашли вход и со свечами в руках спустились. В нос ударило затхостью, плесенью, первое впечатление было таким, будто мы попали в шахту. Когда пригляделись, увидели множество одинаковых комнат, выстроенных в ряд, почти что камерного типа. Я вспомнил мечту деда: «Да чтобы нарожали детишек, из которых будем расти сорт особенный. И для сего опыта в нашем доме уготовано место значительное...» Следуя по подвалу, мы натолкнулись на отдельную комнату, здесь имелась

некоторая мебель, которая от сырости сгнила и развалилась, на стенах, к нашему удивлению, висели кнуты, самые обыкновенные, которыми обычно загоняют скотину. Но кнуты были разных размеров, неодинаковой формы: одни были с длинными хвостами, другие совсем укороченные, но с металлическими шипами на конце, третьи напоминали дубинку. Вставал вопрос: зачем? для какого такого опыта?

«...Писатель, ты пишешь о Любви, а почему не говоришь о Зле? Ты знаешь, как его люди добывают? — вспомнил я Боженова, который в ту, нашу первую встречу рассказывал: — Для такого опыта человек придумал дубинку. Но ее не нужно бояться, станешь сопротивляться — хуже будет... Дубинка маленькая, но бьет больно, иногда оставляет еле заметные синяки... А недавно изобрели новый сорт дубинок: с длинным хвостом, гибкая, как лоза, на ощупь даже мягкая, но если попадет по голове, отключает сознание... и совсем нет синяков. Человек умрет и никто не узнает, отчего...»

Мне стало душно, показалось, будто на голову валится потолок, я быстро поднялся наверх, выскочил во двор и, не зная, как остановиться, навалился на забор, забор с грохотом рухнул на землю. И тут же весь двор осветило солнце, подул свежий ветер. Я вдыхал полной грудью и испытывал такое чувство, какое испытывает человек, когда после долгой болезни выходит на воздух, под солнце, и теперь видит все иначе — краше, чище, превосходнее.

Подошел Иван, посмотрел на поваленный забор, дружески улыбнулся:

- Теперь легче стало?
- Легче... Совсем легко...

Глава 15 **МАМА, ПАПА И Я**

В наш дом также приходили обычные деревенские люди, которые желали слушать слово Божие, и тогда Иван выступал в роли проповедника. Я слышал, как одна старушка, выходя из дома после проповеди, благодарно сказала кому-то из сельчан:

— Слава тебе, Господи, облегчение получила. Вот тебе и Иван-дурак...

Я, вместе со всеми, слушал проповеди Ивана и уже сам пытался рассуждать о Боге, о Любви... Но от своих размышлений я все больше начинал терзаться, не знал, куда направить свою любовь...

Однажды я прогуливался со своими мыслями по деревенской улице и на обочине увидел девочку, она выстраивала из песка дом. Я похвалил:

– Красивый домик... А кто в нем будет жить?

– Мама, папа и я, – не задумываясь, ответила она.

Я пошел дальше, а мое сознание продолжало повторять: «Мама, папа и я...» И здесь меня осенило: «Вот она, истинная Любовь – мама, папа и я!»

Когда подошел к своему дому, грустно подумал: «У меня есть дом, самый большой дом во всей округе, но нет семьи, нет детей, все, что прожил – прожил зря». Посмотрел на маленькие деревенские домики, в каждом жила своя семья – там жила Любовь.

Я увидел, как остановился автобус, из него вышли двое. «Наверное, к кому-то гости из города...» – подумал я, приглядевшись, и мне вдруг показалось... Прямо ко мне, к моему дому, направлялась пожилая женщина, а рядом с ней шел молодой человек небольшого роста, костлявый, сутулый...

Глава 16 **ПОСЛЕДНЯЯ, В КОТОРОЙ Я ХОЧУ СКАЗАТЬ**

Друзья, давайте начнем знакомиться! По-моему, сейчас самое такое время настало – знакомиться, любить, помогать друг другу, все полегче будет, все не одному... Да нет, вы не подумайте, я не то, чтобы плоть в плоть, а чтобы душа в душу.

А то ведь как у нас в жизни получается: идешь вперед, встречаешь на пути своем человека, и будто все в нем в достатке, но вдруг видишь на его теле синий рисуночек или еще какой изъян и сразу сомнение берет, прыг от него поскорее в сторону, а он и пошел дальше, свой человек, другой дорогой...

А нет чтобы взять человека за руку да пригласить в дом свой, поставить горячий самовар на белую скатерть, тут и ляжет меж вами теплый разговор, тут и откроется вам многое такое, отчего так часто сомневались, тут и поймете, что синий рисуночек вовсе не рисуночек, а родимое пятно всего нашего рода.

ПЬЯНЫЕ СНЫ ЛЕОНИДА ГУЛЯЕВА

Я искал житейский угол. Захудалую квартирку в городе по нынешним ценам снять было невозможно, цены до того высоки, что страшно себе представить полную стоимость какого-либо жилья. Делать нечего. И тогда я направился на окраину города, к его истокам, в частный сектор.

Была ранняя весна. Я безуспешно бродил по узким улочкам, черпал намокшими ботинками старый таявший снег и, все еще надеясь, спрашивал:

— Никто здесь комнатку не сдает? Оплату и порядок гарантирую...

Люди пожимали плечами:

— Нет, не знаем. Нам постояльцы не нужны...

Заметил, что взгляды у людей настороженные, смотрят на меня с опаской, с подозрением, будто я пришел у них отнять. Вот, думаю, жизнь пошла: человек человека пуше зверя боится. Кто вас так напугал?

Подошел раздосадованный и утомленный к колке — воды напиться, да лицо вспотевшее обмыть. Там встретилась женщина с ведрами, взглянула на меня и безошибочно определила:

— Вы жилье ищете?

— Ищу, ищу... — я кивал головой.

Она объяснила, как найти нужный дом, и напутствовала:

— Ступайте прямо сейчас. Как раз хозяйку дома застанете, зовут ее Вера Ивановна, женщина добрая, договоритесь. Дом-то теперь се равно пустой...

— А почему пустой? — спросил я больше от удивления, чем от любопытства.

— В доме жил Николай, сын Веры Ивановны. Умер он неделю назад.

Женщина набрала ведра воду и пошла своей дорогой, а я начал сомневаться: идти, не идти, — мысль, что придется жить в доме покойного, не пускала меня и, как бывает в таких случаях, появился страх за свою жизнь — а вдруг в доме «нечистое». Неприятно-жуткое чувство я поборол довольно легко, размыслив: подумаешь, человек умер, все мы смертны, и рано или поздно... Но когда я вышел на указанную мне улицу и прочитал на первом же доме ее название — «Могильная», то вновь остановился, размышляя — идти или не идти? Сколько живу, никогда не слышал, что есть такая улица. Да и район никак не соответствует этому названию: в полукилометре берег Вол-

ги, место живописное, а городское кладбище находится в противоположной стороне, и вдруг — улица Могильная. Вот куда меня черт занес. Что именно черт — я уже не сомневался, потому что знал, что дом, к которому я направляюсь, стоит под номером 13. Теперь я испытывал острое ощущение любопытства: что же будет дальше?

А дальше все определилось легко и просто. Вера Ивановна впустила меня в свой дом за мизерную месячную оплату на неопределенный срок.

— Дом буду продавать, поэтому живите, пока не найдется покупатель...

Сама она жила в центре города в благоустроенной квартире, туда и уехала, оставив мне на всякий случай домашний телефон.

А я остался хозяйничать в стареньком доме под номером 13 и, хотя дом стоял на продаже, я уже догадывался, что это будет не скоро. Дом находился в аварийном состоянии — в негодность пришла кровля, сгнил пол, и еще было много огрехов, в то время как хозяйка запросила за него немалую сумму. В доме были две комнаты и довольно просторная кухня с газовой плитой. Одна комната стояла забитой личными вещами хозяйки, а в другой поселился я. Здесь для моего пользования был оставлен старенький диван и маленький круглый столик. На столике стоял граненый стакан с пшеницей и свечкой, икона Божьей Матери и фотография покойного. Это был парень лет двадцати пяти — русоголовый, со светлыми, доверчивыми глазами. Вечером я зажег свечу и долго сидел перед этой фотографией, перед человеком, которого никогда не встречал при жизни и после которого пришел в его дом. Я смотрел в это открытое, доступное лицо, и пытался угадать ту «страшную» силу, которая отняла человеческую жизнь...

Ночью меня разбудил стук в дверь. Пришли молодые парни с девчками — пьяные, озорные, они спрашивали хозяина дома, а когда я им сказал, что Николай умер, они очень удивились:

— Ты что, мужик, мы здесь вчера гуляли... — сказал один.

— Не вчера, а на прошлой неделе... — поправил другой.

Наконец они все вспомнили и поверили, что Николай может быть мертвым, и долго меня уговаривали выпить за упокой и впустить их на ночлег.

— Нет, не могу, — отказал я им. — И больше сюда не приходите. Дом продается.

А в конце недели пришла Вера Ивановна, взяла что-то из вещей, убрала со столика свечу с иконкой и присела на стул с фотографией сына.

— К нему никто не приходил? — поинтересовалась она.

Я рассказал проочных гостей.

— Друзья, друзья, — говорила хозяйка, сдерживая негодование. — Вы их гоните отсюда в шею, а то они к вам повадятся со своей водкой...

Вера Ивановна ушла. Освободившийся столик я тут же занял печатной машинкой и уже делал наброски новой повести.

Прошла неделя, как я поселился на улице Могильной в доме под номером 13. С соседями знакомиться не торопился, всему свое время, да и они безо всякого интереса смотрели в мою сторону, как на что-то ременное — сегодня есть, а завтра нет.

Днем решил заняться полезным делом, нашел в сарае лопату и влез на крышу, чтобы сбросить таявший отяжелевший снег. С крыши хорошо была видна улица — узенькая, но довольно длинная, ома стояли в ряд — одни покрашенные, другие побеленные, заметны дома ухоженные, запущенные — по их виду можно представить хозяина.

У одного дома я увидел толпу. «Опять покойник», — догадался я, и ошибиться было невозможно: люди стояли в мрачном ожидании. Там же находились крытая брезентом машина и автобус. Я опять начал задавать себе вопросы по поводу названия улицы: что, мол, все это не случайно и взаимосвязано; мысли мои носили мистический характер и предполагали трагическую безвыходность жителей этой злополучной улицы. Теперь у меня пропало желание находиться на крыше, я предвидел опасность, с дрожью в ногах спустился вниз по лестнице во двор и вышел на улицу. В это время выносили гроб — большой и, видимо, тяжелый — мужики несли его с трудом, вязли ногами в сырому снегу, и слышно было, как где-то, наверное, в доме, рыдала женщина...

Вечером того же дня ко мне пришел гость.

— Гуляев Леонид, живу рядом, в соседях, — преставился гость.

Это был молодой мужчина, высокого роста, широкоплечий, с длинными хваткими руками: когда он приветственно жал мою ладонь, я ощущал хруст в пальцах. Его смуглое лицо с нависшими на глаза бровями казалось до крайности опечаленным.

Я тоже назвал свое имя и пригласил:

— Проходи, присаживайся...

Поспешно убрал со стола печатную машинку, а гость вытащил из кармана начатую бутылку вина и сигареты:

— Курить можно?

— Кури, — разрешил я и принес пепельницу.

Закурив, Леонид предложил:

— Давай стаканы, выпьем за упокой Коляшки нашего, хороший паренек был... Да вот, дружки сгубили...

Не знаю, почему, но я ощутил приятное расположение к своему гостю, и было такое чувство, будто я его уже давно ожидал, и он

пришел сказать очень нужное для меня, может даже важное. Мы выпили. После чего он стал более разговорчив:

— А я ведь знал, что с Колькой что-то должно случиться. Сон я видел про него...

Он стал пересказывать сон — подробно, нудно и наверняка с личной выдумкой. К его рассказу я почему-то отнесся сомнительно, слушал как пьяную болтовню и рассеянно смотрел на тараканов, которых в доме было неисчислимое множество...

— А сегодня кого хоронили? — прервал я его.

— Дружка моего, Мишку Свиридова, — опустив глаза в пол, глухо отвечал Леонид. Вот беда-то еще. Давай-ка помянем, — он разлил по стаканам остатки вина. — А ведь у меня и про Мишку сон был. Да-да, хошь верь, хошь нет. Будто рыбачили мы с ним. Он ведь заядлым рыбаком был...

Он начинал раздражать меня своими снами, и я не выдержал, съязвил:

— Ты, прямо-таки, ясновидящий. Взял бы да книгу о своих снах написал, людям глаза открыл на будущее...

Странно, но иронию мою он не заметил, или же сделал вид, что не заметил. Он смущенно улыбнулся и недоверчиво посмотрел на печатную машинку.

— Нет, книги пусть пишут писатели. А я — человек маленький...

Мне стало неудобно за свою выходку и я поспешил исправиться:

— Прости, что перебил тебя. Рассказывай свой сон, что случилось — там, на рыбалке? Я тебя слушаю.

Гуляев вскинул на меня свои глаза — большие, выразительно-жгучие, светящиеся тайной, которую ему сейчас же хотелось открыть. Он начал рассказывать, и совсем уже по-иному, с какой-то присущей ему одному образностью. Я смотрел на него и думал: «Обыкновенный русский мужик, с виду грубый и неотесанный, живет себе скромно и не знает, как, в сущности, красив он и неповторим. Быть бы ему художником или писателем, а он ходит по соседям, распивает портвейн и представляет своим нескладным языком впечатляющие сны...»

— ...Значит, снится мне Мишка, будто на рыбалке мы с ним, на Волге. Только во сне уже лето было, с берега рыбачили. И рыбы, рыбы столько! Не успеваем с крючка снимать и в ведро бросать... Вдруг из-за кустов появляется Нинка, баба Мишкина, эх крикливая, стерва. Подходит она к нашему ведру, смотрит на рыбу и Мишку отчитывает:

— Что же ты, олух, рыбу мертвую ловишь, вон, в реке, живая рыба плещется, а ты дохлятину в ведро собираешь...

«Принесла нечистая. Так и не даст спокойно порыбачить, специально скандал разыгрывает...» — так подумал я, но когда сам заглянул в ведро, то испугался: вся рыба плавала вверх брюхом.

А Миша на свою бабу как накинется:

— Рыба как рыба. Сама ты дохлая. А ну, бери и уху быстро вари...

Нинка хоть и крикливая, но послушная: что Мишка скажет, то она и исполняет, поворчит, поворчит, да и делает по-мужнему. И здесь она, ну как во се, уже целое ведро ухи мужу подносит и скатерть стелет на траве, и закуска на скатерти, ну, целое торжество... А я же как бы со стороны смотрю, с другого берега наблюдаю, и хочу крикнуть-то Мишке, что рыба никуда не годится, кричу, а голоса своего не слышу... Здесь, вижу, Мишка эту рыбу жует, и Нинка принялась за уху, оба уплетают и вином моим запивают...

Гуляев закончил свой рассказ, а мне сделалось противно: или от выпитого портвейна, или от услышанного представления в моем же лудке забулькало, заурчало, и я скривил лицо:

— Действительно, дурной сон.

— Вот я и Михайлупокойничку так же говорил: смотри со своей рыбалкой, кабы дурное с тобой не приключилось, сон-то мой не простой, а предупредительный. А Мишка только рукой махнул: «Да что же со мной может случиться?» Я ему тогда говорю: «Мало ли что, а друг, раз, и под лед уйдешь вместе со своей рыбой. Треснет лед...» Мишка тога только рассмеялся. А на следующий день...

На следующий день утром ни встретились на улице. Гуляев торопился на работу, а Михаил на рыбалку. Леонид тревожно посмотрел вслед другу: тот высокий и коренастый, в пимах, в тулупе, а поверх тулупа брезентовый плащ с рюкзаком на спине — казался великаном. «А ведь не выдержит лед...»

Тревожное чувство преследовало Гуляева весь день. Он работал в магазине грузчиком и был до того рассеянным, что то и дело из рукронял товар. А после работы, желая наладить душевное равновесие, он пошел в «разливочную» и выпил стакан вина. Ощутив облегчение и частичное отупение мозга, он без всякой нужды зашел в магазин «Хозтовары», который встретился на его пути, и, не задумываясь, купил косу. Гуляев сам удивился, когда взял ее в руки, — коса очень понравилась, он испытал такое чувство, будто давно мечтал купить такую. Покупкой Гуляев поднял себе настроение, и когда пришел домой, поделился радостью с женой::

— Во, глянь, что я купил...

Жена, увидев косу, растерялась, сделала испуганные глаза:

— Леня, а зачем тебе это?

— Траву косить, или еще что...

Гуляев видел, как жена печально задумалась, и ее лицо теперь было глупым-преглупым. Не желая с ней объясняться, он махнул рукой и оставил косу у порога.

Жена Гуляева, Валентина, женщина тихая, уравновешенная, вмиг превратилась в беспокойную и даже злобную. В ее глазах вспыхнула ненависть и она стала набрасываться на Леонида с криком, вспоминая самые обидные дни семейной жизни. Тогда он решительно взял косу, и с обидой, что жена так ожесточенно отнеслась к его покупке, вышел во двор.

Гуляев долго ходил по двору, мучительно соображая: а нужна ли вообще коса в хозяйстве? Размыслив, вышел на улицу, намереваясь предложить косу в пользование соседям, но сам же усомнился: будут ли они этому рады? Наконец, он решил избавиться от своей дурацкой покупки, пришел на берег Волги и без сожаления опустил косу в снег.

Гуляев вернулся домой, и его с порога улыбкой встретила жена. Теперь Валентина была ласковая и сама стала извиняться:

— Прости, что накричала. Себе удивляюсь, что это со мной было — так и хотелось тебя ударить этой косой...

Вечером возвращался с рыбалки Михаил Свиридов. Настроение у него было дурацкое, он чувствовал себя утомленным, как никогда. Дружки по рыбалке еще засветло ушли вперед, звали его с собой, чтобы в городе остограммиться, но он отказался, остался сидеть у проруби. Теперь он шел один через Волгу и думал о том, что жизнь его стала скучной и неинтересной, вот и рыбалка не в радость. Поймал себя на мысли, что дома бывает меньше чем на рыбалке и по дому соскучился. «Скорей бы лето — ремонтом заняться...» Вдруг Михаил наступил на что-то твердое, из-под снега показался острый предмет, взял в руки и удивился: коса. Она была новая, без ржавчины, будто не в снегу, а на прилавке лежала. «А что, в хозяйстве пригодится...» — подумал Михаил и сунул косу в рюкзак.

Дома Михаил устало присел у порога на табурет и тяжело вздохнул. «Что это со мной? Хандра во всем теле. Может, загрипповал...» Сил не было раздеться.

Подошла жена, окинула мужа пытливым взглядом и в крик:

— У, пьянь! Опять назююкался, даже пимы снять не в состоянии. Никакой пользы в доме...

Слова жены ранили Михаила в самую глубь его терпения; она и раньше так набрасывалась с порог, но он стойко выдерживал и только ухмылялся: «Баба есть баба — любит погавкать...». Ну а сегодня или то, что трезвый, или то, что хворый, ему вдруг стало больно и обидно, и появилась злость на жену, с силой швырнул в не свой рюкзак, мол, заткнись, собака...

Неожиданно жена вскрикнула и упала на пол, будто сраженная копьем. Ее халат быстро пропитался кровью, а из брошенного рюкзака торчало острие косы...

— Убил?! — я был крайне удивлен нелепостью семейного скандала и находился в недоумении — ведь хоронили-то не жену, а Михаила...

— Не торопись, — успокоил меня рассказчик снов. — Слушай дальше, потому что дальше произошло самое дурацкое, что случается в нашей жизни...

Приехали врачи и милиция. Нинку в больницу, а Мишку заковали как злодея в наручники и — в отделение. Всю ночь он просидел в камере, а утром его вывали на допрос. Следователь — мальчишка еще, сопляк, видит, что мужик всю ночь не спал, переживает, взял и пошутил: «Все, Свиридов, тюрьма тебе светит на долгие годы, а может вообще — расстрел... Жена твоя в больнице ночью скончалась...» Следователь-то посмеялся, а Мишка поверил ему, вернулся в камеру и повесился...

В доме № 13 сгустилась неприятная тишина. Мы молча курили. И когда стало совсем невыносимо от мрачных мыслей, я, чтобы сбросить с души оцепенение, спросил:

— А жена?

— Нинка-то? Поправилась. Конечно, поранил Мишка ее, но не смертельно, просто крови много вышло. Так она ведь здоровущая телом. Ее врачи обследовали, перевязку сделали и домой отпустили; а Михаила из петли вынули... Вот тебе и «сон в руку».

— Да, много беды принесла твоя проклятая коса, — я пристально смотрел на Гуляева.

— И не говори... Весь берег облазил, я так и думал тогда. Пошел туда, где бросил косу, и не нашел, но в доме у Мишки ее не видел. Так что, чем поранил он ее — одному Богу известно. Говорят, будто нож самодельный Михаил в рюкзаке держал... Следователь-то после смерти Мишки дело тут же прекратил. Но я так думаю, что все равно из-за меня пострадал Михаил, ведь я-то знал заранее, сон видел, а отвратить беду не смог... Теперь муторно на душе, будто кошки скребут. Выпью, становится полегче. А от вина внутри себя туманность ощущаю: туман видимость застилает и уши закладывает, жить не хочется...

Леонид становится жалким и беззащитным, как дитя, которое нуждается в заботе и помощи.

— Это у тебя, брат, депрессия развивается, — говорю я ему. — Ты, я вижу, человек мнительный, душевный, да и выдумщик большой. Наверное, в жизни твоей все не так, как тебе хотелось бы, вот ты и терзаешься. Тебе отдохнуть нужно. Утомленный ты очень.

Он соглашается, что ему нужно отдохнуть, и уходит, оставляя после себя пустую бутылку, кучу окурков и сизое облако дыма. Дым застилает и даже покалывает глаза, напоминая густую туманность...

Было лето. Я по-прежнему жил на улице Могильной. К дому я начинал привыкать, дом мне нравился. Он завораживал своей мистической скрытостью: обычно в ночное время я отчетливо слышал человеческие шаги и странные шорохи, напоминающие чье-то живое передвижение. Тогда я подходил к иконе и молился, ощущая над собой небесную защиту. Позже я пытался себе внушить, что дом старый и поэтому в доме странности, но в «нечистую силу» я верил больше, чем в шаткость стен. А после некоторых наблюдений я сделал вывод, что «нечистая сила» и шаткость старого дома имеют между собой родственную связь и сообща воздействуют на человека. В этом я убеждался, когда приходили покупатели, и некоторые из них не хотели, не могли, или вдруг передумывали войти в дом, будто какая-то сила или какое-то чувство, или сомнение заставляло их развернуться и уйти прочь. Признаюсь, это меня не огорчало, а утверждало в мысли, что покупатель найдется не скоро. И, к радости моей, в дом был вхож Леонид Гуляев, который волей судьбы стал героем моего рассказа...

Жил Гуляев через три дома от меня – в доме, который остался от покойных родителей – жил со своей семьей, женой Валентиной и сыном Алешкой, который пойдет теперь во второй класс. Днем Гуляев работал в магазине грузчиком, а по ночам видел странные, как он сам говорил, предупредительные сны. Но сны он видел не всегда и не каждую ночь, а когда предчувствовал недобро. И свое недобро предчувствие он заглушал вином; по нему видно было, что пил он не от радости и не от избытка денег, а от скорби, уныния и страха, что его сны могут перейти в реальность...

Однажды ко мне зашла его жена, Валентина:

– Второй день дома не ночует... Все по дворам пьяный шатается. Думала, может, у вас он...

Я заверил, что у меня его не было ни вчера, ни сегодня, и поспешил успокоить:

– Вернется. Душу облегчит от снов своих и вернется.

– Вот-вот, все снами потешается, напьется до чертиков, они ему тогда и снятся.

Я недовольно взглянул на Валентину:

– А мне Леонид говорил, что выпивает, потому что сны его тревожат и от них предчувствие недобро... Тогда почему же он пьет?

Валентина горько улыбнулась, что-то припоминая глазами, подетски утерла платочком нос и стала выговаривать, каким хорошим был ее Гуляев раньше – не пил и не курил:

– А сгубил его завод наш. Начальники подпаивали его за отдельную работу. Ленечка ведь кузнец у нас, и не просто кузнец, а

кузнец потомственный. И отец, и дед были кузнецами. Это сейчас он так опустился, грузчиком ходит подрабатывает, а тогда его ценили...

Валентина рассказала, как Леонид молодым пареньком пришел на завод в кузнечный цех и сразу обратил на себя внимание: никто не выполнял ручную работу так споро и ювелирно, как он, и посыпались специальные заказы... А Валентина с женской стороны обратил на кузнеца внимание, и вскоре они поженились, а через год появился сын, Алешка... Из ее рассказа видно, как по-прежнему любит она Леонида и мечтает вернуть то лучшее время, когда он был кузнецом, и чтобы не пил и не курил...

Уходя, она просила:

– Если вдруг появится у вас, скажите, чтобы домой шел...

Но Гуляев не появлялся. Не приходила больше его жена. Тогда я реши сам навестить дом Гуляевых.

Леонида я встретил во дворе, он сидел на лавочке и выглядел озабоченным, как мне показалось, – кого-то ожидал. Увидев меня, радостно встрепенулся:

– Хорошо, что заел, Иваныч... Я ведь теперь один остался... Да, холостяком живу...

– А где же Валентина с сыном?

– Ушла... – его глаза вмиг озлобились и он гневно выдавил, – Стерва. Рога она мне наставила...

«Это уже серьезно», – подумал я, но Гуляеву ничего не сказал. Мне было неприятно влезать в чужую семейную драму. Нужно бы развернуться и уйти, но мое любопытство было выше, я присел на лавочку и молча выжидал.

Гуляев закурил и, глубоко втягивая дым, начал рассказывать. И, как мне показалось, рассказывал он больше для самого себя, чтобы окончательно убедиться в произошедшем и облегчить душевную тяжесть:

– Этого я от нее никак не ожидал, всего ожидал, но такого... Застукал я их прямо в хате... Вернее, его... И ведь знал, что с ней может случиться...

А накануне Гуляеву приснился сон, и то этот сон предупредительный, он не сомневался...

...В ту ночь лил дождь – проливной, хлесткий, с ветерком. В комнате, где спали супруги Гуляевы, с потолка закапала вода. Валентина почувствовала на своем теле влагу, толкнула мужа:

– Леня, слышь, что ли...

– Угу, – ответил он, продолжая спать.

– Леня, крыша потекла, сделай что-нибудь...

– Да отстань ты...

Валентине стало обидно, она поднялась и, оставив вместо себя на кровати таз, ушла в детскую, к сыну. Гуляев сквозь сон слышал, как

Валентина поднялась с постели, и он пытался представить, куда же она могла уйти в такое позднее время...

Вдруг он увидел, что Валентина выходит из дома, и, к его удивлению, совсем нагая. Почему? Было уже светло, и Леонид испытал ужасный стыд за свою жену. Какого черта?! А Валентина зачем-то вышла на дорогу и оказалась в глубокой луже с грязной водой, которая образовалась после ночного дождя... Потом Леонид увидел, как по дороге несется машина, а жена купается в луже и не видит опасности...

Гуляев проснулся с чувством пережитого страха, но тут же услышал на кухне привычный зон посуды, и на душе отлегло, начал плеваться через плечо, отгоняя нечистую силу:

– Куда ночь – туда и сон плохой прочь...

Сказав это, Гуляев принял чихать: с ним такое случалось по утрам, когда луч солнца падал на его нос.

Подошла Валентина и встала над ним, подбоченясь, строгая, с вызывающим видом:

– Проснулся, трутень. Долго еще будешь в постели нежиться?

Гуляеву не понравился уничижительный тон жены: «Что это с ней? Наверное, не с той ноги встал...» – хотел уже огрызнуться, но рядом увидел таз с дождевой водой, недовольно сморщился и стал прятаться под одеяло.

– Нет, вставай, – Валентина решительно сняла одеяло и напомнила, – Забыл, наверное, сегодня шифоньер будем покупать.

Он действительно забыл, и теперь его настроение подавно испортилось. В комнате стоял маленький желтый шкаф, еще родительский, который сам открывался, когда рядом кто-то проходил, но пока мог служить.

– И что тебе в голову взбрело с этим шифоньером. Ведь договаривались, что все новое купим в новую квартиру, – отговаривал жену Гуляев.

– Неизвестно, когда будет новая квартира... И я не собираюсь ждать, пока развалится вся мебель.

Валентина не уступила и уже заранее договорилась на своей работе с водителем, которого теперь ожидала.

– Не приедет он, – надеялся Гуляев, выглядывая в окно. – Сегодня выходной день, все нормальные люди отдыхают.

Но он приехал. В дом вошел молодой мужчина, не высокий, но коренастый, с мясистым лицом и голубыми мигающими глазами. Он скромно встал в пороге:

– Извиняюсь за опоздание. Рыбаков ваших на Волгу возил, тоже просили...

Гуляеву он назывался Анатолием, на приглашение пройти в дом на стакан чая отказался:

— Я вас на улице подожду.

Гуляеву он не понравился: «Деревенский, наверное. Они с виду все тихие, будто пришибленные...» С подозрением поинтересовался у жены:

— А ведь у вас, помню, водитель дядя Миша был... А этот что — новенький?

Но Валентина его не слышала. Набросив плащ, она выходила из дома, на ходу подкрашивая губы.

Побывали в разных магазинах, прежде чем Валентина выбрала шифоньер на свой вкус по доступной цене. Но этот шифоньер оказался последним, он стоял для показа и его нужно было разбирать. Гуляев взял отвертку и начал крутить шурупы. Делал на эту работу без особого желания, против души, и недовольно бурчал: «Отвинчивай, затем привинчивай — бестолковое дело. Не живется людям спокойно. В помощь подошел водитель: он помог снять крепления и уложить части шифоньера в автобус. «Вот еще благодетель-то нашелся, — раздражался Леонид. — В выходной день, да еще бесплатно... Что-то мне не верится». Плохо думал о водителе Гуляев, но когда шифоньер был доставлен в дом, все же похвалил:

— Ты — молодчина. Что бы я без тебя делал...

Анатолий скромно улыбнулся и молча стал собирать шифоньер. Казалось, он никуда не торопился, был простодушным мужиком и рад был помочь людям. Он начинал нравиться Гуляеву. И когда новый шифоньер встал на место старого, Леонид воскликнул:

— А что, красивый шифоньер! Это дело нужно отметить.

Он поставил на стол любимый портвейн и пригласил Анатолия, но тот откровенно признался:

— Раньше крепко выпивал, а теперь — ни грамма. К тому же я за рулем... Вот если чай...

Сидели за столом. Анатолий пил чай, а Леонид пил портвейн, пил и приговаривал:

— Хороший шифоньер, ничего не скажешь. И в доме с ним уютней стало... Это дело нужно обмыть, а как же, чтобы долго стоял и дверки не отваливались...

— Да не отвалятся дверки-то, скорее сам развалишься, — не сдержалась Валентина. Она почему-то не захотела садиться за стол и была неспокойной.

Гуляев опять удивился дерзости своей жены, но виду не подал, а только огрызнулся:

— Что ты сегодня шипиши, Валентина? Хотела шифоньер, на тебе шифоньер, радуйся.

Водитель будто бы не замечал супружеской передряги, поглядывал за окно и завидовал, как хорошо жить в своем доме — огород, земля цветет, свежий воздух.

— Хорошо у вас — как в деревне.

— Ты деревенский?! — торжествовал Гуляев. Он уже изрядно выпил и был разговорчив и эмоционален. Похлопал гостя по плечу, затем крепко пожал ему руку. — Я так сразу и подумал...

— Лопатинский я. Пять лет, как в городе живу. Скоро поеду, мать навещу... Эх, баньку истоплю!

— Баньку? Так это — мигом... У меня такая банька!

Казалось, что Гуляев был несказанно рад Анатолию, будто это был вовсе не водитель с работы жены, а родственник, который неожиданно приехал в гости. Для Валентины он выглядел смешно и глупо. Затея с баней ей не понравилась:

— Ну вот еще, баню придумали... Хватит застолья.

Леониду стало обидно за свою жену и он оправдывался перед гостем, говорил, что Валентина только сегодня такая злая, наверное, не выспалась, а не выспалась потому, что крыша проходила и ночью дождь лил на кровать. Леонид пообещал, что завтра же починит крышу и Валентина подбреет.

Потом Гуляев пошел готовить баню, растопил печь и довольный вернулся в дом:

— Через час баня будет готова.

Анатолию он вручил березовый веник, сам же выпил еще портвейна и почувствовал в голове тяжесть — на глаза легла туманность...

...Проснулся он с таким чувством, будто проспал, опоздал на что-то важное, и тревожно стало в сердце, неспокойно, мысли путались, и он никак не мог припомнить своих намерений, и какое событие не мог проспать? Подошел к Валентине. Та сидела на диване у телевизора. Лицо ее, как показалось Леониду, было испуганное.

— Ты что так на меня смотришь? — засомневался Леонид.

— А ты сам на себя посмотри. На кого ты похож? Ужас!

Он подошел к зеркалу и в это время услышал подозрительный шум — кто-то возился внутри нового шифоньера. Леонид дернул дверку и увидел водителя, который испуганно моргал голубыми глазами...

— Вот такая история приключилась, — закончил Гуляев свой рассказ. — Вот уж чего не ожидал, того не ожидал.

— А зачем он в шифоньер влез? — признаюсь, я уже начинал не доверять точности его рассказа после случая с косой, которую нигде не нашли, но из-за нее погиб человек.

— Вот и я спрашиваю, зачем? Зачем чужому мужику сидеть в моем новом шифонье? Хотя, у него в руках отвертка оказалась. Говорит, шурупы докручивал... Но это он врет. А может и шурупы... — видно было, как Гуляев терзается: и верит, и не верит, и поэтому страдает. — А Валька моя ушла с сыном к подруге. Я здесь немного пошумел в тот день... Вот, жду, думаю, вернется, а их все нет и нет... Скоро сам пойду за ними, крышу починю и пойду...

Когда я от него уходил, то вдруг почувствовал, как дорог стал он для меня со своими снами и личной жизнью. Я просил его заходить ко мне в любое время, если понадобится помочь. Он молча кивнул головой и стал тереть рукой левую часть груди.

Я ушел. А он остался сидеть на лавочке, ощущая в своем организме густую туманность в то время, как над землей светило солнце, согревая лучами всякую жизнеспособную тварь...

Наступила осень. Ночью лил дождь. Гуляев лежал на кровати и держал на животе таз с дождевой водой. «Опять дождь. Странно, сколько помнится, эта старая крыша пропускает воду, только ночью, когда человеку нужно спать. Днем ни одна капля не просочится». Дремать или размышлять он мог в сухом месте, но в этом заключался более глубокий смысл — слушая животом, как ударяются в тазу капли, в организме пробуждалось лирическое настроение к новому дню.

Осенняя пора особенно действовала на Гуляева. Он почувствовал себя совсем одиноким и никому не нужным. Леонид заперся в доме и страдал непонятными себе чувствами, после чего получил внутреннее спокойствие и порадовался: «Туман уходит. Рассеивается туман...»

Днем он поднялся на крышу, нашел худое место и произвел почин. «Вот и все, крыша готова». После работы надел белую рубашку, серый оттуюженный костюм, черное длинное пальто и подошел к зеркалу: «Порядок. А теперь пойдем свою семью искать...»

Гуляев долго искал нужный дом и удивлялся, как быстро расстроился город, стал красивее, крупнее, уже можно заблудиться. Но город он знал, и нужный дом нашел.

Увидев на пороге мужа, Валентина растерялась:

— Это ты? Откуда?

— Оттуда... — весело пошутил Леонид, подняв указательный палец к потолку. — Не ожидала? Ну-ну, показывай, рассказывай, как вы тут, без меня...

Сцена напоминала, будто муж вернулся из командировки домой, а жена его не ожидала.

Появилась Татьяна, подруга Валентины:

— Явился, не запылился. Прописался, а теперь семью вспомнил. Да да, знаю я вас, еще в коленях валяться будет: одиноко ему, без сына

жить не может... — ехидно улыбнулась и посмотрела на Гуляева с презрением, но это был фарс, она тут же подобрела. — Коли трезвый пришел, проходи, чаем напою. Но если хамить начнешь, вмиг вышибну. Здесь я хозяйка.

Гуляев послушно прошел в квартирку — тесную, темную, неуютную. Алешка сидел за столом с тетрадями и учебниками. Леонид подкрался сзади, вынул из кармана купленный им пластмассовый пистолет и дерзко пощупил:

— Руки вверх!

Сын вздрогнул и заплакал. Тогда отец стал учить сына, как правильно пользоваться пистолетом и как быть сильным и смелым.

Сели пить чай и Леонид разоткровенничался:

— А я тоже на чай перешел. Надоела эта бормотуха... Теперь ясность вижу, все как на ладони... Туман уходит. Рассеивается туман...

Подруги переглянулись, Татьяна хихикнула, а Леонид не унимался:

— Вчера вопрос с новой работой решился: бок о бок с иностранцами...

— Уж не переводчиком ли? — пощупила Татьяна.

Валентина посмотрела серьезно:

— А почему в кузню не пошел?

— Ходил, — отвечал Леонид, пряча глаза. — Там сказали подождать... Так и сказали: мы тебя больше ждали, теперь и ты подожди... Но туда я всегда усею... А это — фирм «Интурист». В гостинице для иностранцев буду работать. Там ресторан есть... буфет... В общем, продовольствием буду снабжать... где разгрузить... где еще что...

Гуляев говорил и говорил, хотя сам понимал, что несет околесицу, но остановиться не мог, складно получалось и достоверно.

Он говорил, а Валентина слушала и нервничала. Наконец ей надоело:

— Ну вот что, иностранец, собирайся, повидался с сыном... Алешке нужно заниматься. Видишь, как здесь тесно, мешать будем.

— Ухожу, ухожу, — засобирался Леонид, иказалось, что в это время он готов был исполнить любое желание жены. — Ухожу... А вы потерпите, скоро заживем... Вот, в фирму перейду... — он украдкой шепнул Валентине: — А ты подумай над моим предложением.

Валентина смотрела на мужа и не узнавал его: он был неловким, жалким, много говорил, что-то обещал, выдумывал, чтобы лучше выглядеть. Смысл последних слов привел ее в недоумение:

— Над чем я должна думать?

Подруга поняла, что наступил момент выяснения супружеских отношений, не стала мешать.

Они остались одни в прихожей. Валентина пытливо смотрел на мужа. А Леонид говорил и путался:

— Ну как же, Валюша, ведь я пришел... Я не просто пришел... Я и крышу починил. Туман-то рассеялся... Пора домой возвращаться.

Она с минуту молчала, о чем-то размышляла — наверное, припоминала прошлое: глаза ее то светились, то меркли.

— Говоришь, туман рассеялся. А по мне он так и стелется, дрожь берет, как вспомнило... В последнее время в страшном не жила. Сколько раз... — перехватило дыхание, перетерпела слезы. — Нет, я тебе уже не верю, не верю и боюсь... Не верю — это одно, а другое... Другое — я познакомилась с человеком...

Она говорила, какой это человек — добрый, заботливый, всегда трезвый. Но Леонид слов не слышал, в ушах стучала кровь. Он тупо стоял у порога, молча кивал головой и не хотел перечить...

В себя стал приходить на улице. Сыпал снег — первый снег осени, падал и сразу таял. На дороге была грязь и слякоть. И на душе лежала грязь и кто-то топтался. «Познакомилась с человеком... Значит, я не зря сомневался... Значит, он пришел в мой дом...» Гуляев мучительно тер грудь, прислушивался и слышал, как больно и неровно топают под ребрами тяжелые сапоги. «Чем же эти ноги остановить?»

Гуляев зашел в гастроном и купил портвейн. Через дорогу был городской парк. Гуляев вошел в парк, печально вспоминая, как здесь, еще до свадьбы, встречался с Валентиной — гуляли, целовались, говорили о любви...

А снег все сыпал и сыпал — белый, густой — нарядно украшал нежным пухом деревья парка. Леонид притулялся к высокому тополю, распечатал портвейн и стал жадно пить. Выпил много, но блажи не испытал, мозг продолжал ровно работать; в нем шел тихий спор между белокрылой освежающей картиной осени и человеком, пришедшим внезапно в тяжелых сапожицах. «Нет, не может этого быть... Какой там еще человек? А если...» Ощутил внутри себя холодок, но не ветряный, не осенний, а тоскующий, неизгонимый. Появилось мерзкое чувство одиночества. Тянуло пообщаться. Рядом — ни души.

Снова стал пить вино, пил с горла, запрокинул голову и от изумления поперхнулся: между голыми стволами деревьев, сквозь густую пелену снега, увидел серый силуэт человека, который протягивал к нему руку. Ощутил радость: «Значит, я здесь не один. Есть с кем разделить горе...»

Пошел навстречу, вышел на аллею, но никого не увидел, кроме каменного памятника Ленину.

— Так это ты, — разочаровался Гуляев. — Жаль, с тобой не поговорить и не выпить.

Памятник вождю стоял посреди аллеи. У его подножия — клумба с увядшими цветами, рядом — лавочка. Леонид смахнул с лавочки

снег и присел, выпил еще вина, ощутил свободу одиночества, заговорил вслух, пьяно уставившись на памятник:

— Вот никак не разберу я, Ильич, ломаю голову, о не пойму, что это — любовь, или черт попутал? Знаю, что люблю я ее, родная она мне, и сына смогла родить на радость... Но вот сомнение на меня нашло... Ревность появилась... А теперь сама созналась — человека встретила. Эх, подсказал бы кто...

— Не знаю я, — угрюмо ответил памятник.

Гуляев выпучил глаза. Голос был живой — грубый, басовитый, с хрипотцой, и исходил из камня.

Памятник продолжал:

— Я человек маленький, хотя и место мое здесь. Часто меня молодежь допекает: «Скажи нам, Ильич, ты ведь все знаешь...» Нет, не могу я такие тонкости знать — любовь ли у тебя или черт с рогами. Я-то всю жизнь без семьи промучился...

Взволнованный Леонид подхватил:

— Да уж знаю, знаю, Ильич, все про тебя знаю: и что без семьи мучился, и что пострадал за нас, дураков.

— Ну ты это слишком — никогда я не страдал. А что без семьи — это плохо — моего продолжения не будет.

Гуляев испытал родственные чувства к одинокому вождю, чувства, переживаемые им самим, хотелось проявить дружеское участие:

— Да ты руку, руку-то свою опусти, испробуй моего портвейна и легче станет, не так одиноко.

— Благодарствую, хороший человек, — отвечал, не шелохнувшись, Ленин. Только я на своем посту не употребляю.

«Ты гляди, святый, только не шелохнется, будто заколдованный. И говорит умно, просто, понятно». Под влиянием нахлынувших чувств и призрачного воображения Леонид пал на колени и уже поднял руку, чтобы перекреститься — а вдруг придет помощь в столь трудный час.

— Зачем на колени-то? Кругом слякоть, — услышал он тот же голос, но уже не из камня.

Гуляев поднял голову и увидел старого дворника. Тот вышел из-за памятника, в руке держал метлу и курил папироску:

— Вставай, друг, вставай, озябнешь. Осень ныне ранняя. Вставай, что ты ему кланяешься? Это ведь камень.

Дворник докурил папироску, поправил на голове шапку-ушанку и продолжил выметать опавшую листву, слипшуюся со снегом, тихо ворчал:

— Ох и мерзкая погода. Осень ранняя.

Гуляева покоробило. «Надо же так опростоволоситься... Я ему здесь душу свою выворачиваю, а он... Тоже мне, Ильич нашелся».

Стряхнул с колен влажный снег и понял, в каком дурацком положении оказался. Стыдно было смотреть в сторону дворника, который искося наблюдал – что делает Гуляев. Леонид разочарованно посмотрел на вождя и пошел прочь...

Домой вернулся поздно вечером – усталый, измощденный непогодой. Страшно хотелось спать и ни о чем не думать. Лег в постель, укутался одеялом, закрыл глаза, но сразу же увидел серый силуэт памятника, а рядом увидел себя с бутылкой портвейна. «Идиот! Додумался, вождю портвейн предлагать...» Тело наливалось теплом и спокойствием...

...Услышал шаги. Кто-то подошел к комнате. Кто бы это? Но думать было тяжело, мысли путались: «В доме я один? А может Валентина с сыном вернулись...» От тяжелого шага заскрипел пол, и Леонид, вздрогнув, открыл глаза. На пороге стоял человек-гигант.

– Ильич?! – опознал Гуляев и ощущил озноб. Никак не мог справиться с мыслями: «Как он смог прийти сюда через весь город? Что ему от меня нужно?»

– Помоги, – просил вождь.

– Что же я могу?

Вождь протянул огромный молот и Гуляев воскликнул:

– Молот моего деда! Но откуда он у тебя?

– Не спрашивай меня ни о чем, кузнец, я давно живу не по своей воле. Прошу тебя, возьми молот и бей по мне, не жалей, так надо. Ты же видишь, мне тяжело говорить, невыносимо двигаться. Ударь, расколи камень, освободи.

– Ударить – это можно, – согласился Леонид и взялся за молот.

Но, к своему удивлению, поднять он молот не смог, в руках была слабость, и эта слабость злила его, он пытался поднять молот еще раз... еще... и еще... И тогда понял Гуляев, что не кузнец он больше, и не сможет сделать хорошего дела. Стало обидно, и он заплакал, как ребенок...

После этого сна Леонид стал мучиться в поиск разгадки. Неоднократно приходил ко мне, пересказывал сон и недоумевал:

– До чего дожил – вожди сниться стали. Только никак в толк не возьму, зачем он приходил? Ударь, говорит, по мне, расколи камень... Не вижу здесь знаков, понимаешь? Если снится вода, грязь, кровь, то мне ясно – к чему. А тут, на, сам Ильич пожаловал... А я вот так и не смог молот-то поднять...

– А я думаю, здесь разгадка простая, – я попробовал дать свое объяснение. – Ослаб ты, дело ясное, даже с молотом не справился. Вот и делай сам отсюда вывод...

Гуляев не согласился:

— Нет, Иваныч, здесь дело непростое, а политическое. Если говорить по чувствам, то мне Ильича жалко стало до глубины сердца, когда он просил. Я что думаю, пойду ночью в парк да ударю по нему своим молотом. Свой-то молот я пока поднимаю. Глядишь, сам политиком стану — тюрьма, ссылка... Терять-то мне теперь нечего. Один остался, без сеши.

Я ничего не сказал, молча смотрел на него и думал: «Смотри, куда понесло: «политиком стану»! А может, шутит так? Понять-то его сложно...»

Гуляев прервал мои размышления:

— Да нет, никуда я не пойду и не ударю молотом. Шума много будет... Лучше домой пойду.

Он ушел, а я засомневался: домой ли? Мужик остался один, теперь в доме пусто и в душе пусто. Эх, как возьмет свой молот да начнет крошить. Сам говорит, терять мне теперь нечего — тюрьма, ссылка...

И неизвестно, как бы закончилась моя повесть про Леонида Гуляева, если бы не очередной его пьяный сон...

Поздно вечером хмельной Гуляев шатался по улице и, проходя мимо дома покойного Михаила Свиридова, решил зайти навестить вдову.

Нина после смерти мужа очень изменилась — сильно постарела и ударила в пьянку — чего никто не ожидал.

— За то Мишку ругала — все себе забрала, — говорила Нина про себя и отчаявалась. — Не могу себя остановить, и все тут, так и тянется рука за стаканом. Хоть в петлю лез...

Пил, напивалась, и уже пьяная пробовала курить. Курила сигареты «Прима», которые остались в дом после Михаила.

Когда Гуляев вошел в дом, она сидела на кровати и никак не могла зажечь спичку.

— Дура ты, — заругался Гуляев и отобрал у нее спички и сигарету. — Ты ведь баба, мать дитя, тебе это непростительно.

С улицы зашла дочь, Алла, в этом году в школу пошла, но выглядит взрослеей. Она была в красных резиновых сапожках и в синем заношенном пальто, которое широко свисало к полу. Увидев Гуляева, девочка радостно побежала к нему:

— Здравствуйте, дядя Леня! Как хорошо, что вы пришли!

— А ты почему не спиши? Уже поздно, — спросил по-отцовски Леонид.

— Я на улице была, звездочки считала, ждала, когда он отсюда уйдет...

— Кто «он»?

Алла заглянула в другую комнату и пояснила:

— Здесь дядька был, плохой дядька. Когда мы с мамой ходили на могилку папы, он к нам подходил, с мамой разговаривал. А теперь к нам стал приходить, и водку с мамой пьют... Я знаю, он с могилы цветы ворует... — Алла замолкла, посмотрела на пьяную мать и тихо сказала: — А потом они цветы продают, а водку покупают... — девочка положила на колени Гуляева свои холодные ладони и попросила: — Дядя Лень, останьтесь у нас. Я боюсь того дядьку. Он завтра опять придет... выгони его от нас, ты ведь сильный.

Гуляев пообещал Алле, что не впустит завтра этого человека в их дом, и остался ночевать; долго не мог уснуть, думая про жену, про сына как они там, в чужой квартире? И кто он, тот нехороший человек? Как бы чего дурного не вышло...

...Проснулся от своего же крика.

— Ты что ревешь как резаный? — к нему подошла Нина с бесмысленными глазами и все еще пьяная. — Ори здесь тихо или в подушку. Я шум в доме не переношу.

Нина опять легла на свою кровать, а проснувшаяся Алла встревоженно поинтересовалась:

— Вам плохо, дядя Леня?

Гуляев недоверчиво осматривался по сторонам и не мог понять, где он находится. Наконец, опомнившись, ответил:

— Теща... Теща мне приснилась.

— Ой, — девочка сделала испуганные глаза. — Неужели она такая страшная?

— Нет, не страшная она, — отвечал Гуляев. — Она мертвая...

Ему приснилась теща, Лидия Матвеевна, мать Валентины, которая умерла от сердца три года назад. При жизни Гуляев с ней не ладил — привередливая теща была, все сверлила Леонида, что плохой хозяин, не покладистый и неговорчивый, что другого зятя представляла на его месте... А тут вдруг Лидия Матвеевна приснилась ласковой и дружелюбной, поманила зятя к себе, и он пошел... Затем она стала его обнимать, а Гуляеву это не понравилось, и он вырвался с криком...

«Ох, недобрый сон, предупредительный, — тревогу в душе ощутил Леонид, суетность. Вот и покойники сниться стали...»

Днем решил пойти на кладбище. «Надо бы помянуть, прощение попросить». По дороге зашел в магазин, купил портвейн, но одумался: «Теща была трезвенницей». Обменял портвейн на газированный напиток. Пришел на кладбище и долго искал могилку, давно здесь не был, но нашел. Стоял удрученный и виноватый перед железным памятником, смотрел на фотографию тещи и вспоминал, какая она была маленькая, хрупкая женщина, и теперь ее стало жалко до слез. «Будешь обижать Валюшу, не будет тебе жизни», — Гуляев вспомнил

предупреждение тещи и глубоко задумался: «Что случилось, того уже не вернуть и не исправить... Как мне сейчас жить?» Но теща молчала и вокруг было неимоверно тихо, далеко разносился маломальски живой звук, и не было ему преграды. «Мертвое царство. Как здесь спокойно и свободно. Куда свободней, чем в шумном, тесном городе...» Вспомнил про жену, про сына, и душа заныла...

Вдруг отчетливо услышал за спиной детский удивленный голос:

– Мама, смотри, это же наш папа...

Оглянулся и увидел сына, рядом жену. Гуляев был радостно удивлен. В душе благодарил тещу и свой предупредительный сон, который привел его на кладбище.

– Неужели помнишь? Не забыл?.. – промолвила Валентина, и по ее лицу видно было, что она не менее удивлена этой встрече. – Да, время идет... Сегодня – три года уже, как мамы нет.

– Помню, а как же, – отвечал Леонид, хотя сам считал, что теща умерла весной.

Больше они ни о чем не говорили. Валентина положила на холмик принесенные цветы и покрошила для птиц печенье. Они молчали, но это молчание было лучше слов – они молча мирились, иногда встречались глазами, и эти взгляды были понятны, долгожданы и так приятны. Валентина взяла тряпочку и стала протирать грязные места памятника. И Леонид подошел, подышал на фотографию тещи, как на зеркало, и потер носовым платком.

– Мама, я пить хочу, – попросил Лешка.

Гуляев с радостью подал сыну газировку. Затем его газировку пила Валентина.

Стали возвращаться, и Леонид заговорил с сыном про школу.

– Учусь хорошо. Только далеко теперь ездить Из дома ближе было, – пожаловался сын и взял отца за руку. – Папа, приходи к нам завтра.

– Лучше вы с мамой приходите. У вас там тесно, – нашелся Леонид и посмотрел на Валентину. – У тебя завтра выходной день. Я вас буду ждать.

Она ничего не сказала, только улыбнулась и молча кивнула, но он все понял.

Вернувшись домой, Гуляев начал метаться по комнатам и наводить порядок: протирал скопившуюся пыль, чихал и удивлялся, почему в доме так много паутины, мыл полы и испытывал радость.

Они пришли на следующий день поздно вечером, когда Леонид уже отчаялся ждать: «Неужели передумала?» Потом Валентина рассказывала:

– Еще вчера начала собираться. Но всю ночь не спала, опять сомневаться в тебе стала, плохое вспомнилось. И днем не могла себя

успокоить, злилась. А здесь Лешка все тянет и тянет: «Пойдем к папке. Он ведь ждет нас...» Скучет по тебе. Вот я и подумала, при чем здесь ребенок.

Гуляев слышал, как говорит его жена — голос нежный и родной, гладил ее по голове, по влажной щеке, и признавался:

— И я злился на тебя. Чего только не передумал. Еще этот — хороший человек...

— А про него я придумала, — весело отвечала Валентина. — Даже сама удивилась, будто кто за язык тянул сказать гадкое. Ой, а сам-то: бок о бок с иностранцами, валюта... Надо же так врать. Но я тебя сразу раскусила. Кстати, а насчет крыши — не обманул?

Они лежали на своей кровати, по которой оба соскучились. И дом-то родной, пусть старенький и пол скрипит, но родной. В этом доме родился Леонид, и сын его родился здесь. Теперь спит Алешка в своей отдельной комнате безмятежным сном.

— Сын вырос, — задумчиво сказал Гуляев. — Вот так, и не успеешь оглянуться.

— Растет наш Лешка, — говорила Валентина. — А ты знаешь, что он мне недавно сказал: «Буду, как папа, кузнецом».

Гуляев ощущал гордость, но гордость не властную, не победоносную, а тихую, отцовскую. Благодарно обнял жену. Вспыхнувшее чувство всецело вмешало радость за сына и преклонение перед женской отвагой. Сильные мужские руки соприкасались с беззащитной нежностью женского тела — тела, способного обогреть и вскормить, тела, имеющего в себе плодородную почву для вызревания семени — продолжения рода человеческого.

На этом можно поставить точку. Семья Леонида Гуляева живет в полном здравии, живет в своем доме на улице Могильной. Леонид бросил пить, курить, и теперь работает кузнецом. Ко мне он не заходит, встречаемся иногда на улице, и я так понял, что сны наконец-то кончились, а значит, кончился мой рассказ. Но все это кончилось осенью.

Зиму я провел довольно скучно, только тем и занимался, что копался в своих старых черновиках, потому что нового ничего не написал.

Наступила весна. И первое, что я заметил — на нашей улице стали происходить довольно существенные преломления — по дороге стали ездить машины, груженые кирпичом и стройматериалами; от соседей узнал, что на нашей улице богатые люди покупают дома; новые хозяева ломают прежние постройки и строят жилье на свой вкус.

Утром я вышел из дома и увидел двух рабочих, которые снимали с дома старую вывеску с названием улицы и крепили новую. Я

прочитал: «Ул. Ново-Садовая». Меня ошеломила та непредсказуемость и легкость, с которой происходили эти перемены. Ну кто бы мог подумать, что это возможно! Я даже засомневался:

— Нет ли тут ошибки? Я будто бы такую улицу уже встречал в городе.

— Ошибки нет, отвечали рабочие. — В городе есть улица Садовая, а ваша Ново-Садовая. Администрация разрешила.

Я пошел вдоль улицы, разглядывая на домах новые таблички и испытывая положительные чувства. Остановился возле строящегося дома, который занимал большую часть всего земельного участка. «Крепкая семья!»

Рядом со мной остановился пожилой мужчина, старый житель улицы, и, как я, с любопытством смотрел на строительство, вслух размышляя:

— На такой дворец специальных работников заводить придется — в доме убираться, да и за порядком следить. Надо бы у хозяина поинтересоваться, может, в чем пригожусь.

— А кто хозяином-то будет? — поинтересовался я.

— Кто хозяин? Хозяин — мясник, ферму свою содержит в селе, а тут дом себе решил строить. Этот еще не так велик. А вон тот... — он указал рукой на дом, который строился дальше и архитектура его была более масштабной. — Там хозяин покруче. Говорят, новый сорт хлеба изобрел и теперь сам выращивает и продает. Ох, богатый человек!

Я вернулся домой с тревожными чувствами, с ощущением личного беспокойства: «Скоро и на мой дом найдется хозяин». Стал жить в ожидании.

А вскоре пришла хозяйка и объявила:

— Дом продан. Завтра пришлю сюда машину, кое-что из своего барахла увезу, могу и вас заодно.

— Я налегке, — отказался я и, заметив странную поспешность, полюбопытствовал: — Дом, говорите, продан, а никто не приходил, не интересовался.

— А чем интересоваться-то — этой развалюхой? Людям нужна земля.

— Может так и правильно, — согласился я.

А ночью не мог уснуть. Казалось, будто старый дом подслушал наш разговор о его скорой кончине, и теперь он кряхтел, стонал, тяжело вздыхал и охал. Но к утру воцарилась тишина, и я подумал, что ушла из дома нечистая сила, побесилась в последний раз и ушла искать для себя другое логово.

Днем я с легкой руки позвонил по объявлению и устроился на новую квартиру в хрущевском доме, к одинокому пенсионеру. Первое

время я часто вспоминал Леонида Гуляева и скучал по его снам. Но это было только первое время. Наш город, разнообразный и красивый, открывал для меня свои двери, предоставляя новые встречи, новые человеческие судьбы...

Я же давно закончил «Пьяные сны Леонида Гуляева» и работал над рассказом о жизни близкого мне пенсионера. Обычно под вечер я выходил на свежий воздух, прогуляться, что-то увидеть, что-то узнать.

Была осень. Начинал моросить мерзкий дождик, и я торопился домой. Проходя мимо мусорных баков, которые стояли во дворе и портили вид, я увидел одного бродягу. Он сидел возле мусорного бака в старом выброшенном кресле — кресло не имело ножек и стояло на деревянном ящике. Рядом горел костер и бродяга тянулся к нему руками. Возле бродяги крутилась детвора, он рассказывал какую-то занимательную историю и дети слушали.

Наши глаза встретились и мне вдруг показалось, что я его знаю. В сознании вспыхивали лица моих знакомых, но нет, ни одно лицо ни о чем не говорило. Но вот эти глаза — добродушные, прямые, жгучие, под густыми нависшими бровями...

— Гуляев! — вскрикнул я от неожиданности.

Да, это был Леонид Гуляев. Он поднялся мне навстречу:

— Здравствуй, здравствуй, Иваныч, — протянул мне свои руки — серые, прокопченные и не такие хваткие, как когда-то, а высохшие, слабые. — А я тебя сразу признал. Да не захотел на глаза лезть.

Моему удивлению не было предела, я не находил нужных слов и смотрел на него недоуменным глазами. Его лицо было заросшим густой щетиной и прокопченное, как и руки.

— Что, не ожидал меня здесь, да, не ожидал?

Мы стояли возле мусорки и говорили о чем попало, только не о той трагедии, которая лежала на лице Гуляева черным пятном. Подошла женщина, вывалила в бак мусор и оставила рядом с гуляевским креслом что-то в свертке, видимо, годный продукт. Мне стало неловко и обидно. Я предложил:

— Уйдем отсюда. Рядом — рюмочная. Пойдем-ка за встречу.

Я купил любимый гуляевский портвейн и мы выпили за встречу — встречу неожиданную, нелепую, но радостную. Разговор сложился сам собой и Гуляев поведал мне свою историю:

— Только ты переехал, тут и к нам заявился покупатель, представился начинаящим бизнесменом, взамен нашего дома обещал двухкомнатную квартиру и денег в придачу. С ним еще люди были, ходят, значит, дом осматривают, прикидывают что-то. А мне тут же на ум вчерашний сон вспомнился, — будто пришли в мой дом цыгане, распо-

ложились по комнатам, я их гоню, а они упираются, биться с ними стал, но не могу сладить... Вальке своей шепчу: «Сон в руку, приехали цыгане, не нужно с ними связываться». А она не поймет меня, говорит, русские они, не цыгане, и пока квартиру дают, и деньги в придачу, нужно соглашаться. Поспорил я с ней, а потом и сам соблазнился, когда квартирку увидел своими глазами. Да, хорошая квартирка была, ничего не скажешь. И перевезли они нас сами, и денег в придачу дали. Мы-то на эти деньги тут же холодильник купили, стиральную машинку. Эх, Валька моя счастливая была: в квартире горячая вода, ванная. И все-таки мы поспешили: документов на квартиру не доставало, покупатель просил нас немного подождать. А через месяц заявляется незнакомый мужик и говорит, что он здесь хозяин – и настоящие документы нам представил. Мне поначалу не верилось, думал, ошибся мужик, но тут приехали спортивные ребята и вывели нас на улицу.

– Ну а что же этот ваш, начинающий бизнесмен? К нему-то ходили? – я недоумевал.

– Ходил. А он говорит, я тебе заплатил, и пригрозился, чтобы я больше не ходил. Да оно и так ясно: подстроено все было, липа. А я – дурак.

Я с сожалением смотрел на Леонида, и мне не верилось, что можно вот так легко и быстро потерять все сразу, по своему незнанию, неумению и простодушию.

– А Валентина с сыном?

– Уехали на Алтай, она оттуда родом. У нее там сестра живет, обещала приютить.

– А ты?

– Не поехал. Куда всей капеллой. Сейчас везде тяжело, хорошо бы им прокормиться. А я, ничего, переживу.

Я слушал Гуляева и не слышал в его голосе ни отчаяния, ни осуждения, но видел смирение этого русского мужика перед страшной действительностью. Теперь улица Ново-Садовая представлялась для меня в непонятном разрозненном облике. Смогут ли ужиться на одной улице старые жители и новые – простой мужик, мясник и тот начинающий бизнесмен

После «рюмочной» мы долго не могли расстаться. Я испытывал к Леониду чрезвычайную жалость и тянул его к себе, чтобы он умылся горячей водой да отдохнул в домашней обстановке. Но он грустно отшучивался:

– Тело мое уже не отмыть. Меня здесь знаешь как дразнят – «русским негром», – он улыбнулся и обнажил зубы, которые оказались белыми и ровными на фоне копченого лица. – А ночлежка у меня есть, место обжитое, выше всех и под крышей. До зимы дотяну,

а там, как Бог даст... — вдруг он спохватился: — Иваныч, ты в тюрьме сидел?

— Было, в молодости, — легко сознался я и удивленно пожал плечами. — А что?

Сон один меня замучил: будто я в камере сижу, стены каменные, как в пещере, темно, холодно, жутко. Рядом со мной люди, все сидят на длинной лавке, молчат и чего-то ожидают. Вдруг открывается дверь и я вижу свет — яркий, ослепительный. Слов не слышу, но понимаю, что дверь открыта для меня — я вот-вот должен освободиться. На душе радостно. Но дверь опять захлопывается, опять темно и жутко. Вот и не пойму: к чему этот сон?

— Значит, скоро освободишься, — не задумываясь, сболтнул я.

— Куда? — задумчиво спрашивал Гуляев, но спрашивал самого себя и сам же отвечал: — Поживем, узнаем...

В тот раз мы так и расстались, и, как видно, навсегда. На следующий день я специально проходил мимо мусорки, чтобы встретиться с ним и пойти в рюмочную, но его не было: гуляевское кресло стояло пустым и никто не жег костер. Не было его и потом... Я забеспокоился, облазил чердаки ближайших домов, но Гуляева так и не нашел. Тогда я подумал, что он просто ушел, специально ушел подальше от меня, чтобы не видеть мое лицо — любопытное лицо писателя, хотя и сожалеющее. Ушел и унес тайну своего последнего сна.

ИГРОК

Я ехал на электричке в Масалиху — это небольшое село расположено в ста километрах от города, рядом с селом — приток Волги, место живописное.

В Масалихе живет мой давний друг — Серов Николай Иванович. Он художник, ведет в школе уроки рисования. Я часто приезжаю к нему в летнее время. Ходим вместе на рыбалку, по грибы. Еще я люблю наблюдать, как он работает над пейзажами — легко и красиво, и я тайно завидую, потому что, как писатель, имею трудности в литературном описании живой природы.

В вагоне не прдохнуть — в основном дачники и сельские жители. Я сидел у окна и любовался живописной местностью. Чтобы не скучать, достал свой блокнот и стал делать заметки, но вдруг кончились чернила.

Рядом со мной молодые люди — парень лет тридцати и две девушки — играли в «дурака».

— Извините, — обратился я к ним, — ручка найдется?

Парень вытащил из кармана ручку и подал мне.

Я обратил внимание на его руку — на руке было только два пальца, большой и мизинец, я дивился: «Как же он в карты играет?»

Я увлекся своей работой и не заметил, как распалась картежная компания: две девушки, видимо, сошли на остановке, а парень молча сидел рядом и наблюдал за мной.

— Писатель? — спросил он.

— Пытаюсь, — ответил я и протянул ему ручку.

— Возьмите себе. Вам нужнее...

Мне понравилось его великодушие, к тому же мне понравилась ручка, она была изготовлена кустарно из искусственного стекла, рифленая, а внутри тонкая гравировка цветка, который смотрелся как живой.

— Уж очень дорогой подарок, — заскромничал я.

— Вот и берите на память. Может что про меня напишете... — пошутил он. — А такие ручки я сам могу делать.

— У тебя, парень, золотые руки, — похвалил я и невольно посмотрел на его руки. К моему удивлению, вторая рука была так же искалечена — на ней недоставало двух пальцев. Я не удержался:

— Что у тебя с руками?

— А, ерунда... Отморозил.

Я не поверил ему. Уж очень все просто — «отморозил». Что-то скрывает. В продолжение нашего разговора мы познакомились ближе и я узнал неприятную историю.

…Денис Беляев досиживал срок — последний день в лагере. За шесть лет отсидки многому поднаучишься, особенно как в карты играть. «За картами срок быстрее идет», — говорит Денис. Вот и теперь не удержался, уже ночь, он упорно сидит за картами, а нет, чтобы на шконке повалиться, помечтать, ведь утром на свободу.

Играли в «двадцать одно» в бараке для туберкулезно-больных. Барак дощатый, самый старый в зоне, он удобно располагается в стороне от всех остальных — высоких и кирпичных, и в случае налета охранников было время н «шухер». Игра продолжалась уже третий день — так договаривались — расчет на четвертый день в течение двадцати четырех часов. Собрались только ночью, начинали после отбоя и заканчивали ближе к подъему. Уже сменили несколько колод карт. Играло пять человек — каждый отдавал себя игре, как жене любимой, но не верной, которая в любое время могла тебя предать и уйти к другому.

Молчаливая борьба шла между Денисом и Мишой «Рыжим». Картежная жена приносило Рыжему одно разочарование. «Нет масти», — скрипел он зубами, зло бросал карты и выскакивал в коридор.

В коридоре на «шухере» стоял Лешка-фуфлыжник, он ежеминутно высовывался через приоткрытую дверь и присматривал подход к бараку. Год назад Лешка проиграл Рыжему крупную сумму, а рассчитаться не смог, теперь он у него в полном подчинении. Первое время Лешка страдал от унижения, хотел повеситься, но потом смирился.

— Иди, чифир свари, — приказал ему Рыжий.

Лешка сплюнул докуренную до губ самокрутку и послушно пошел в барак. А Рыжий остался в коридоре, он нервничал, у него не шла игра и оставалось мало времени отыграться. Уже кончалась ночь. Сильный, порывистый ветер выюжил снег и шатал прожекторы на дозорных вышках.

Картежники разошлись на рассвете. Денис сидел в своем углу на шконке и ожидал, пока с ним рассчитываются.

Пришел Толя Зуборев, правильный парень, только часто проигрывает, много платит, а не играть не может, подал деньги.

Денис сверился по картежному списку:

— Рассчитывайся с Валеркой, он тоже в выигрыше.

— Могу и с ним, — согласился Толя. — Я хотел, как тебе лучше. Ведь ты — сегодня домой...

Денис безразлично махнул рукой, подтверждая, что Толин долг его не интересует. Он с нетерпением ждал Рыжего, хотелось в послед-

дний раз посмотреть на его наглую физиономию. Рыжий многим не нравился в лагере — щепетильный, горячий игрок, в случае своего выигрыша становится невыносимо скупым и неуступчивым. Денис помнил, как ради проигравшего Лешки подходил к Рыжему, чтобы договориться отсрочить долг, но тот был неумолим. Теперь Рыжий сам был на грани фуфла и наверняка попытается улизнуть.

Денис, ожидая Рыжего, старался не думать о липких, самоклеенных картах, которые чертовски надоели за срок, он пытался представить свободу... Вспомнил свою одноклассницу — Ольгу. Ее фотография до последнего дня стояла на тумбочке, и Денис в минуты невыносимой тоски смотрел на это чистое девичье лицо и ощущал поддержку. Первые три года Ольга писала регулярно и обещала дождаться, но затем все реже и реже...

— Здорово, братан, — к Денису подошел Сережка — земляк, когда-то жили на одной улице. Теперь Сережка жил в одном отряде с Рыжим и Денис знал про их приятельские отношения. Легко было догадаться, зачем он пришел.

Сергей заискивающе улыбнулся:

— На свободу...

— На свободу, — раздраженно повторил Денис и поторопил. — Что хотел? Только не тяни и не юли, и так понятно, что за Рыжего лопочек.

— Рассчитай его. А сегодня ко мне домой зайдешь... Вот им письмо, — он протянул письмо, о неуверенно, дрожащей рукой. — По письму мои все до рубля соберут. И тебе так будет лучше, удобней.

— Я сам знаю, как мне удобней, — оборвал Денис и спросил: — А где же Рыжий?

— Болеет. Сам понимаешь, такая сумма...

За окном посыпал снег: даже сквозь тусклое барачное стекло он торжественно сверкал на солнце. Хотелось плонуть, махнуть на все рукой и думать только о долгожданной встрече с Ольгой: как купит розы, много красных роз, купит шампанское и еще там что-то дорогое, и еще... Приедет с шиком на такси, ведь, казалось, деньги у него есть, много выиграл...

— Братан, рассчитай Рыжего, — Сережка опять просил и протягивал письмо.

Денис с неприязнью взглянул на земляка и отвернулся. Он зал родителей Сережки: отец — инвалид, мать — пенсионерка, есть еще старшая сестра, они, конечно же, начнут искать деньги и непременно найдут, ведь Сережка в письме их жалобно просит, наверняка умоляет, что в последний раз, и дает понять, что от этого зависит многое в его дальнейшей арестантской жизни... Да, они найдут деньги, но ни

не знают — для кого? Денис понял, что Рыжий сам рассчитываться не будет, хочет вывернуться за чужой счет. «Не выйдет».

— Письмо порви, — ответил Денис. — А Рыжему передай, что все деньги я оставляю в зоне — перевожу Хромому. Пусть к нему идет...

Такого ответа Сережка не ожидал и не смог скрыть удивления. Хромой, или попросту дядя Вася, уже досиживал пятый срок и имел к картам особое пристрастие. К Рыжему питал личную неприязнь. Теперь дело было дрянь. На расчет денег не было, ничего не остается, как просить Хромого дать возможность отыграться, а отыграться Хромого можно только у пьяного или у сонного. Значит, Рыжий залетит в кабалу...

Денис поспешил в инвалидный отряд. Хромой сидел на шконке и пристегивал к голени деревянную култышку. Увидев Дениса, приветствовал:

— Вот и он сам! А я к тебе собираюсь — думаю, зайду, провожу, — Хромой разлил по стаканам только сваренный чай.

— Я к тебе с «подарком», — сообщил Денис и протянул список. — Дарю Рыжего тебе. Читай...

Хромой прочитал, и в его глазах сверкнул азарт, хохотнул во весь голос, обнажив редкие прочищенные зубы:

— А что, дам той шельме возможность отыграться. Как ты на это смотришь?

— Уже никак.

У Хромого появилось желание поболтать, пошутиТЬ, но Денис, испытывающий близость долгожданного часа свободы, заторопился:

— Пойду к себе. Скоро позовут...

Хромой дружески ударил Дениса по плечу:

— Хочу сказать тебе на дорожку. Ты хороши игрок, карту чувствуешь тонко и партнера уважаешь, но есть в тебе одна такая пакость — ты меры не знаешь, это тое недостаток. Никогда не выигрывай слишком много...

Денис отнесся к словам Хромого как к серьезной шутке, не захотел вникать и вообще думать о картах, за забором они вряд ли пригодятся. Все мысли уже там. Кто же приедет встречать? Мать? Вряд ли. Уже старенькая, добираться далеко. Отец умер два года назад. Конечно же, приедет Славка, младший братишко — уже год, как из армии вернулся. Шесть лет его не видел, узнать бы... Боже, как время летит!

По зоновскому радио голос:

— Осужденный двенадцатого отряда Беляев, явиться к ДПНК для освобождения...

За забором Дениса Никто не ждал. Не ждали его и дома. Ключ, как и шесть лет тому назад, лежал под половиком. Вошел в квартиру и увидел записку, писала мать: «Сынок, дождись меня, я скоро...»

Дома все было по-старому: старый телевизор с обломанной антенной, старый диван — бордовый, до серости затертый местами, а его правая спинка вечно отпадает от прикосновения, на стене зеленый и же выгоревший ковер с цветами из ниток, которые мать когда-то сама вышивала. В доме — как и было, и складывается мнение, будто кроме матери здесь никто не живет. Где же брат?

Денис подошел к окну. Знакомый и родной двор. Спортивная площадка — здесь когда-то с пацанами устраивали игры — теперь она заброшена, занесена снегом, а деревянный борт большей частью разломан и стнил. Рядом появился коммерческий киоск: металлическая будка с невысокой антенной на крыше, выкрашенная ярко-зеленой краской, напоминала скорее голубятню, чем магазин. Приоткрылась дверь и на мороз выскоцилзнула в одном халатике молоденькая продавщица с сигаретой во рту и с ведром в руке. Денис отметил красивое лицо девушки, густой каштановый волос локонами свисал на плечи, и ему вдруг показалось, что это — Ольга, хотел уже бежать к ней, да одумался, ведь не может она оставаться вечно молодой, ей уже, как и Денису, под тридцать... Продавщица воровато оглянулась по сторонам и опорожнила ведро, оставив на снегу желтые помои. Дальше, у соседнего дома, стояла такая же будка, только другого цвета...

Денис видел, как жизнь круто преломилась: одно постарело и порушилось, но появилось другое — новое, неожиданное и вызывающее, за что раньше непременно бы наказали, осудили...

Пришла мать. В руках держит сумку с продуктами. С порога в слезы. Мать рыдала и причитала:

— Вернулся, родимый мой. Дождалась тебя, дотерпелась.

Последний раз Денис видел мать чуть больше года назад — приезжала на свидание. Всего год прошел, но как постарела мать, дрожит телом от слабости. Помог матери присесть.

— Совсем плохая стала, — рассказывала она, успокоившись. — Боялась — не дождусь тебя... Плохи у нас дела... Со Славкой беда приключилась... И тебя встретить не смогла. Прождала с утра пенсию, и тут же по магазинам, накупила вот всего, чтоб ему передать...

— Передать? Он что, в тюрьме?

Мать неопределенно пожала плечами:

— Сама не знаю, как это назвать. Взаперти он, вот уже пятый месяц... А все чурки эти — нерусские, расплодились по нашему городу. В общем, задолжал Славка много денег...

Мать опять задрожала и в слезы. Ее путаные объяснения понять было тяжело, но ясно одно — задолжал Славка то ли грузинам,

то ли азербайджанцам, которые занимаются бизнесом, а именно, содержат личный склад под стеклотару. Теперь Славка у них отрабатывает и там же живет безвыходно до полного расчета.

— Где склад находится? — с трудом сдерживая возмущение, спросил Денис.

— А там, где старый рынок, еще чуток подальше... Где всегда бутылки принимали. Ты должен помнить...

— Помню, — Денис подошел к двери.

Мать ощущала тревогу и к нему:

— Ты погоди, сынок... Отдохни, ведь ты с дороги, покушай. А потом вместе поедем. Не оставляй меня одну. Что-то нехорошо мне на душе... Погоди меня...

Она начала суетиться, взялась за пальто, но оно выпало из рук. Денис, как мог, успокоил мать, сказал, чтобы она готовила стол, сегодня все-таки праздник, а он пока съездит к брату и все там узнает. Взял сумку с продуктами и ушел.

Найти это место было нетрудно. Денис прошел рынок и вышел к старому зданию склада. Высокие серые стены с маленькими зарешеченными окнами наводили на неприятные воспоминания. Широкие ворота, предназначенные для въезда транспорта, были приоткрыты. У входа стояли две легковые машины.

Денис вошел внутрь. Первое, что бросилось в глаза — это множество пустых бутылок. Бутылки были сложены вповал и громоздились по всему помещению. Здесь работали люди — их было около десятка — они поливали из шлангов и отмывали бутылки. Внешний вид у рабочих был гадким: замусоленная, пропитанная неестественно жирной грязью одежда слипалась с телом и производила впечатление однородной массы. Казалось, что бутылочная липучая жижа саморучно втирается в тело отмывщиком.

— К кому пришел? — за спиной стоял парень, одетый в кожанку и в черной фуражке, руки его были большие и чистые, не похожие на руки отмывщика.

— Беляев Славка здесь? — в свою очередь спросил Денис.

Тот с пренебрежением посмотрел на сумку с продуктами и ухмыльнулся:

— Жвачка... Жди за дверью. Скоро будет перерыв. Он сам выйдет.

Парень в кожанке, по-видимому, занимал здесь место урядника.

Не усмотрев в появлении Дениса ничего подозрительного, он подошел к столу, за которым сидели трое молодых мужчин с кавказским нососложением. Кавказцы играли в карты, и не без интереса: на стол брошены денежные купюры, все пьют джин и дымят сигаре-

тами. А в дальнем тусклом углу стояла широкая длинноющая лавка, на ней сидела русская баба и чистила над ведром картошку, остальная часть лавки была завалена разным тряпье — место, похожее на ночлежку.

Когда Денис выходил, до него донеслись корявые слова с акцентом:

— Опять куски таскают... Будто мы им жрать не даем.

Денис сел на пустой ящик у входа и стал ожидать. Ему не терпелось скоре увидеть брата и расспросить: какой такой долг? И почему держат под замком? Денису показалось, будто он опять в лагере — те же тусклые бараки, те же серые замученные лица... И эти кавказцы — кто они? Блатные или менты? Если так легко распоряжаются человеческой свободой — значит, менты. Но они не носят погоны и ведут себя вызывающе. Неужели это и есть бизнесмены? Денис услышал шаги...

Подошел посудомойщик — мужик лет тридцати на вид, лохматый и небритый. Денис смотрел а него и не хотел себе признаться, что перед ним — двадцатилетний братишко Славка. В сердце что-то екнуло, защемило и растеклось приятным теплом.

— Привет, братишко!

Славка радостно затряс головой и обнялся с Денисом.

— А я знал, что ты скоро должен... Только с чисел сбился...

Братья сидели на порожних ящиках, курили и говорили о случившемся.

— ...В армии водителем был, — рассказывал Славка. — Домой вернулся и сразу на машину пошел, вот к ним. У них по городу много точек приема бутылок, я потом загружался и сюда... Один раз гаишники тормознули, а у меня в кузове баба была, приемщица посуды, ее до дома всегда подвозил, а не положено... Машину сразу на штрафстоянку...

— И что? — Денис заметил нерешительность брата.

— Да загулял я, рукой на все махнул. Сам машину забрать не смог, а они ее потом выкупили... Вот теперь отрабатываю... Только врут они — за машину-то меньше платили.

— И сколько?

— Они говорят — двенадцать штук.

Денис от удивления присвистнул:

— Это надолго...

Славка опустил глаза, казался жалким, беззащитным:

— Может, к лету простят... Я здесь такой не один, да еще сколько будет... Кое-что я уже отработал.

— Кто хозяин?

— Там сидит, играет, седоватый такой, Артуром зовут.

В двери показалась голова урядника:

— Ну, ты скоро, — позвал он Славку и снова скрылся.

Славка занервничал, засуетился возле сумки с продуктами, запустил внутрь руку и стал шарить. Он вытащил из сумки поллитровку и сунул ее за пояс, радостно улыбаясь:

— Это можно здесь, после работы... Ну, пока, братан.

— Постой, — остановил его Денис и спросил: — Хочешь, сейчас вместе уйдем?

Его решительный тон только напугал брата, и тот с опаской оглянулся на дверь:

— Найдут... Они хоть где найдут. У них менты куплены. Еще хуже будет...

Славка ушел. Денис в раздумье остался сидеть на ящике, курил и смотрел, как падает снег — снег сверкал и переливался на солнце, приятно слепил глаза и успокаивал. Домой один идти не хотел, смотрел на снег, курил и чего-то выжидал...

Подъехала легковая машина — с шиком, с блеском — иномарка. Из машины вышли двое парней атлетического телосложения, вошли в здание клада и вскоре вернулись. В дверях провожал их урядник, заискивающе улыбался и трясл головой, будто кланялся.

«Эти поблатней», — заметил Денис и вдруг узнал:

— Фикса, ты?!

Они вместе сидели. Фикса — боксер, сидел за драку, срок был небольшой, освободился год назад, и узнать его теперь было трудно: раздался в плечах, появился подбородок, только улыбался все так же открыто, сверкая золотыми коронками.

— Денис? Привет! Когда?.. А здесь какого черта?

Разговорились. Денис рассказал про брата и не мог скрыть своего удивления:

— Здесь что — тюрьма?

— Тюрьма, не тюрьма, но долг платить нужно. Сам виноват, — радушно отметил друг.

— Я знаю, что он виноват. Но как помочь?

— Только так, — Фикса достал из кармана пачку денег и стал отсчитывать. — Сейчас, брат ты мой, кругом деньги правят. Ну, поживешь, сам все увидишь. Это поначалу кажется тюрьмой... Вот, держи, двенадцать штук, иди и выкупай брата... Да, только не груби им, все должно быть по правилам. А по правилам — они нам платят намного больше...

Денис взял деньги, взвесил на руке, признался:

— Я таких денег еще не держал... Двенадцать штук — многовато, их ведь возвращать придется.

— Я тебя не тороплю. Через пару месяцев вернешь. Я знаю, у тебя руки золотые...

Денис задумался, затем отсчитал двести рублей, а остальные вернул:

— Я думаю, мне этих будет достаточно...

Трое мужчин с кавказским нососложением играли в «двадцать одно». Можно подумать, что они просто отдыхают, бесстрастно проводят свободное время, небрежно бросают денежные купюры на стол, о чем-то разговаривают между собой...

— Дай карту, — к столу подошел Денис.

Седовласый, элегантно одетый кавказец сидел в непринужденной позе и легко производил сдачу карт одной рукой. На его руке был перстень с бриллиантом — камень изумительно сверкал даже при тусклом освещении и доказывал свою мощь. Услышав голос, обращенный к нему, Артур презрительно посмотрел на незнакомца:

— Не понял?

— Дай карту, — повторил Денис. — Или боишься игры?

Артур громко рассмеялся, но не от души, а от возмущения, чувствуя ущемленное достоинство. Вызывающим жестом бросил карту. Денис этого ждал, он видел, как его лова зацепили самолюбие кавказца. Игра началась вчетвером.

А ты стул принеси, — обернулся Денис к уряднику, который безоговорочно повиновался; он видел братские лобзания с Фиксой и теперь определенно нервничал.

Денис заметил перемигивание соперников и оценил это как игру троих против одного. «Тяжковато придется...» — подумал Денис. Но уже после нескольких розыгрышей выяснилось, что перед ним картежники-любители, при появлении в руках туза они забывали о положении вещей и портили себе игру. Три банка Денис довел до выигрыша. Соперники оказались слишком самонадеянны и невнимательны, и Денис этим воспользовался: в рукав была спрятана карта, которую он менял по необходимости. Вскоре двум кавказцам пришлось оставить на столе свои денежные сбережения и проститься. Оставался Артур, он вел себя достойно, хотя и проигрывал. В его коричневом портмоне из крокодильей кожи кончались деньги, Денис это видел и переживал: «Скоро бросит игру...» Денег было недостаточно, чтобы выкупить брата, и он решил опередить:

— Я играю деньги, а ты моего брата.

Артур оживился, ему предлагали игру беспроигрышную: одна рабочая сила не имела особой ценности, и появлялась возможность отыграть свои деньги. Он подозвал урядника:

— Брат сколько стоит?

Тот принес рабочую тетрадь записями и стал подсчитывать Славкины трудодни:

— Около десяти штук...

— Играем, — дал согласие Артур.

Банковал Денис, он пересчитал свои деньги, все деньги вложил в банк, дал карту Артуру и объявил:

— В банке — три штуки.

Артур задумался, но не настолько, чтобы сдержать свой пыл — в руках был туз крестей:

— На все...

Он перебрал — к тузу пришел король, а за ним десятка.

— В банке — шесть... — хладнокровно объявил Денис, не давая опомниться сопернику.

Артур открыл свою карту — опять туз, только пик. Туз — выигрышная карта, нужно рисковать:

— На все...

Он опять перебрал: к тузу пришла дама и девятка. Кавказец почувствовал, как на спине выступи холодный пот.

Денис медленно тасовал карты, теперь он не торопился, внимательно просматривал «рубашку» каждой карты, которые за время игры стали отличимые, он искал туза...

— Стук. В банке — двенадцать... — объявил Денис.

Артур вскрыл свою карту — опять туз, глаза его блеснули страшной догадкой, он засомневался, но отступать было тяжело, в банк проиграно девять тысяч...

На стуке Денис вскрыл свою карту:

— Моя — дама пик.

Кавказца подстегнуло: туз, дама — значит, следующая пойдет десятка... Он машинально потянулся к картам и не мог себя остановить.

— На все, — объявил он дрожащим голосом.

Следующая карта была король — пятнадцать очков вместе с тузом — «петля». Артур выпучил глаза и замер. Неестественная для кавказца бледность покрыла лицо. Затихли посудомойщики, которые стали причастны к завязавшейся игре. Слышался чей-то шепот: «Сколько там — двенадцать?» Из брошенного шланга стекала вода — тихо, но звонко ударяясь в стекло. Артур перевел дыхание и сдержал себя:

— Мне достаточно...

Денис взял две карты из колоды и стал специально медленно вскрывать: восьмерка — первая карта, бросил ее к рукам Артура и объявил вторую:

— Десятка... Двадцать одно...

Артуру не верилось: так быстро проиграть в один банк... Он схватил карты и стал перепроверять...

— Итого, с тебя двадцать одна тысяча, объяви Денис и взял долговую тетрадь. — Если вычесть брата, то остается одиннадцать штук наличными. Расчет...

Артур вытащил из портмоне несколько малозначимых купюр, бросил их на стол, стал выворачивать карманы. Лицо его выражало растерянность, он паниковал и нервничал, подзывал урядника, и у них завязался горячий разговор.

— Нет больше денег, — объяснял урядник. — Ты ведь видел, Фикса приезжал...

Артур обернулся к Денису и попросил его придти за расчетом завтра, в это же время, но тот не уступил:

— Эти деньги мне сейчас нужны, — Денис испытывал удовольствие, наблюдая, как нервничает кавказец, подчеркнуто дополнил: — тебе не нужно объяснять, что такое долг.

У стола столпились отмыщики бутылок, которые теперь осмелили. Один молодой мужик — широкоплечий, высокого роста, одетый в тесную одежду и в кирзовые сапоги, — не сдержался и злорадно ухмыльнулся. Артур тут же подскочил к нему и ударил кулаком в лицо. Не успокоившись на этом, он схватил пустой ящик и замахнулся, но ударить не успел, вступил Денис:

— Это мои люди, — кричал кавказец. — Что захочу, то с ними и сделаю...

— Были твои... — грубо перебил его Денис...

...Шумной толпой вывалились из склада стеклотары и ринулись в город. Денис был в центре внимания, на него смотрели завороженно, и им гордился брат.

Завечерело. Зимнее солнце скрылось за крышами домов, потемнел снег, приударил мороз. Они шли по улице небритые, опухшие, одетые не по сезону легко и так убого, что теперь, наряду с городскими прохожими, соответствовали бродягам, сбившимся в стаю. С ними были две женщины, но одна отстала на первой же остановке:

— Спасибо тебе, паря, что вызволил, — сказала она Денису. — Дома три недели не была. А у меня отец парализованный...

— Ее за что держали? — поинтересовался Денис у брата.

Объяснила другая женщина:

— Да за то же, что и меня. Во дворе бутылки принимала, а зима, холодрыга, без поллитры околеешь... Еще знакомые тут как тут... Так всю выручку и просадила...

— А может, отцу на лекарство?

— Она-то? Да врет она все, — женщина говорила с явной неприязнью в голосе и понять ее раздражение было трудно. — Специально врет про отца, чтобы о ней плохо не подумали. А я, хуже ее что ли...

— Замолчи ты, — остановил ее Славка, и к брату: — Давай это дело отметим. Все-таки свобода! Рядом — пивнушка.

Всей толпой вошли в пивнушку. Пахло табачным дымом и вяленой рыбой, которую продавали по дешевке вместе с пивом. Сдвинули для себя столы. Денис видел, как перед ним стараются эти здоровые мужики с мутными глазами и потрескавшимися руками: руки хотят услужить, несут и несут к столу пиво, рыбу — и рыбу уже хорошую, не прелую, а вот и водочка появилась, закуска... В эти руки Денис кладет деньги, сдачу не берет, они ведь стараются... Денис мало думает о том, что видит, что происходит, мысли не могут справиться и объяснить смысл непривычного движения вокруг...

Рядом с ним женщина, которая осталась, она продолжает обвинять другую женщину, которая ушла к отцу:

— Ушла, предатель, — говорит она пьяно — заплетающимся языком и с глубокой обидой в голосе. — Пока там были, сестренкой меня называла... Теперь бросила...

— Почему сама домой не торопишься?

— Мне некуда... Сожительствовала с одним, так и он меня предал... Одни предатели кругом.

— Так уж одни?

— Ну, если только ты... — она взглянула на Дениса, и ей хотелось смотреть по-девичьи ласково и плутовато, но у нее так не получалось, в глазах мерцал зеленоватый свет пустой бутылки. — Может ты и не предатель. Тогда на, возьми меня, не оставляй одну...

Она склонилась к нему и может быть впервые по-настоящему хотела близости с мужчиной. Денис всматривался в пьяное лицо женщины, в лицо, истерзанное житейской тревогой и отчаяньем, в лицо еще молодое, но ужасно запущенное, и ему вдруг стало страшно, он вспомнил свою Ольгу: какая она теперь? Узнаю ли ее? Он отстранил женщину и взял брата за руку:

— Братишка, идем домой.

Они вышли из пивной. Славка сильно пьяный с трудом представлял ноги, ругался матом...

— Ты, ну-ка стой! — услышал Денис голос, непонятно к кому обращенный, оглянулся и увидел сзади мужиков-посудомойщиков.

— Не отвяжутся, — недовольно сказал Славка, обращаясь к брату. — Дурак ты. На хрена ты их выкупил? Им теперь деваться некуда...

Денис недовольно махнул рукой:

— Все, мужики, расход, по домам...

В следующий момент Денис получил удар по лицу, затем ее и еще... Когда падал, видел перед лицом тяжелые кирзовье сапоги...

Потом слышал над собой тихие голоса и чувствовал, как из кармана выграбают деньги...

— ...Нас мать нашла, — так заканчивал свой рассказ Денис Беляев. — Уже поздно вечером — видит, мен нет, тогда сама поехала на склад... Склад был закрыт, но возле него мать встретила ту женщину, которая с нами в пивнушке была. Она решила к Артуру вернуться... Она-то матери и подсказал, где мы... А мы с братом в сугробе, в канаву нас сбросили, у обоих головы разбитые... Мне-то еще ладно, только обморозился, а у Славки правую сторону парализовало...

Денис Беляев вскоре сошел на остановке. А я долго еще был под впечатлением от его рассказа, и не мог объяснить себе: кто виноват во всем? И как страшна и тяжела материнская доля...

МАШКА

Не кстати пришёл Семён к матери. Десяти годовалая кошка Мурка летом нагуляла живот и теперь котилась. Рожала с трудом, тужилась, шипела, и мать переживала:

— Не девочка уже, старуха, а всё туда же. А если не справишься...

Мать всячески помогала: давила легко живот, поглаживала, трепетно шептала спасительные слова и, казалось, мучилась не меньше любимой кошки, но только появился плод, она тут же отняла его.

— Ты уж извини, Мурочка...

Котёнок звонко пищал, а мать снесла его в туалет и, закрыв глаза, утопила в унитазе.

Семён сидел на кухне, с шумом пил чай и мрачно посмеивался:

— Ну, ты, мать, даёшь. Раз, и нету. Ох, и грех на душу берёшь...

— Помолчал бы, — мать вспылила. Ей и так было нелегко. В прошлом Мурка котилась каждые три месяца, и мать кошачий приплод безоговорочно обращала в унитаз или просто в ведро с водой, слезливо оправдываясь: «Ну что же мне с вами остаётся делать то? Крохотными по миру пустить, чтоб от голода страдали, да от болезней изыхали...» Она, встречая на дороге бродячего котёнка или щенка, всегда подкармливала, осуждая непорядочного хозяина. И даже когда заказывали от Мурки котят, разборчиво смотрела на людей, решая, стоит ли доверить это беспомощное существо? Сын сейчас подвернулся под горячую руку:

— Да лучше их вот так, чтоб и не знали света белого. Сам-то, кобель, нарожал двоих и в сторону. Живите дети, как хотите... Ещё мать берёшься укорять.

Слова матери попали в самую точку, он поперхнулся чаем, вышел из кухни с побитым видом и стал одеваться.

— Не понравилось? — требовательно подступилась мать, держа наготове следующего котёнка. — А ты возьми вот, и попробуй, подними его. А потом будешь умничать.

Котёнок звонко пищал, крохотный, мокрый, слепой, с ярко-рыжими пятнами, он был жалкий и беззащитный.

— А что, и возьму, — вдруг согласился Семён.

Мать недоверчиво посмотрела на сына и уже открыла дверь туалета, но не вошла, задумалась, затем вернула котёнка Мурке.

— Только через неделю глазки откроет. Пока окрепнет... Потом возьмёшь.

— А кто ж будет, кот или кошка? — поинтересовался Семён, наблюдая, как котёнок путается в мягкой шерсти материнского брюха, от слабости дрожит и страстно обнюхивает сосок груди.

— Девочка, я уже посмотрела. Котика мне давно заказывали.

На лице Семёна мелькнуло разочарование, но он согласился:

— Ладно, девчонка так девчонка... Машкой назову.

Пришёл за Машкой спустя месяц. Прозревший котёнок лазил по дивану и был привлекательнее, чем в первый день. Крупные глаза, будто две зелёные пуговицы, открыто смотрели на Семёна и сверкали детским азартом. Весёлый, забавный, пушистый, его так и хотелось погладить, пожучить.

— Всё мать, я Машку забираю, — Семён спрятал котёнка за пазуху. Машка попищала и притихла, высунув нос наружу.

Мать стала наказывать:

— Молочек уже пьёт, я давала. Вот и начнёшь с молока, а там и супчик, и картошечку потолчёшь, рыбку иногда. Без мамкиной сиськи быстро есть начнёт. А справляться приучай, сразу в туалет — поставь там посудину. И гляди, чтобы из окна не вывалилась...

— Не боись, мать, выживем, — заверил Семён и повёз Машку к себе.

Жил Семён в малосемейном общежитии — комната на четвёртом этаже, с туалетом и сидячей ванной — квартира холостяка. Холостяцкая жизнь началась полгода назад: не ужился со своей супругой Ириной, развёлся, оставил её с двумя дочерьми... В комнате есть диван, на стене бордовый палас с бледным орнаментом, который лежал на полу в семейной квартире, в углу стоит старый двухстворчатый шифонер, на тумбочке, возле окна, телевизор, а в прихожей — холодильник и стол — место под кухню.

Полгода Семён жил один, дома казалось неуютно после семейной жизни, но куда деваться, стал сматываться, а тут ещё появилась Машка — новый член семьи. Первым делом кошка обнюхала углы, осторожно проверила место под диваном, под шифонером, а вечером, осмелев, вскарабкалась по паласу до самого потолка, но назад не решилась, на помощь позвала Семёна.

— Ну, всё понимает. Умное животное, — заключил Семён и взял Машку на ночь с собой на кровать.

Проснувшись утром, он обнаружил рядом кошачью влажность и натыкал в это место Машку мордочкой, как мать учила.

— Нехорошо, в туалет нужно...

Семён замочил постель в тазике и ушёл на работу.

Это время для кошки стало самым свободным, как только захлопывалась дверь, она начинала беситься: носилась из комнаты в при-

хожую, заглядывала в тёмный туалет и угрожающе выгибалась спину, затем, пробежав по паласу, она рисковала заскочить на шифонер, но зачастую срывалась, стаскивая за собой какие-то вещи...

Вернувшись с работы, Семён видел непорядок, и начинал ругаться матом. От грозного голоса хозяина Машка пряталась под диваном. Но лучшей для неё защитой в тот момент стала, молодая мягкая женщина – Клавдия. Клавдия работала на одном предприятии с Семёном, была женщиной незамужней, бездетной, ласковой, и частой гостьей. В такие горячие минуты она всегда брала Машку на руки и гладила, приговаривая:

– Маленькая шалунья. Хулиганша моя...

Когда они садились ужинать, Клавдия украдкой бросала под стол Машке что ни будь вкусненькое, и даже когда замечал хозяин, она отсталивала:

– Она ведь маленькая. Ей расти нужно...

Потом они ложились на диван и укрывались одеялом. Хозяин под одеялом кряхтел, а Клавдия жалобно в полголоса стонала, и Машка переживала за неё, волнуясь у дивана. Но Клавдия вдруг переставала стонать, сбрасывала одеяло и сама брала к себе Машку. А той было приятно лежать на большой, мягкой груди, испытывать на себе человеческое тепло и то же волнение.

Минул год. Семён продолжал жить холостяцкой жизнью. Иногда он навещал жену и дочек, которые, как ему казалось, не очень были ему рады, а больше интересовались его получкой. Зато у Семёна стала чаще гостить Клавдия. Она перенесла в комнату к Семёну кое-какие вещички и ходила по комнате полной хозяйкой в своём клетчатом, оранжевом халате. Машку она теперь перестала замечать и баловать, когда приходилось, убирать за ней нечистоты, с презрением бурчала:

– У, какая, противная кошка...

А Машка любила часами сидеть у окна и с завистью наблюдать за дворовыми кошками. Иногда, при удобном случае, она порывалась выйти на карниз в приоткрытое окно, или выскочить в дверь, но Семён был начеку. А вскоре он натянул на окно марлевую сетку, а от двери грубо отталкивал ногами.

– Туда тебе нельзя. А то, как все, рожать начнёшь, что мне тогда делать? Топить вас не хочу.

Однажды Машка сидела на подоконнике и понуро смотрела на дворовую жизнь кошек. В это время она услышала знакомый стон Клавдии, который уже раздражал, и увидела, как из-под одеяла вытянулась нога. В одном прыжке Машка слетела на диван и вцепилась в пятку, как в назойливую мышь.

Раздался дикий крик Клавдии. От неожиданности голый Семён свалился с дивана, запутавшись в простыне. А Машка заняла своё место на окне, с таким видом, что ей терять больше нечего: самое страшное – это побьют и швырнут на улицу...

– Дрянь, дрянь, это не кошка, а зверь. Я её прибью, – Клавдия с криком и тапочком в руке кинулась на Машку, но Семён преградил:

– Не тронь. Это моя кошка.

Вот тут-то и показала себя Клавдия. Она начала истерично кричать, что она лучше кошки и не позволит такого отношения к себе, дубася при этом Семёна тапочкой.

И Семён, в свою очередь, показал себя, доказав Клавдии, что она не лучше Машки и выставил подругу за дверь.

После этого раздора Семён, будто доказывая, что Машка не хуже Клавдии, стал больше уделять внимания своей кошке: чаще баловал свежей рыбкой, а на ночь брал на диван. А Машка, верно ждала своего хозяина с работы. Всё было хорошо, но тут один случай...

Вернувшись как-то с работы, Семён не увидел своей кошки, которая всегда встречала его у порога. Не было её и в комнате. Семён взглянул на окно и обомлел: в марлевой сетке была дыра. «Когтями располосовала...» – догадался Семён и скорее на улицу, с тревогой, что кошка наверняка разбилась о землю. Но Машки там не было. Не было её и во дворе. Семён обошёл подъезды дома – нигде. За советом пришёл к матери.

– Разорвала сетку и выскочила... Внизу нет. Всё уже обошёл. Где искать не знаю...

– Далеко уйти не могла. Всё-таки кошка домашняя. Значит, где-то рядом, – так рассуждала мать и предложила, – поначалу подвал осмотри. Кошки там любят... И объявления напиши, может кто приютил. Кошечка-то хорошая.

Со свечкой в руке Семён лазил по подвалу, уговаривал Машку вернуться, но она не отзывалась. Домой вернулся разочарованный, угрюмый. Сел за стол и с надеждой стал писать объявление, но долго не мог составить текст. Ему хотелось написать, что какая Машка красивая и умная, и что за вознаграждение отдаст зарплату, но, перечитав, рвал и опять писал...

Вдруг, он подумал, что его любимая кошка могла пропасть вовсе, и от этой мысли стало страшно. «Бедная моя Машка. Наверное, голодная сейчас...» неожиданно появились слёзы. Семён их вытер и стал нервно ходить по комнате. Остановился у стены, здесь, висел календарь с изображением Божьей Матери. «Богородица помоги! Никогда не просил, а теперь... Прости... Помоги!»

Утром Семён вышел из дома пораньше, чтобы до работы успеть развесить объявления. Их было много, написал с запасом и теперь не

знал, куда их девать. Остатки принёс на остановку и там расклейл. Тут же прочитала одна старушка и к нему:

— Сынок. Вот за остановкой кошечка сидит, не твоя ли будет?

Пятнышки-то у неё рыжие, как в записке... А вознаграждение?

Под новый Год, Семён пришёл навестить дочерей.

— Ну, заказывайте свои подарки, — говорил он дочкам.

Семён широко улыбался, и жена заподозрила:

— Какой-то весёлый сегодня. Уж не выпил?

А Семён продолжал улыбаться, объясняя хорошее настроение:

— Есть чему радоваться. Я ведь теперь не один живу...

— Наконец-то, — мрачно, но не безразлично отозвалась жена и отвернулась, — хоть теперь определишься...

— Да нет же, ты сразу о плохом. Но ты правильно сказала, я определился, поэтому и пришёл. А говорю я про свою кошку, Машку...

Дочери не дали ему договорить, стали наперебой расспрашивать, какая же эта кошечка и откуда?

— У тебя кошка? — удивилась жена, — Что же раньше молчал?

Семён скромно пожал плечами: никто не спрашивал, и стал рассказывать, как котёнком взял Машку у матери, как она после долгого запрета вырвалась в окно, как её долго искал, а нашёл на остановке...

— ...Сидит, значит, за остановкой, на том самом месте, где я каждое утро поджидаю рабочий автобус. Увидела, и ко мне сразу... Поначалу я и не подумал: ведь два дня только её не было... но живот то растёт... А неделю назад окотилась моя Машка, пятерых принесла...

Дети в восхищении от услышанного захлопали в ладоши и потянули отца:

— Папа, пойдем, посмотрим...

Семён решительно посмотрел на Ирину. Та немного помялась и стала собираться:

— А что, пойдем, посмотрим, как ты там поживаешь...

Придя к Семену, дети сразу прильнули к котятам, которые только что прозрели и могли перемещаться.

— И что ты будешь с ними делать? — поинтересовалась жена.

— Раздам. Двоих котиков уже мать забирает знакомым... Да и на работе спрашивали...

Дети будто подслушали разговор родителей:

— Папа, а ты нам подаришь? На Новый Год, двух.

— Подарю, конечно, подарю. Если только мама...

Ирина задумалась и отошла к окну, явно предлагая Семёну отдельный разговор:

– Изменился ты. Странный какой-то стал...

– Думать стал. Вот, как Машка окотилась, так только о вас и думаю. Ради чего живу? Зачем всё это? Прости меня, давай всё вернём.

– После всего? – холодно отвечала она, – Ведь больше года уже вот так, каждый сам по себе.

– Ну и что, забудем всё. Ради всего. Ради наших девочек...

Семён в это время казался решительным, говорил настойчиво, и она поддалась:

– Хорошо. Я подумаю, – она взглянула на котят, на детей, улыбнулась, – Да, странный ты стал. Совсем другой. Приходи к нам на Новый Год...

ШУРКА

Сергей Кондрухин упал, упал в том смысле, что стал пить и пить крепко — так, что все вокруг качалось. Поначалу выпивал только со своими мужиками после работы, даже жена не замечала, а когда заметила, собралась и ушла. Тогда он стал пить по настоящему, со всеми. Работать уже не мог. Да что там работать, лень себя обуть было, так и шлепал по лужам в стоптанных, не зашнурованных туфлях на босу ногу. Ночевал там, где находилось выпить, домойозвращался, когда оставалось только крикнуть, чтобы услышать собственное эхо. Бывало просветление, в то время Сергей как бы понимал, что живет прескверно, падает в яму, но удержаться не может.

Однажды утром, с великого похмелья, Сергей присел у дома на лавочку. Весеннее солнце подогревало землю. Пахло свежестью молодого листа. Он прикрыл глаза, и с тоскою в сердце вспоминал трезвое время. Неожиданно, на плечо приземлился воробей, наглый, взъерошенный. Он быстро слетел на тротуар и стал весело купаться в отстоявшейся луже. «Жизнь прекрасна, — заметил Сергей, — даже это существо знает чувство радости».

В это время в груди зажгло, будто в жилы влили, смертельную дозу кислоты... Сергей перетерпел и уже подумал встать, начать свое обычное передвижение на улицу Мира, где размещалось немало пивных точек, но тут увидел соседа; Борис смотрел на Сергея усталым и в тоже время сочувствующим взглядом.

— Горит? — спросил он.

— Горит... — безнадежно вздохнул Сергей, опустил глаза и увидел у ног соседа собачонку, маленькую, лохматую, белую болонку по кличке Шурка. Шурка осторожно теребил штанину хозяина и покусывал, будто что-то просил. Борис отдернул штанину, мрачно сознался:

— И у меня горит. Ох, как жжет. Сейчас тушить будем... — он повернулся к дому и крикнул:

— Семка!... Сем, ты, где там?...

На втором этаже скоро открылось окно, и появилась белобрысая голова Семки. Еще не проснувшись голосом спросил:

— Брательник, ты что хотел?

— Бери канистру и бегом на Мира. Оттуда уже несут... — распорядился старший брат и позвал Сергея к себе.

Борису около тридцати лет, но до сих пор не женат, живет с матерью и братишкой. Тетя Тамара, мать Бориса приехала в город из деревни. Мужа никогда не имела, вскормила и воспитала сыновей

одна, как смогла, и, вероятно, с великим трудом, поэтому бывает часто крикливой и скандальной. Тетю Тамару лучше избегать, и когдаБорис позвал Сергея в гости, тот поинтересовался:

– Мать дома?

– В деревню, к родным поехала...

Пришли к Борису. В комнате стоял стол, заставленный пустыми бутылками, стулья и огромный диван, на котором был беспорядок, а лежать можно – вдоль и поперёк. Внимание Сергея привлекли иконы, их было много, они занимали полностью стену над диваном, и изображали святых разных времен. Спрашивать, почему в доме так много икон и что это – коллекция или выражение души, Сергей не стал, но понял, образы влияют на Бориса особенно. Он носит длинную прическу на прямой пробор, вытянутое лицо заросло густой щетиной, в глазах живут печаль и радость одновременно. Борис убрал с окна штору, и в комнату влилось солнце, иконы словно ожили, зажглись.

– Погода сегодня божественная: небо светлое, солнце теплое, воздух сытный, благодать, – говорил он, глядя задумчиво за окно. – Эх, влюбиться бы! Да сатана не дает, вот здесь сидит, – похлопал по груди, – заливаю каждый день, а он такой ненасытный, все просит и просит... – неожиданно оглянулся на Сергея и спросил: – А тебе, дурак старый, чего не хватает? Зачем жену с сыном выгнал? Неужели так силен в тебе сатана?

Скорее всего, слова о сатане были сказаны для собственных размышлений, но, в общем, его речь Сергея сильно зацепила: во-первых, он не был стариком, может лет на пять его старше, во-вторых, никого не выгонял, сами ушли; хотел поспорить, но в это время вернулся Семка, принес канистру с пивом.

Семке восемнадцать лет, готовиться в армию, а пока занимает место послушника при старшем брате и подражает ему во всем. Поставив канистру на стол, он присел на край дивана в ожидании нового распоряжения.

– На-а-ливай! – весело объявил Борис и Семка взялся за канистру.

В это время Сергей увидел, как Шурка, до сих пор смирно лежащий на пороге, вдруг вскочил и беспокойно засуетился, а когда Борис взялся за бокал с пивом, он заскочил к нему на колени и стал горячо лизать ему руки, лицо.

– Он что, пиво просит? – удивился Сергей.

– Наоборот, хочет, чтобы я не пил, – отвечал Борис, ссаживая собаку. – Не беспокойся, дружище, я малость. Понимаешь, горит здесь. Вот потушу и успокоюсь...

Тушили долго. Семка опять был послан на улицу Мира. По мере того, как пьянял Борис, Шурка делался крайне озабоченным и не

находил себе место. А когда Сергей собрался уходить, был уже вечер. Борис лежал без чувств, распластавшись на диване, а Шурка расположился у него под боком, положив на грудь хозяина голову и, казалось, прислушивался к каждому вздоху, его желто-зеленые глаза были усталыми.

Вернувшись домой, Сергей долго не мог уснуть. Даже протрезвел, думая про Шурку: «Как это – неразумная тварь может так разумно волноваться, переживать, как не сумеет даже некоторый человек, способна любить». Память сохраняла желто-зеленые глаза, глаза озабоченные, глаза тревожные, глаза, обращенные к своему другу, к человеку.

На следующий день Сергей решил не пить, завязать, проспаться и пойти за женой. Но уже с утра в квартиру настойчиво звонили. Открыв дверь, увидел Бориса.

– Пожар, сосед. Сгораю... – говорил он страдальчески, тер грудь, а у ног сидел Шурка, беспокойно выжидал, – Помоги. Может, ты у кого зайдешь, мне не дают.

Глядя на мученический вид соседа, Сергей сам стал загораться, он быстро обежал знакомых, занял денег и купил поллитровку.

Только он вошел к Борису, как тут же, к нему навстречу, выскочил Шурка, и очевидно было, что он обо всем знает, хотя Сергей руку с бутылкой держал за спиной. Шурка преградил путь рычанием и несколько раз предупредительно хватил клыками тапок Сергея. Тот остолбенел.

Этот случай также произвел на Сергея необычное впечатление, но только в той степени, чтобы удивиться, и держаться подальше от собаки.

Соседи распивали водку. Борис опять любовался солнцем, небом. Затем обратился к Сергею с искренней завистью, что у него есть сын, есть жена, а значит, есть кого любить. Сергею стало тошно. Он со злостью разлил по стаканам водку, стал придумывать тост и вдруг вспомнил:

– Так у меня же в этот выходной – День рождения!

Братья выразили радость, досрочно поздравили, выпили, и решили по этому поводу собраться обязательно на природе.

– Поедем ко мне на дачу, – предложил Сергей, – Там лес, и солнце еще чище, а воздух...

Выходной день выдался на славу – тёплый, светлый, майское солнце с особой нежностью обливало землю лучами, в эти лучи, словно в девичьи косы, вплетался мягкий, шелковый ветерок. Хотелось дышать полной грудью, хотелось любить.

Но здесь надо откровенно признаться, что до праздничного дня соседи успешно тушили свое внутреннее горение, заливали все раз-

личным пойлом, а поэтому сознание было притуплено, и они не замечали всех прелестей нового дня. С утра, похмелившись, они прибыли на остановку.

Остановка оказалась переполнена народом. Каждый торопился убежать от городской суеты, побывать свободным, забыться и повалиться на цветущем ковре леса. И чтобы попасть в троллейбус, нужно было приложить массу усилий. Борис и Сергей были налегке, зато у Семке на спине висел рюкзак, набитый бутылками с пивом и водкой, а у ног сутился Шурка, который, казалось, больше всех желал покинуть город.

После двух неудачных попыток Борису пришлось взять на руки Шурку, и только после этого они втиснулись в подошедший троллейбус. Сразу начались сплошные неудобства, люди возмущались, и сами же толкались, грызлись, пинали Шурку, который уже не знал куда забиться.

— Сзади пустой троллейбус, — сообщил Семка, тыча пальцем в окно.

И действительно, следом шел троллейбус с несколькими пассажирами. Друзья, не раздумывая, нас остановке перебежали в него, с облегчением расположились на свободных местах и только потом поняли: чего-то не хватает. А не хватало рюкзака с «праздничным столом», он продолжал ехать в первом троллейбусе, втиснутый между поручнем и задним стеклом. Начали метаться, не зная, что предпринять. Семка, ответственный за рюкзак, намереваясь исправить ошибку, приготовился выскочить на остановку, и перебежать назад, но его вовремя остановил Борис:

— Не дергайся, все равно не успеешь. Сергей, в свою очередь, объяснил водителю трагическую ситуацию и вежливо попросил привлечь скорость.

Друзья сгрудились у кабины водителя, с напряжением наблюдая за погоней троллейбуса и за рюкзаком, который смутно маячил вдалеке. Наконец, троллейбусы сошлись, и они вернулись к своей цели.

На этом переживания не кончились. Тут обнаружилось, что нет Шурки, он отстал на остановке, и все видели, как собачонка металась растерянно по дороге. Казалось, будто кто-то умышленно чинит препятствия, пытается испортить праздник и посыпает все новые и новые неприятности. Этот кто-то был невидим, но присутствие его было очевидным: он туманил сознание, торопил, делал всех беспашающими и злыми.

— Ты что, охренел, — набросился Борис на брата, — Почему он там? Ты куда смотрел?

— На рюкзак, — только и мог вымолвить Семка.

Распоряжение Бориса младшему брату, чтобы тот вернулся за Шуркой, показалось странным и нелогичным. А после того, как Сем-

ка сошел на остановке, Борис не на шутку встревожился, вглядываясь в дорогу.

— По-моему, там случилась беда, — сказал он глухо, и обреченно закрыл лицо руками.

Сергей, до этого молча наблюдавший, вдруг ощутил внутреннее беспокойство, что в народе называют плохим предчувствием.

— Дурно мне что-то. Давай выйдем. Мы почти приехали, — предложил он.

Они сошли на остановке. К ним подкатил жигуленок. Вышел Семка.

— Извини, денег нет, — сказал он, всхлипывая, водителю. У него на руках был окровавленный Шурка. Семка с трудом сдерживал слезы, и из его речи понять можно было одно: — Мотоцикл... Люлькой...

Шурку положили на траву. Он еще дышал, но надрывно хрюпал и вздрагивал. Потом начались судороги, и он оскалился.

Борис мутными глазами уставился на вытянутое тело собаки, склонился, стал гладить, теребить шерсть, затем осторожно потянул, разговаривая отрешенным голосом:

— Шурка, ну ты что... Зачем ты это, дружище...

Семка отвернулся и тихо плакал. Сергей стоял рядом и думал: «Вот, только что, был и уже нет, и уже не смотрят его желто-зеленые глаза... Почему так? И почему сегодня?»

Сразу за дорогой — дачные участки, а еще дальше — лес.

Решили похоронить Шурку в лесу. Пришли на дачу Сергея; шли молча, казалось, каждый решал тяжёлую мысль, и эта мысль была одна на всех. Борис шел впереди, он завернул Шурку в ветровку и нес его, как дитя, нес с достоинством, только иногда задерживал шаг, интересуясь:

— На даче инструмент есть?... А доски есть?...

Дойдя до места, он сразу взялся за ножовку.

— Когда-то плотничал. Вот и пригодилось, — говорил он больше для себя, а Сергей, чтобы развеять обстановку, разливал по стаканам водку, и старался делать это празднично, но пили безмолвно, пили за упокой; Борис что-то шептал и крестился. Вскоре в его руках все увидели деревянный, струганный, ровно сколоченный крест.

— Крест?! А зачем он собаке? — удивился Сергей.

Борис туманно посмотрел на соседа, призадумался, ответил:

— Для себя сделал. Это мой крест.

Он подошел к Шурке, снял ошейник, и прибил его к кресту.

Место могилы выбрали между двумя березами. Шурку, завернутого в дачное тряпье, опустили в ямку, забросали землей. Пока Борис устанавливал крест, Семка пробежался по лесу и принес цветы.

— Вот и все...

Минул год. Семку призвали в армию. Борис, после долгих размышлений, ушел в монастырь послушником. А Сергей бросил пить, и к нему вернулась жена.

Сегодня день его рождения. С семьей приехали на дачу. Сергей позвал всех в лес.

– Что это, могилка? – первым увидел сын.

Подошли. Сергей собрал лесные цветы, положил их на заросший холмик и стал рассказывать:

– Шурка его звали, белая болонка. Глаза желто-зеленые... Он так любил...

ПОБЕГ

1

Эту историю я переписываю по памяти из жизни. Случилось это давно... или не так давно — неважно. Важно, что вся история, как один день — первый и последний, значительный и самый яркий...

Был зимний день. На вокзале, а точнее, за вокзалом в снегу лежал молодой мужчина. Место там нелюдное, но те люди, которые иногда появлялись, проходили мимо. Одни проходили мимо, потому что не видели в снегу замерзающего мужчину, другие видели, но понимали это так: напился мужик, надрался так, что ноги не держат, теперь возись здесь с ним...

А он так и лежал в снегу, иногда поднимал голову, пытался что-то сказать, а может крикнуть, но голос срывался, и голова опять падала в снег. И еще там — в снегу — была кровь, но эту кровь никто не видел, погода была снежная, вьюжная.

Но вот появилась там одна старушонка, подошла к нему, опираясь на крючковатый костыль, и посочувствовала:

— Замерзнешь, сынок, вставай...

В ответ хрюп, тяжелый стон.

Она встревожилась, сердце подсказывало: тут что-то не так. Склонила голову и увидала впитавшуюся в снег кровь, стала созывать народ.

Собрались люди — кто для помощи, кто из любопытства. Те, что для помощи, подняли мужчину, обследовали и обнаружили в спине рану, а рядом нашли окровавленный нож.

Не смотря на опасную рану, из которой сочилась кровь, мужчина подавал признаки жизни и пытался что-то сказать; судя по его страданию, он хотел сказать что-то важное, может, даже последнее, но он был как в бреду и говорил несвязанно.

Все та же старушка подставляла ух к его шепоту и просила: “Ну же, говори... Говори громче...” Потом она его поняла и всем объяснила:

— Он просит, говорит: дай мне... дай...

— Наверное, помочь просит, — подумали люди.

Вскоре на это место приехали милиция и врачи, погрузили мужчину в машину и увезли. Врачи взялись за свое дело, а дежурный следователь стал составлять протокол происшедшего. К сожалению, у пострадавшего не оказалось никаких личных документов, и данные о нем были скучными: на вид 25-30 лет. Рост выше среднего. Худого телосложения. Короткая стрижка. Есть татуировки: на левой кисти — “Никита”, на груди — “Крест с распятием”...

Следователь приехал в отдел милиции и доложил обо всем начальнику, майору Храпову, который в это время занимался новеньkim компьютером.

— Говоришь, тюремная разборка? — переспросил майор, не желая отрываться от экрана.

— Несомненно. Там и люди с вокзала слышали, как он в бреду просил: “Дай мне время...” Похоже, просил оттянуть долг...

— Личность?

— Документов нет. Вот, внешние данные... — следователь перечитал свои записи.

— Крест?! Никита?! — майор вскочил с кресла. — Так это же — Мольков! Еще весной с тюрьмы сбежал... Вот где всплыли... — он самолично перечитал протокол и задумался. — Говоришь, разборка? Да нет, не похоже, тут что-то не так, здесь разобраться нужно... Едем срочно к нему. И охрану туда. А то ведь он и без ног от нас улизнет...

Никита открыл глаза и успел увидеть светлый больничный потолок. Потом он почувствовал пронизывающую боль, которая то нарастала, то успокаивалась, и по своему желанию перемещалась в теле... Успел услышать чей-то голос — глухой и требовательный. Попытался повернуть к нему голову, но голова не послушалась. Появилась тяжесть. Закрыл глаза, и сразу провалился в иное пространство — глубокое и безграничное. Здесь Никита увидел себя: он видел себя из далекого прошлого, будто смотрелся в старое зеркало...

2

Жизнь Никиты Молькова началась в шахтерском поселке Рудный. Старая шахта находится на взгорье, состоит она из громоздких каменных построек, облепленных повседневным слоем пыли. Высоко над крышами висит механическое колесо гигантских размеров — это копер: колесо прочно закреплено на металлических столбах и всегда в работе — на тросах неутомимо движутся вагонетки, наполненные породой, ее уже горы. Рядом — цех обогатительной фабрики. Сюда доставляют только нужное человеку — олово, медь, цинк, свинец, — все тщательно промывается и увозится. Использованная вода, насыщенная едкой грязью, сливается тут же — в дамбу, образуя непомерное озеро.

От шахты в поселок спускается укатанная дорога из щебня. Первые дома в поселке строились еще до войны. В них жили шахтеры-заключенные, которые испытывали своим здоровьем вредность шахты. Дома стояли за колючей проволокой, а на работу шахтеров водили по “коридору”, охраняемому собаками. Потом заключенных

перевели а испытание новой шахты, а в поселке, уже в послевоенное время, стали селиться шахтеры по собственной воле...

Николай Мольков пришел в шахту по собственной воле, и стал работать взрывником. И жена его, Нина, работал ту пору в шахте: она вела транспортировку шахтеров под землей.

Семья Мольковых — шахтерская семья. Недавно отпраздновали новоселье. Дом выстроили шлакобетонный: три комнаты, кухня, веранда, кладовка. Да что там говорить — целый дворец после трехлетнего скитания по чужим квартирам.

У Мольковых растет двухлетняя дочь, Ирочка. Теперь Николай в ожидании сына. Он бережно обнимает жену, которая вот-вот должна разродиться.

— Наш сын родится в собственном доме! — радуется он.

— А вдруг не сын так что, не взлюбишь? — сомневается Нина.

— Сын, сын будет, — твердит Николай, будто другого ответа не знает. — Ты ведь тоже сынка хочешь — значит, по-другому и быть не может...

А вечером, когда Нина входила в комнату, он устроил проверку.

— Покажи руки...

От неожиданности Нина вздрогнула, вытянув растерянно перед мужем руки — ладонями вниз.

— Ну вот, это уже точно, сын! — одобрил Николай...

На одной улице с Мольковыми жил юродивый по имени Митюша. Этот Митюша был поистине от Бога, он предсказывал непогоду, предсказывал, хотя сам говорить толком не умел.

В зиму, предчувствуя своей тонкой душой надвигающуюся метель, он влезал на крышу сарая и разбрасывал по сторонам снег. Привлекая людей, Митюша подпрыгивал, крутился, рычал и вопил трубным басом так, будто сам стал метелью. В ту же ночь на поселок обрушился снежный ураган, вихрем носился по улочкам и долго не оставлял в покое, расшатывая шахтерские дома. А летом Митюша разжег во дворе костер и стал выбрасывать на дорогу к ногам прохожих угли — предвещал засуху. Не все поселковые этому верили, и не каждый понимал душевную тревогу юродивого, чаще всего люди бесились при встрече с ним и жаловались его родителям. Но Митюша не мог жить по-другому, и в нужное время “говорил” людям о непогоде, и был частью ее...

Предчувствие, или больше чем предчувствие не обмануло Митюшу и в этот весенний день, когда мимо его двора проходила Молькова Нина с тяжелым животом. Увидев ее, он схватил шланг, открыл воду и стал лить на дорогу.

— Зачем шалишь? — остановилась Нина, смахивая с лица капли воды. — Ты что-то от меня хочешь?

В ответ он только усилил шалости, поливая водой по штакетнику, рядом с Ниной — пугал ее. Потом он бросил шланг и стал махать руками — так обычно направляют в нужную сторону нагулявшихся уток.

— Куда ты меня сопровоживаешь? — пыталась она понять.

Митюша что-то выкрикнул, и по его голосу Нина определила тревогу, домой вернулась с беспокойным чувством, обо всем рассказала мужу.

— Неспокойно мне. Не случайно он меня облил и куда-то гнал... Может, мне пора?

— Угомонись, не волнуй свой живот раньше времени, — говорил Николай. — И не думай об этом полудурке. Метет, сам не знает что... Приляг лучше и отдохни.

Нина сомнительно посмотрела на небо, но небо было чистое...

3

Поздно вечером поднялся ветер, гнул деревья, дергал ставни, на окраине поселка бешено закружился, обнявшись с пылью. Заморосило, и ветер на шаг отступил. Дождь стал набирать силу.

— Вот и благо — пусть землю промочит — урожай будет... — порадовались люди.

Небо быстро затянулось, окунув поселок в темень, и только иногда сверху прорывались огненные молнии, озаряя притихшие домики. Дождь переходил в ливень.

Николай пошел затворить на ночь дверь, и вдруг увидел, что в прихожке капает вода, расстроился:

— Вот тебе и новый дом.

Он встал на табурет, и только дотронулся до худого места в потолке, как вода пошла еще больше, выругался:

— Черт... Ни раньше, ни позже...

Подставил ведро.

В это время Нина уложила в кроватку дочь, стала готовить свою постель, но тут в теле появилась резкая боль, она тихо охнула, боль надавила сильнее и перешла в живот. Нина почувствовала нужду, и скорее к двери.

— Куда ж ты — голая, под дождь, — остановил на пороге Николай.

— Схватило... Невтерпеж, — у нее подкосились ноги.

Николай засуетился, принес плащ, укрыл жену и повел по двору к уборной. Затем ожидал в стайке, забнул от дождя и высоловился поминутно, чтобы увидеть небо, которое так и не думало просыхать.

— Надо же так, ни раньше, ни позже...

А когда вернулись в дом, Николай по виду определил всю женскую тяжесть и понял, что это уже скоро, не на шутку забеспокоился. Он опять выскочил во двор, взглянул на дорогу, но ничего не увидел, дождь убийно хлестал по лицу, а остальное — темень, хоть глаз коли. Нервно решал: “До больницы не доведу — на другом краю поселка... Надо б женщину, в помошь...” С трудом прошел по размытой дороге к ближайшему дому, постучал. Там включили и опять погасили свет, в окно выглянули напуганные глаза, но не узнали: “Поди прочь. Черти носят в такую погоду”.

Под свинцовым светом луны он действительно выглядел ужасно: мокрый с головы до ног, волос слисся на лице, а обращенный к людям голос смешивался с рокочущим громом и напоминал грозный рев, нежели зов о помощи. Николай подошел к следующему дому, но и там его погнали. Вернулся к жене ни с чем, подавленный и взволнованный.

— Как ты? Что будем делать?.. Сможешь до больницы?..

— Нет... Да и не надо, мне полегчало, помолилась, вот и полегчало. Мы бабы все такие, чуть что, сразу в панику, — утешала Нина мужа и себя. — Ничего, это еще не время, я смогу. Он поможет, — она дотронулась до нагрудного крестика, прикрыла глаза и зашептала...

Николаю это уже не нравилось, он этого не понимал, стал нервничать:

— Нет, нужно что-то делать. Я иду в больницу за помощью. Ты без меня сможешь?

— Не уходи, — остановила Нина. — Одну не оставляй. Дай руку.

Николай бы в растерянности, он понимал, что сам в женском деле не справится, и нужно искать постороннюю помошь, а не сидеть сложа руки, но и не мог сейчас ослушаться жену, покорно присел на кровать, положив свою ладонь на ее бледную горячую руку.

— Да, прав был Миоша, а я-то, дура, подумала — шалит, — тихо говорила Нина, но говорила это не для мужа, а для себя, для своих размышлений.

Николай сидел рядом и обреченно слушал неугомонный шум дождя, который вдруг обрушился на их новый дом, держит в своем плену и не думает уходить...

...Нине послышались шаги.

— Кто там?

— Выдумываешь, — отмахнулся Николай, начиная дремать.

— Да нет, точно, на чердаке кто-то.

Николай прислушался и что-то услышал, подумал — может, голуби, но нет, голуби так не могут, там — человеческое... Чтобы не думать о непонятном, решил пойти проверить слабое место в прихожке — наверное, натекло.

Только он открыл дверь, как где-то совсем рядом пророкотал гром, тяжелым эхом ударился о землю, содрогая воздух, и рассыпался. В небе заметались молнии, обливая мокрую землю серебром. Все разом стихло. Остановился дождь, и слышно было, как с крыши стекает вода. А там, дальше, где-то за поселком, уходил гром, ударяясь о землю, но уже не так страшно. В последний раз сверкнула молния, озарив на мгновенье темный коридор. Николай от неожиданности вздрогнул: перед ним стояла маленькая горбатая старушонка и, не замечая его, упирала своей корявой тростью в худое место потолка — так, будто надумала чинить его. “Кто ж такая? Откуда свалилась?” — удивлялся Николай, рассматривая странную старуху. Вся ее ветошь, черная и до пят, смешивалась с темнотой коридора, а старческое в глубоких морщинах лицо казалось неправдоподобно белым. “Ерунда какая — все лицо будто мелом обрисовано...” Он сомнением покосился на входную дверь — крючок — странно, взглянул на одежду старухи — суха — растерялся еще больше, для успокоения придумал себе ответ: “Крючок сам забыл накинуть, вот она и вошла свободно, и за собой закрылась... А в узелке, должно быть, накидка имеется, вот и спаслась от дождя...”

Оставив потолок, старуха приветствовала:

— Здравствуй, хозяин.

Вместе с голосом в нос Николаю ударило свежим запахом голубиного помета. Он ничего не понял, и только немо кивнул головой на приветствие старухи.

Из комнаты донесся стон, и старуха решительно отстранила с порога онемевшего Николая.

— Пусти к роженице, да не будь помехой. Лучше водицы побольше накипяти, — распорядилась она так, будто сразу знала, зачем сюда пришла.

А Нина мучилась, что-то было в ней не так, что-то мешало. Увидев рядом гостью, доверчиво затихла, понимая, что к ней пришла помощь.

— Торопится твой сынок. Ох и нетерпеливец будет, — говорила она, пристально глядываясь в лицо Нины. А про себя старуха думала: “Бедняжка, всю жизнь маяться будет”. — Вижу, желтый недуг в тебе сидит. Горишь вся. Но ничего, дочка, боль твою мы сейчас изгоним.

Она попросила миску с водой, что-то достала из своего узелка. Николай засомневался. Она это заметила и приказала:

— Оставь нас, пока не призову...

Николай вышел во двор, не выдержал, закурил. Курил он редко, только при слабом руководстве чувств, и тогда теплый табачный дым обволакивал ум безразличием. Но сегодня дым был слабее

Николая, и он курил уже вторую сигарету, курил, и напряженно решал свои мысли...

С листьев клена срывались на землю капли ушедшего дождя, чистое ночное небо светилось яркими звездами, которые теперь стали чище и ближе, а по мокрой земле ручилась избыточная вода и искарилась под лунным светом.

Николай докурил и, поразмыслив, решил тут же идти в больницу: не доверял он посторонним людям, когда есть медицина. Но старуха опередила, сама вышла на крыльцо.

— Возьми, — она сунула Николаю миску, в которой сквозь прозрачную жидкость просматривался предмет с изрыхленной формой. — Это желтый недуг. Снеси его подальше от порога и брось в темноту. Да смотри, лишнего не любопытничай...

Старуха говорила тихим, мерным голосом, но Николаю не нравился ее тон, получалось, что она бесцеремонно управляла им, будто держала за невидимые узды, и Николай, как послушный конь, вышел за калитку с миской в руке.

Он хотел уйти как можно дальше от дома, миска вызывала отвращение, ему казалось, что эта желтая боль возьмет да и придет назад. Почти на ощупь пошел вдоль забора, ноги взяли в грязи, одной рукой держался за штакетник, в другой руке, с бережной неприязнью, нес миску, думая о ней: “Желтая боль? Разве у боли есть цвет?..” Остановился на окраине, за последним двором, и вдруг захотелось проверить, ткнуть пальцем в желтый призрак, который вышел из тела его жены, и его сейчас не станет — уж очень все просто, подозрительно. “Смотри, не любопытничай...” — вспомнил запрет старухи и, не глядя, швырнул миску в темноту...

Кончалась ночь. Небо наполнялось нежным светом весеннего утра. Николай торопился домой, с беспокойством думая о жене: разродилась ли? Сомнением думал о ночной старухе: кто она? А что если она нарочно придумала желтую боль, чтобы увести его из дома...

Когда ступил на порог, то замер. Замер от того глубокого спокойствия, которым был охвачен дом: тикали настенные часы, доносилось тихое посапывание. Никто не стонет? Никто не плачет? Пронесли в комнату.

— Вернулся. Почему так долго? — встретила его жена. Она была в постели, а рядом с ней лежал запеленанный младенец с розовым, сморщенным лицом, он спал и шевелил губами.

Нина улыбалась и выглядела так, будто в эту ночь она мирно спала: не было для нее никакого дождя, не было миски с желтой болью, не было загадочной старухи. Николаю не верилось.

— А старуха?

— Пришла и ушла. Это бабушка Дай-На, она приходит, когда человек просит, — объяснила Нина, и добавила, не скрывая радость. — У нас сын. Ты рад?!

Он не ответил, а осторожно подошел к кровати и долго смотрел. Да, отец был рад появлению сына, но он не умел радоваться как все, так, чтобы это видели, его радость другая — одинокая, тихая, скрытая. Николай смотрел на сына и начинал верить, что это не сон, это жизнь, взглянул на свои грязные ноги, и опять испытал тяжесть ушедшей ночи...

4

Так совпало, что каждый год в день своего рождения Никита Мольков мог видеть советских пионеров, шествующих по улице под жуткий шум барабанов с песней: “Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры — дети рабочих...” Они проходили по всему поселку и уходили в пустое поле.

— А кто они — эти пионеры? — интересовался маленький Никита у матери.

— Они школьники, дети рабочих... У них такая организация, вроде собственной религии, — мать пыталась доходчивее объяснить сыну роль пионерии в жизни, но у нее это не получалось. А Никита все спрашивал:

— Мы тоже рабочие?

— Рабочие...

— И я буду пионером?

— Да, сынок, будешь — когда в школу пойдешь...

Никита с детской завистью смотрел вслед удаляющейся пионерии, смотрел мечтательно и, наверное, видел себя с ними.

— А куда они ушли?

— В поле. Они там свой костер будут сжигать.

— Вот здорово! — Никита искренне радовался за пионеров, которые так отважно ушли из поселка, в поле, и там безнаказуемо будут сжигать свой костер...

В ту пору Никите шел третий год, и в этот год в его жизни появился первый друг. Мальчика звали Вова. Отец Вовы работал в шахте с Николаем Мольковым, а после работы, в выходные дни, шахтеры устраивали застолье вместе с женами. Пока родители гуляли, дети отдавались играм. В особенности они любили воевать. В их ведении был огромный двор, в котором у каждого воина имелась тайная засада, были еще закрытые границы и прочие военные объекты. Вова и Никита бились меж собой не на жизнь, а на смерть. Ира была у них общим врачом.

— Никитка, давай подлечу, — говорила Ира брату, делая ему на руке предполагаемую перевязку. — Смотри, могу больше не спасти. Лучше сам сдавайся. Вова все равно сильней.

Мальчики были одного года, но Вова опережал Никиту, был стремительнее и безжалостнее. Никита оказывался чаще убитым, но все-таки упорствовал, не сдавался, тайно завидуя своему ловкому другу.

Еще Никита завидовал другу, когда тот мчался на мотоцикле со своим отцом: Вова крепко обхватывал металлический бак и визжал от восторга. Потом от него приятно пахло бензином.

Однажды дети остались в доме одни. Дом Вовы стоял на улице первым, окнами в поле. Отходила осень. Дети смотрели через окно в поле, тоскливо наблюдая падение первого снега.

— Теперь пионеры не смогут зажечь свой костер, — заметил Вова и стал мечтать вслух. — Скорей бы в школу, в пионерию, там галстук дадут, барабан и спички...

Никита поддержал:

— И я в пионерию пойду. Сам костры буду поджигать.

Вдруг Вова предложил:

— А что нам ждать. Давай свой огонь устроим — самолетную войну. Я уже так делал.

Он поставил табурет к электрической плитке, которая стояла на кухонном столе, ловко вскарабкался, включил ее, подпалил бумажный самолет и пустил его в пространство дома, возбуждаясь от падающего вниз огня.

— Фашистский самолет горит!

За другом последовал Никита: влез на табурет, поджег самолет и запустил его в потолок.

— А ты что стоишь? — звали мальчики Иру.

Она стояла в стороне и испуганно смотрела, как над головой рушатся от огня бумажные самолеты, падают на пол и там догорают, заполняя дом едким дымом.

— Что вы делаете, мальчишки? Это ведь страшно, — пыталась она остановить, но друзья ее не слышали, они вошли в азарт, сменяясь у раскаленной плиты. По дому летала огненная эскадрилья...

Вдруг Вова закричал — на нем горела рубаха, а он испуганно крутился на месте, бил руками по себе, как бьют по пчелам, которые налетели на человека и больно жалят, но огонь только пуще разгорался. Тогда, весь охваченный пламенем, с безумными глазами, Вова метнулся к другу, будто там было его спасение, а Никита в страхе бросился вглубь дома и забился под кровать.

Отец Вовы в это время занимался во дворе мотоциклом. Рев мотоцикла заглушал другие звуки, и даже когда на крыльце выскочила Ира и закричала: “Вова горит”, — он не сразу ее услышал.

Страшная весть о гибели двухлетнего Вовы мигом облетела народ. Хоронили его всем поселком. Хмурый, почерневший от скорби отец нес на груди своей маленький, обшитый красным сукном гробик, как огромный тяжелый крест. Мать Вовы превратилась в жалкую старушку: ее горе было таким великим, что на него не хватало слез. Рядом шли Мольковы — мрачные и задумчивые.

Возле взрослых крутился Никита, он то и дело забегал вперед, шел рядом с Вовиным отцом, недоверчиво косился на красный ящик, в котором зачем-то спрятался его друг, думал об этом спросить людей, но слов не находил, тогда хотелось схватить его отца и остановить...

Никита не понимал, что вокруг происходит, он даже не плакал, он только чувствовал, что теперь он остался один, его друга куда-то уносят — наверное, его “по правде” сожгли вражеские самолеты...

А ночью Никита опять увидел Вовин огонь — за ним гнались бушующее пламя, и он стал спасаться...

Мать поймала сына в коридоре, он бился в страхе и хотел выбраться на улицу.

5

С потерей друга Никита стал злобным по отношению к сестре, которая ни в чем не могла заменить Вову.

— Вот девчонка, ничего не может, — ухмылялся он во время игры в прятки. Он всегда таился в темной стайке, за огромной кучей угля, и оттуда наблюдал, как Ира боязливо ходит возле и не решается подойти ближе, а он нарочно отпугивал ее, производя подозрительные шорохи.

— Все, Никитка, я сдаюсь...

Но он продолжает сидеть в черном углу, наслаждаясь, как девчонка переживает и мучается.

— Ну, выходи же, ты где? — у Иры сдают нервы, и она бежит к матери, со слезами сообщает:

— Его нигде нет... Так спрятался, что сам потерялся.

Потом мать отчитывала сына, что он плохо относится к сестре, пугает ее и не жалеет.

— Скучно с ней. Хоть и старше, а ничего не может. Не буду больше с ней играть...

Вскоре Никита пошел в детский сад, но и в нем он разочаровался: исследовав с новыми друзьями все дозволенные и недозволенные углы, он быстро потерял интерес и стал испытывать томление. Особенно не понравился сончас.

— Не буду спать. Мешает солнце, — протестовал он.

— Ляжь на другой бок — где нет солнца, — советовала няня.

— На том боку у меня сердце лежит, а на сердце спать нельзя.

— Тогда затяни глаза полотенцем или залезь с головой под подушку.

— Под подушкой задохнусь...

Няня стала нервничать и, не зная, как усыпить настырного мальчишку, пригрозила:

— Не будешь спать, как все детки, родителям твоим скажу...

На соседней койке лежала девочка и тоже не могла уснуть.

— А давай притворимся, будто спим, а потом и поправде заснем, — предложила она и зажмурила глаза.

Никита тоже стал притворяться, но у него ничего не получалось, в голову лезли всякие детские мысли, а руки и ноги сами двигались. И тогда, выбрав момент, когда няня отлучилась, он украдкой вышел во двор, перелез через забор и ощущил простор.

На пути встретились старшие ребята, уже школьники, и Никита позавидовал: они с удочками уходили из поселка к реке.

— Эй, салага, что, сбежал? — заметил Никита один из них.

— Сбежал. А тебе что... — насторожился Никита, но школьник дружески хлопнул его по плечу и позвал:

— Пойдем с нами. Там тебя не найдут. На, помогай, — он доверил беглецу нести свою удочку и банку с червями.

Взяв в руки настоящую удочку, Никита ощущил себя выше, шагал в ногу со всеми и на равных вел разговор.

— А зачем сбежал?

— Уснуть не смог...

— Притворился бы.

— Пробовал. Девчонка смогла, а я нет. Скучное это дело.

— А как поймают, что скажешь?

— Так и скажу: на реку ходил, рыбу ловил — это лучше, чем притворяться.

Спустились к реке. Рыбаки, каждый со своей удочкой, устроились на берегу, а Никита остался не у дел. Он мечтательно смотрел на реку и всяко представлял подводное передвижение рыбы, тайно охотившейся за земляным червем. Потом он увидел, как с неба слетела большая птица и в клюве утащила рыбу из рыбакской банки. Никита призадумался и обнаружил жизненно важную связь между птицей, рыбой, земляным червем...

Рыбаки продолжали рыбачить, а Никита начинал скучать, и ему уже не нравилось, что река с рыбой, небо с птицей и весь этот простор находятся так далеко от поселка. Поразмыслив, он решил, что сможет переселить рыбу в дамбу — ближе к домашней жизни — и туда слетятся птицы: нашел на берегу брошенную банку, налил воды, выпросил у рыбаков пескаря и, вернувшись в поселок, выпустил его в дамбу с чувством торжественности, но пескарь плавать не

захотел, он судорожно дернул хвостом, потом попытался выскочить из дамбы, но не смог, перевернулся брюхом вверх и пожелтел...

Вечерело. Над дамбой багровело солнце, готовое прижаться к земле своим румянцем. Посвежел ветер. Никиты услышал в себе просительный голос живота, вспомнил о садике, и подумал, что дети, наверное, уже выспались и покушали. Попспешил в поселок.

На дороге встретил встревоженную мать и напуганную няню.

— Что случилось?

— Почему сбежал?

— Кто тебя обидел?

Опустив голову и краснея ушами, Никита отвечал:

— Никто не обижал. Но я туда больше не хочу. Там скучно. Я в школу хочу...

6

В школу Никита хотел, он горел желанием стать школьником, чтобы проявить себя в большом поступке. Свою надежду он возлагал на отважную пионерию, которая, несмотря на свой ранний возраст, имела значительную самостоятельность в ведении коллективных дел в открытом поле. Именно коллективное дело, напоминающее занимательную игру, пробуждало интерес к школе. Но, став школьником, после первых же классов Никита вдруг понял, что вся коллективная игра замкнута внутри тесных коридоров и состоит из познания скучного учебника и получения высоких отметок, а жизненно важных дел никаких.

— Неинтересно, что учитель говорит. Все числа да числа новые придумываем. А зачем? В жизни-то они не растут, а только в уме, — Никита делился своими впечатлениями с сестрой, которая по родительскому поручению вела контроль в школьных делах брата. Поначалу она возмущалась, наблюдая полную апатию и нежелание его учиться, но потом расценила это как умственную отсталость и, втайне от родителей, сама стала выполнять школьную работу брата.

— Ничего с тобой не поделаешь. Так неучем и останешься, — говорила она укоризненно. — Все тебе неинтересно, все тебе не так. Не живешь, а скучаешь...

Никита любил ходить с друзьями на реку. По пути, в поле, росла кукуруза. Они собирали кукурузу, на берегу разводили костер и варили ее в котелке. Никита сидел на берегу с удочкой, грелся под солнцем, ел кукурузу и продолжал интересоваться сущностью рыбы, которая не может есть кукурузу, но может свободно жить в воде. Еще больше удивлялся живучести земляного червя, двигающегося на крючке в проткнутом состоянии до полного изнеможения. Но больше всего его завораживали птицы: они вольно парили над землей, казались недосягаемыми и более рассудительными, чем рыба и червь.

О происхождении рыбы, птицы и червя Никита любил думать на уроке природоведения. Это был единственный урок, который он принимал, как жизненно важный. А на тех уроках, где заставляли думать о скоплении чисел, от величины которых, как говорит учитель, зависит жизнь планеты, ему становилось грустно до слез, и чтобы не расплакаться, он начинал шутить — придуривался перед учителем, будто ему непонятно значение урока, и истолковывал предмет по-своему, по-дурацки, а на учителя обижался за его непонимание. Класс хихикал, а учитель отмечал “талант” Никиты в дневнике.

Родители по-разному относились к школьной отсталости сына. Мать находила время и часами просиживала с ним за учебниками, надеясь растолкать ленивый ум.

— Ты пойми, — внушала мать, — хочешь ты этого или не хочешь, но ты должен это знать. Это знает каждый нормальный...

Николай Мольков давно разочаровался в сыне, не находя в нем своего продолжения. Не таким представлял его отец. Не видел в сыне он той силы, за что можно было бы гордиться. И теперь он просто махнул на него рукой: что будет, то и будет. Но случались такие моменты, когда отец не мог выносить дерзкое поведение сына и брался наказывать: он порол его ремнем так, точно хотел забить до смерти. После таких побоев Никита с трудом мог сидеть за партой, у него надолго пропадало желание шутить с учителем, и появлялся страх к школе. А вскоре у него пропала последняя надежда, которую он таил к отважной пионерии.

В тот день ему исполнилось двенадцать лет. Утром перед школой его поздравила мать:

— С днем рождения! А в школе тебя ждет коллективный подарок — прием в пионеры...

Но в тот день школьная пионерия решила отказать Никите Молькову по причине его отрицательных качеств. Он даже не ожидал, что ему станет так обидно: всем дали красные галстуки, а ему нет. После этого у него зародилась, пусть еще не осмыщенная, но глубокая и скрытая неприязнь к коллективной жизни. Теперь он учился мечтать о другом пространстве, где нет школ, нет пионеров, там тихо и красиво, как на реке. В своей мечте ему хотелось думать так, как ему хотелось думать, видеть то, что ему хотелось видеть. Это место он представлял себе сказочным и свободным, и хотел перейти туда прямо сейчас, не дожинаясь возраста и разрешения.

В классе был второгодник Костя. Он, как и Никита, не любил думать о числах, на уроках щутил с учителями и носил в себе свободную мечту, а на себе — тяжелые побои родного родителя.

Как-то на перемене Костя по секрету отозвал Никиту и показал денежную купюру.

— У отца стащил. Жмот он. Давай ломанем в поселок, посмотрим, как взрослые живут.

Никита, не раздумывая, согласился, и они махнули через школьный забор.

Денежная купюра оказалась крупной и, чтобы потратить ее, потребовалось немало времени. Беглецы начали свой путь с канцелярского магазина, с легкостью приобрели новенькие авторучки, карманные блокноты и все то, к чему тянулась рука школьника. Затем они пришли в парк и с беспечностью ели на лавочке мороженое.

— Хоть мороженого вдоволь наестся. А то у моего папаши не дождешься. Себе, так всегда — пивко, сигареты. А я — то — что, не человек?

Назло скупому отцу Костя купил через старших ребят сигареты, и друзья, спрятавшись под кустом, курили.

— Вот так-то взрослые живут! А что — может, пивка?

Костя выгреб из кармана остатки денег, но их было недостаточно на желанную покупку. Выкурив еще по сигарете, друзья вернулись в школу к последнему звонку. Учительница “по достоинству” оценила дерзость беглецов, и все отметила в дневниках. Они вышли из школы, обоядно испытывая надвигающуюся неприятность.

— Нет, я домой не пойду. Отец забьет, — остановился Костя.

— И меня забьет, — печально согласился Никита. — А что будем делать?

Они беспокойно задумались.

— Давай уйдем на свободу! — Вдруг воскликнул Костя.

— А где она — Свобода? — заинтересовался Никита.

— Там, за поселком... — неопределенно махнул рукой Костя.

— Там, где река? — обрадовался Никита.

— Нет, еще дальше... Свобода от нас далеко, туда на поезде надо ехать.

— На поезде... — призадумался Никита, но в это время он был согласен на все, чтобы не попасть под тяжелую руку отца, и решил. — Я с тобой.

Беглецы спрятали под хлам школьные сумки и пришли на железнодорожный вокзал. На путях стояли поезда: одни отдыхали, другие готовились в путь. А рядом толпились люди, покидающие скучный поселок, и Никиту это еще больше утверждало в решении на побег.

— Мы с людьми не поедем, — руководил опытный Костя. — Поедем в товарном, он тоже идет на свободу. Будем ждать его движение, и потом прицепимся...

Они забрались на крышу заброшенного строения, и там стали ожидать. Никита вглядывался в даль, пытаясь увидеть там хоть край Свободы. Он помнил свою тайную мечту о новом пространстве, и теперь его разбирало любопытство:

— А какая она — Свобода? Ты ее уже видел?

— Видел. Из-за нее и остался на второй год, — достоинством отвечал Костя. — Только ее не расскажешь. Она такая огромная... Вот приедем, сам все увидишь.

— На что она хоть похожа? — не отступал Никита.

— На наш парк, — быстро сообразил Костя. — Там тоже есть лавочки, киоски, люди там свободные — кто мороженое ест, кто курит, кто пиво пьет, даже с девчатами целуются. А главное — никто ничего не запрещает.

Никита ждал, что друг расскажет что-то небывалое, но так и не услышал, разочаровался: подумаешь — парк. Он тоскливо посмотрел вперед и увидел хмурое вечернее небо, которое быстро меркло, закрывая к себе путь. Становилось прохладно и уже не хотелось уезжать от родительского дома, где всегда тепло и сытно. Никита решил отказаться:

— Я передумал. Я уже не хочу на Свободу — там темно.

Костя не расстроился и не стал настаивать:

— Как хочешь. Я туда и один смогу. А ты оставайся здесь и скучай дальше. А если надумаешь — приезжай...

Он ловко вскарабкался на отходящий поезд и исчез в темноте своей Свободы...

Никита вернулся к школе, нашел под хламом портфель и поплелся домой. В комнатах горел свет. Он украдкой вошел во двор, через окно увидел огромную тень отца, услышал его грозный голос, и у Никиты задрожали ноги: “Бить будет...” Выскочил на темную улицу и пошел к открытой луне, которая пышно висела за поселком, освещая дорогу в поле.

В глубине поля, между поселком и кладбищем, отшельником стоял брошенный дом. Никита знал, что давным-давно в нем жила старуха по имени Дай-На, но когда рядом с домом стали хоронить мертвцев, она вдруг исчезла.

В доме не было дверей и окон, и там гулял ветер. Никита взобрался по лестнице на чердак, всполошив голубей, и зажег спички, случайно оставшиеся поле развлечений в парке. Здесь место показалось обжитым: был старый обшарпанный стол, табуреты, стоял громоздкий сундук, на нем, как на топчане, было настелено разное тряпье. Он присел на сундук. Долго сидел задумчиво и одиноко, испытывая жалость — непонятную и тоскующую — то ли жалость к старому заброшенному дому, то ли жалость к самому себе. “Буду

жить здесь. Буду лежать на этом сундуке и умирать с голода, но домой не пойду... А когда умру, меня здесь найдут, и тогда..." По щекам и губам текли соленые слезы. О смерти он думал по-детски наивно, и ему не было страшно, страшнее смерти была детская безвыходность, которая перерастала в душевную обиду.

Никита лег на сундук, наложил на себя по-настоящему руки и уже хотел навсегда закрыть глаза — уйти в вечную темноту, как вдруг увидел над собой свет луны: свет проникал в щель крыши, был до того ярким и пронзительным, что завораживал и успокаивал, и уже Никите казалось, будто он лежит в натопленной комнатке, слышит сладостное воркование голубей и ему так хочется спать.

Он спал и не спал — безмятежно лежал с замкнутыми глазами, но сам видел каким-то "новым глазом" рядом с собой старушку: она стояла тихо, почти не дыша, но Никита ощущал ее теплое дыхание; она стояла и не двигалась, но он явно чувствовал легкое прикосновение ее мягких рук. Вот она склонилась. Ему жутко и приятно. Услышал тихий голос: "Отдохнул, милок, и будет. Пора домой. Тебе еще жить нужно..."

Открыл глаза и ничего не увидел, только слышно было, как в углу бился голубь — будто боролся с темнотой. Никита скорее почувствовал, чем понял, что с ним что-то не так, он здесь — не на месте. Взволнованный, подгоняемый невидимым страхом, он сбежал вниз по лестнице и рванулся в поселок; слышал, как в груди испуганно билось сердце. На дороге увидел человека — навстречу шла мать.

Они стояли в поле посреди ночи, над ними ярко светила луна, у матери на лице блестели слезы. Сын, прижавшись к ней, всхлипывал и дрожал. Мать успокаивала:

— Не бойся, он тебя не тронет. Идем домой.

Эта ночь для Никиты стала нескончаемой и злой. Родители не спали, спорили на кухне: отец стучал кулаком по столу и топал ногами, а мать плакала и твердила:

— Бить сына не дам. Страхом не воспитаешь.

Никита был с сестрой в детской комнате, и когда грозный голос отца повышался, Ира прятала под одеялом брата и гладила его по голове.

— Никита, а где ж ты потерялся? Мама весь поселок обыскалась, — любопытствовала сестра.

— Хотел с дружком на Свободу уйти. У нас уже билеты куплены были. Да паровоз отказал... — сочинял Никита. В это время ему хотелось показаться взрослее себя, чтобы сестра не жалела его и не гладила по голове, как маленького.

Потом он уснул, но как только уснул, к нему сразу пришел Огонь, который бешено разгорался, гоняясь за Никитой, и тот, спасаясь, запрыгнул на подоконник и выскочил в окно.

В поселке жил дед Семен. Он лечил людей молитвами и своими длинными руками, за это и сидел в тюрьме: нельзя было по советскому закону лечить руками и молитвами — таких людей называли шарлатанами. Но дед Семен не шарлатан. После тюремы он не испугался запрета и продолжил свой труд, а людям так сказал: “Убить не убьют, руки не отымут, а в тюрьму посадят — так я и там буду нужен. Ко мне сам “хозяин” тюремы за помощью обращался...” Но поселковые люди по-своему оберегают деда от советского закона и скрывают его имя от подозрительных людей. Мольковым же дали его адрес:

— Ступайте к деду Семену, он всем деткам помогает: помолится, руками где надо потрогает, погладит — и ребенок здоров. И денег за работу не требует... Только о нем никому не распространяйтесь. Он у властей под наблюдением.

Дед Семен был маленьким, горбатым, длинные, жилистые руки свисали до колен, на людей он смотрел улыбающимися глазами, а в разговоре часто кивал головой — подтверждая, что полностью понимает собеседника. Жил он один на окраине поселка. Нина Молькова пришла к нему с сыном и все рассказала:

— Ночами вскакивает, бежит... Вот, не углядела, ночью в окно выскочил...

— Пуганый он у вас, — определил дед. — У детей такое случается. Но ничего, с таким страхом мы сможем бороться. Он крещеный?

— Да, погружали его. Церкви-то в поселке нет.

— Погружали — и то, слава Богу, — дед взглянул на Никиту и ласково пригрозил пальцем. — Крестик свой береги.

Он усадил мальчика на табурет посреди маленькой, светлой комнатки, встал позади и возложил над ним свои руки с длинными и тонкими, как черви, пальцами. Никита не видел его рук, но ему казалось, будто пальцы трогают его тело, прощупывают, входят внутрь и что-то ищут там, и эту работу делают без больно, даже приятно. Потом он стал шептать молитву. Речь была тихой, плавной, но внушительной. Никита сидел, закрыв глаза, и испытывал внутреннее удовольствие: ему вспомнился старый брошенный дом, теплый чердак, чердачные голуби, старушка.

Когда Мольковы уходили, дед Семен подал Никите банку с водой и молитву.

— Умывайся перед сном и пей тремя глотками. Потом читай молитву. Почитаешь — перекрестись.

Теперь каждый вечер Никита умывался целебной водой и пил ее — вода была вкусная; потом читал молитву, — ее слова были не таки-

ми, как в учебниках, и имели таинственный смысл, мало понятный, но увлекающий своей загадочностью. Никита читал, перечитывал, затем убирал молитву под подушку с чувством полнейшего к ней доверия.

— Мама, а кто он — Бог? — однажды спросил Никита.

Мать сразу не наплакалась, казалось, что ей-то все понятно — Бог творец, создатель, а вот как сыну объяснить?

— Для тебя сейчас Бог — это врач. Он излечивает деток, когда уже врачи не могут.

— И только? — Никита не удовлетворился ответом.

— Нет, не только. Бог все может. Он создал все, что ты видишь, и управляет всеми.

— И даже человеком?

— И человеком.

— Так ведь я — сам по себе.

— Нет, объясняла мать. — Человек сам по себе не может жить.

Даже когда спит — с ним Бог.

Никита долго пытался понять, как это Бог управляет его руками-ногами, и ему вспомнился кукольный театр, там люди надевали кукольную одежду на пальцы рук, и куклы оживали. Теперь Никита попробовал представить Бога, у которого столько рук, что их хватает на каждого человека. Да так и уснул...

9

Поселок Рудный стал перерождаться в город. Для жителей поселка такое неожиданное обновление было воплощением в дальнейшую жизнестойкость: старая шахта дорабатывала свое время и в народе давно поговаривали о ее закрытии, и вдруг, будто ей на смену, в пяти километрах от поселка началось строительство крупного завода. Хотя наяву все было не так гладко и, случалось, в народе проявлялась неясность. Этот завод никакими путями не был связан с продукцией шахты, он строился сам по себе, а строили его по новейшей технологии заграничные специалисты. Вот тут-то русский человек и заподозрил: “Если строят иностранцы, значит, будет негоже для русского духа...”

Так и вышло: когда запустили завод, то к поселку потянулась химическая пыль в виде желтого облака. Люди закрывали нос и ругались на воздух, который, по их мнению, или протух, или прокис, и русским матом вспоминали зарубежных наемников.

Но здесь свою работу сделал свежий ветер: он чаще поворачивался от поселка, чем на поселок, и гнал желтое облако в пустую степь. А вскоре люди смыклились и совсем простили химическим выделениям, потому что увидели в заводе свою рабочую выгоду.

Про рабочую выгоду просыпали в других селениях, и в Рудный стали приезжать — кто по одному, а кто и семьями. Желающих оказалось много, люди ехали и ехали, будто давно мечтали о химической работе. Потом выяснилось, что людей для рабочей выгоды приехали больше, чем сама работа, и тогда стали расширять завод, сооружать новые корпуса, пусть люди работают...

Эх и жизнь в Рудном началась — шумная, быстрая, цивилизованная. Теперь строились только кирпичные многоэтажки, которые обступили шахтерские домики, величаво над ними возвышаясь. Дороги укатали асфальтом и посадили тополь. Открылись новые магазины...

Новые жители, а это в основном молодежь, сразу отличались от молодежи старого района своей пестрой одеждой и в особенности джинсами с иностранными бирками на карманах; поселковые же парни специально ходили в серых брюках с косыми карманами и в фуражках. Видимо, по этой причине стали происходить стычки между “старыми” и “новыми”. А глядя на них, поселковые подростки, собираясь вечерами, бежали гурьбой в новый район, чтобы разбить красочную витрину или уличный фонарь, который так и дразнил непривычно-ярким светом.

В это же время в Рудном произошло событие, которое заставило вздрогнуть всех жителей — и старых и новых: в родильном доме были случаи появления на свет “желтых детей”. И опять народ разделился: одни грешили на завод, другие — на шахту.

Для определения “желтой” болезни в Рудный съехались именные доктора и крупные ученые. Они внимательно обследовали более тысячи деток с врожденной желтухой, взяли на пробу запах воздуха, изучили вкус земли, и после этого объединили химические выделения и вредность шахты — как источник человеческой патологии.

Но после такого заключения народу легче не стало. Одни женщины боялись теперь даже и думать о зачатии, другие, которые уже имели в себе плод, мучились от неизвестности. Не находя поддержки от медицины, женщины пошли к деду Семену с просьбой избавить будущее поколение от “желтой болезни”. И дед Семен сказал:

— Все вы дышите одним воздухом и одинаково питаетесь, но кто-то рожает здоровых, а кто-то немощных детей. Значит, на всех нас есть Божья воля. Ступайте и молитесь...

Наряду со значительными переменами в жизни поселка, личная жизнь семьи Мольковых казалась тихой и неприметной. Николай Мольков по-прежнему взрывал руду, а его верная супруга тоже продолжала работать на шахте. Их старшая дочь Ирина уже закончила школу. Она, в отличие от брата, в школьное время не скучала и проявила интерес к танцам: теперь она жила в областном городе, где

училась в хореографическом училище. А Никита к этому времени пошел в последний класс.

Учеба у Никиты так и не шла. Продолжительность неинтересного урока носила для него трагический характер. Для облегчения душевного состояния Никита, по своему обыкновению, любил возбуждать головные мысли на отвлеченную от урока тему, создавая свободное внешкольное пространство. Наверное, так и остался бы он школьным неудачником и скучным мечтателем, но тут в его жизни произошел маленький, но существенный переворот.

В класс пришел новый учитель химии — это был немолодой мужчина с залысинами и в очках, он вел свой первый урок, о сущности предмета рассказывал страстью, взахлеб, а когда писал на доске, то шумно сопел. Потом он заставил весь класс переписать с доски в тетрадь, и это стало — вместо учебника.

Никита переписывать не захотел, но, чтобы не обидеть учителя, он бросал в его сторону обманчивые внимательные взгляды, а в тетради рисовал его портрет: у нового учителя были чрезвычайно большие уши, которые своей непропорциональностью вызывали смех, и Никита пытался скопировать их для общей потехи. Он так увлекся своим художеством, что не заметил подошедшего учителя.

— Просто гениально! — не без иронии оценил учитель химии и забрал тетрадь. — После урока останешься...

“Эх, опять начинается...” — вдохнул Никита, ожидая неприятный разговор, но когда он предстал перед учителем, тот взял в руки собственный портрет и похвалил уже без иронии:

— Ты способный парень, Мольков, хотя и числишься в отстающих. У тебя отличная зрительная память, все схватываешь на лету... — он признательно улыбнулся перед удачной карикатурой и серьезно дополнил: — Я тебе вот что скажу — будешь слушать мои уроки и записывать в тетрадь — у тебя все получится...

Никита смутился и пожал плечами. Ему не верилось. Еще никто из учителей не замечал его способностей и не говорил с ним так вежливо.

— Не сомневайся в себе. Ты только начни, — подтверждал химик. Портрет он оставил себе на память, а Никита проникся к учителю уважением и вышел из кабинета уже новым Никитой — вдумчивым, уравновешенным, на что-то способным.

Следующий урок химии Никит ждал с нетерпением, его мучило любопытство: как проявится его зрительная способность? Когда начался урок, он был весь во внимании: слушал, ни на что не отвлекаясь, нужное переписывал в тетрадь и все боялся не увидеть — пропустить сказанное. Дома он перечитал школьную запись и сам

удивился: все легко запомнилось! У Никиты появились первые высокие оценки.

Наконец-то родители увидели в сыне просветление, пусть частичное, но просветление, и появилась надежда на дальнейшее жизненное пробуждение.

— Вот и взялся за ум. Слава тебе Господи! — трепетала радостно взволнованная мать. — Только бы не остановился, хватило бы терпения...

Никита не остановился, он не мог остановиться он впервые испытал радость школьника, и теперь в нем жил интерес.

Хотя мать недоумевала:

— Почему только химия?

— У других скучно. Там все не так, все — только по учебнику. А наш химик, — Никита видел в учителе химии оригинал и мог спорить за него. — Он объясняет учебник своими словами. Он много знает. Он умный. У него на руке двух пальцев нет — говорят, он запрещенные опыты проводит...

Единственно любимый предмет Никита довел до конца учебного года и хорошо сдал экзамен. Но здесь все и кончилось. Получив аттестат, он не стал даже думать о дальнейшей образованности. А урок химии вспоминал только иногда, как светлое пятнышко его школьной жизни.

— Если не хочет учиться дальше, как все нормальные люди, пусть идет ко мне в шахту. Я вижу, вырастили нахлебника, никуда не пригодного, — так говорил отец, когда сына не было дома, и вспоминал прошлое. — А все ты виноватая. Не дала мне воспитать его. После ремня был бы грамотный. Вот теперь майся с ним...

— Говоришь так, будто не родной отец, — вступалась мать. — Ребенок только школу окончил, а ты его сразу в шахту...

После школы Никита, как и многие его сверстники, болтался по узким улочкам строгого поселка и ненамеренно хотел встретить новое внешкольное пространство. Иногда он тайно помышлял, по примеру сестры, переехать из поселка в большой город, но тут же останавливался, наблюдая, как Рудный сам становится городом. Его привлекали новостроенные многоэтажки — там, во дворах, слышался жизненный шум, и тогда Никита видел в себе пустоту, которую не знал чем заполнить...

10

В поселке появился Костя. Никита хорошо помнил, как после побега на Свободу Костя вернулся в класс остриженным наголо.

— Не доехал я до Свободы, — рассказывал тогда Костя. — Сняли меня на полпути... В ментовке остригли.

Потом Костю стали дразнить “Лысым”, но он не обижался, он гордился, что теперь не такой, как все.

Вскоре после возвращения он подозвал Никиту и показал кошелек, набитый деньгами.

— Откуда столько? — испугался Никита.

— Какая разница. Они уже мои, — Костя, заметно волнуясь, потянул за собой Никиту. — Бросай сумку и бежим...

— Куда? Зачем? — остановился Никита. — У меня сегодня двоек нет... И отец бить не будет.

— Как хочешь... — Костя махнул рукой и убежал вглубь поселка.

В это же время учительница обнаружила пропажу своего кошелька, и подозрение упало на Лысого. Зная, что единственный путь идет через вокзал, его быстро задержали. А спустя время в классе все узнали, что по определению судебной комиссии Костю-Лысого осудили в ДВК — это детская воспитательная колония.

Теперь, много лет спустя, Никита встретил школьного друга у своего дома и не сразу узнал его. Костя сам подошел к Никите.

— Привет, Молек!

— Костя, Лысый, ты?

— Да я, я, дружище! Сколько лет, сколько зим...

— Ты сидел?

— Ага... — с достоинством отвечал Лысый, специально оголив во рту коронки и сдвинув фуражку на затылок так, чтобы Никита сам мог увидеть его тюремную прическу. — Сегодня утром откинулся... Вот, к тебе каню, думаю, навещу старого кореша...

После слов о старой дружбе Никита почувствовал теплое расположение к Лысому: вспомнились события, которые когда-то объединяли их, и теперь получилось так, что из школьной жизни только Лысый был ему самым близким и понятным.

Друзья решили отметить встречу. Они купили вино и пришли в парк.

Костя будто специально сел на ту самую скамейку, на которой они когдато ели мороженое. Теперь они здесь пили открыто вино, взятая курили и казались независимыми от остальной жизни.

— Отец теперь мне не указ, — развязно говорил Костя. — Хочу — вино пью, хочу — курю... А если он возникнет, то по зубам ему дам.

И Никита в это время испытывал не меньшую взрослость и, чтобы не отставать от друга, хвалился:

— И я отца давно не боюсь. Один раз он полез, так я ему чуть не врезал...

У захмелевших парней вспомнилась острая обида на отцов и появилось обоюдное желание проявить свою силу на других. Они допили вино и пошли по улице.

— Эх, хочу Капустину морду набить, — порывался озлобленный Костя.

— Капустина? — переспросил Никита, он-то знал, что Лешка Капустин в школьное время был отважным пионером и доносил на хулиганов. — Так он поехал учиться дальше. Прокурором станет...

— Вот мусор! Я бы эту сволочь...

Костя угрожающе тряс кулаком в воздухе и сожалел, что в воздухе не было его школьного врага. Но тут он увидел мужика, который шатался у дерева, держась за куст. Он громко икал и ругался матом.

На улице было безлюдно. Костя, осмотревшись, подскочил к пьяному, неожиданным ударом сбил его с ног и стал шарить по карманам.

— Шахтеров бить... — взревел пьяный мужик, схватил Костю и потянул к себе...

Здесь встрял Никита. Он стал бить шахтера, но тот только громче рычал, и только после сильных пинков он выпустил своего обидчика...

Потом они бежали по темным переулкам. Бежали не от пьяного и побитого шахтера, а от посторонних глаз. Когда остановились и отдохнули, Костя-Лысый открыл кошелек и посчитал деньги.

— Хорошо откупились! — присвистнул Лысый и отдал часть денег Никите. — Твоя доля. Теперь по домам. Сейчас менты вылезут.

Они расстались, но встретились на следующий же день в парке. Опять стали пить вино, и Костя не скрывал своих чувств:

— Молодец, что вчера не струсил и не удрал. Ты — настоящий кент. Я с тобой на любую делогу пойду... За тебя всегда встану.

— Да ладно тебе, Лысый. Ты бы тоже так поступил... — Никита скромничал, а самого так и распирало от похвалы.

После вчерашнего грабежа, который получился больше случайно, чем преднамеренно, друзья стали еще ближе, между ними образовалось взаимопонимание, и не было сомнения, что такое дело нужно повторить.

— Вчера сделали удачно, — рассуждал Костя. — Но в старом поселке светиться больше не будем. Я у лягавых на крючке — быстро вычислят. Будем теперь трясти новый район.

Никита чувствовал, как его тянет в водоворот запретной жизни, и он не сопротивлялся, у него захватывало дух от мысли, как они неожиданно налетят на свою жертву и легко осилят. Он внимательно слушал опытного Лысого и сам делал нужные замечания:

— Но мы с “новыми” воюем. Там опасно показываться в фуражках... А что, если мы свои фуражки заменим на ихние спортивные шапочки, устроим маскарад?!

Костя задумался. Потом стал хмуриться. Ему не понравилось такое предложение.

— Нет, я фуражку менять не буду, фурага — моя гордость! А если вдруг что... Так я этих “новых” научу жизни, — Лысый выхватил из брюк нож, нажал кнопку, и из ручки с эффектом выскочило сверкающее лезвие.

— Ух ты! — Никита только слышал о таких ножах.

— То-то! Зоновская работа! Меня голыми руками не возьмешь. Нужно будет — и мента замочу...

Никита смотрел на Лысого заворожено, и слушал, разинув рот. А тот еще больше распыхлялся:

— Я, брат, тюрьмы не боюсь. Я и там смогу жить. Я — правильный пацан. И тебя научу понятиям...

Костя стал рассказывать про свою блатную лагерную жизнь, рассказывал захватывающие, возбужденно размахивая руками, нервно курил и заметно переживал — будто он опять в колонии. В порыве Кости открылся, перейдя на шепот:

— ...Я стремлюсь к настоящей воровской жизни, хочу посвятить себя ей, в ней свои правила, свои секреты...

Потом он беспечно запел, закрыв на все глаза, — будто он один в камере и сидит на нарах: “Вот мчится карета по улицам где-то, а в ней фараоны сидят, и я среди них, весь закованный в цепи, валыны мне в спину глядят...”

Было уже поздно. Твердо решив, что завтра же сделает первую вылазку в новый район, они допили вино и расстались.

Никита один возвращался домой. Он был пьяным, но чувствовал себя превосходно, он видел, как в нем появилась некая сила, эта сила перешла к нему от Лысого, когда они в парке пили вино, сила перешла через уши, через глаза, через открытый рот. Теперь он шел по поселку новой походкой — шел вихляясь, шел свободно — так, будто он такой здесь один. Никита шел, напичканный впечатлениями о лагерной жизни, которая раньше отпугивала суровой наказумостью, а теперь привлекала безотчетным желанием познать — а что же там за секреты? Он шел и напевал: “Вот мчится карета по улицам где-то...”

Впереди увидел шатающегося человека и обрадовался, что прямо сейчас сможет проявить себя. Подошел вплотную.

— Мужик, дай закурить, — больше требовал, чем просил.

— Нету у меня, — отвечал встречный слабым голосом. — Сам бы хотел покурить.

Мужик был маленького роста и хилым. Никита взвесил свое физическое превосходство и ударил.

— За что бьешь? — прохожий сплюнул с губ кровь и ухватился за Никитину куртку, но не для борьбы, а чтобы устоять на ногах.

Никита легко свалил его и стал избивать дальше.

— За что? За что?

— Сам знаешь, за что... — безрассудно говорил Никита и шарил по карманам.

Домой пришел усталый и злой. На пороге встретила встревоженная мать.

— Уже ночь. Где шатаешься?

— Влюбился, — нагло врал Никита. — Пока проводил. То да се...

— Влюбился? Что-то не верится. Познакомь меня с ней.

— Ладно. Завтра познакомлю, — отмахнулся он от матери и ушел в комнату. Никита лег в постель с думами о завтрашнем дне: как выследят они жертву и налетят... Все сделают чисто, тихо, без шухера... Потом он стал читать молитву. Он всегда перед сном читал молитву деда Семена, и уже знал ее наизусть, но сегодня святые слова путались, и он не смог их читать. Хотел поцеловать крестик, как учила его мать, но крестика не оказалось, на шее болталаась пустая тесьма. “Наверное, мужик на улице сорвал...” — догадался он, но сильно не расстроился и уснул...

На следующий день друзья встретились в парке, стали пить вино, Костя опять рассказывал азартно про блатную жизнь и о своих планах в создании бандитского костяка в поселке, а Никита уважительно слушал его.

Выждав, когда с неба опустилось затмение, они перешли границу нового района. Ходили по дворам, высматривая жертву, ходили долго и безрезультатно. За все время им встретилась на дороге какая-то старуха, она показалась странной — схватила Никиту за руку и попросила:

— Сынок, проводи меня домой. Запуталась я здесь... Не найду дорогу.

— Откуда ж я знаю, где твой дом? — недоумевал Никита.

— Знаешь. Как раз ты и знаешь. Пойдем, — она потащила Никиту за собой, но он отстранился от назойливой старухи, и та куда-то пропала.

— Что-то не нравится мне здесь, — засомневался Никита.

— И мне, — Костя нервничал. — Нет здесь ничего подходящего...

Они уже подумали вернуться в старый поселок, где всегда темно и наверняка можно встретить свою жертву, но тут увидели на лавочке молодого мужчину: он был в вязаной шапочке, в серой спортивной куртке, в белых джинсах, сидел с закрытыми глазами, задрав лицо к небу, и глубоко вдыхал.

— Чудак какой-то, — ухмыльнулся Костя. — Видно, навкалывался на заводе так, что отышаться не может... Вот его и тряханем.

Но Никита остановился:

— Нет, на работягу не похож, скорее — спортсмен. Уж я этих новгородских знаю. Видишь, медитацией занимается.

— А ты не боись, — говорил Костя. — У нас оружие есть против любого приема, пойдем...

Они подошли к жертве и удобно встали с обеих сторон.

— Эй, мужик, дай-ка закурить, — нагло спрашивал Костя.

Никита был наготове.

Парень сидел по-прежнему так, будто вокруг него была пустыня. Друзья переглянулись и решили, что жертву можно взять голыми руками. Костя в открытую полез к нему в карман.

— Опять фураги! — открыл глаза парень. — Уже дышать воздухом не даете!

С криком “И-ия!” он вскочил с лавочки и молниеносным ударом ноги сбил Никиту. Тот лежал на земле и не мог прийти в себя: из перебитого носа текла кровь, а перед лазами мельтешили ноги... Слышались глухие удары... Потом увидел, как Костя вскрыл нож и полоснул лезвием по ноге... На белых джинсах выступила кровь... Потом окровавленный нож упал на землю, и Никит услышал голос Кости:

— Ну, давай же, мочи козла...

Никита схватил нож, вскочил и, не задумываясь, ударили им в спину...

Весь вечер мать просидела у окна, тщетно выглядывая сына. Сердце сжалось от предчувствия беды, а она не соглашалась, боролась, все хотелось верить, что вот-вот, и придет сын со своей девушкой. Хотелось в это верить, но сама понимала, что не такой у нее сын, скучно смотрит на жизнь, сам не знает, что хочет. А если вдруг и появится девушка, то ненадолго...

Мать выглядывала на дорогу, а рядом нервно ходил муж и ворчал:

— Ну что, довоспитывалась? Ремнем, ремнем надо было...

Мать не выдержала, вышла на улицу. Она долго ходила по поселку, спрашивала про сына у встречной молодежи, — нет его, — и тогда пошла в новый район, туда так и тянуло — там он. Мать торопилась и всю дорогу просила: “Господи, помоги...”

— Опоздала, — вдруг услышала она голос и увидела старушку.

— Бабушка Дай-На! — обрадовалась мать и скорее призналась. — Сына потеряла...

— Потеряла, дочка, знаю, — мрачно, но сочувственно говорила старуха. — В яму он упал, а там — паутина. Пока выберется, годы пройдут...

Старуха говорила загадочно, но мать ее поняла, не выдержала, обреченно зарыдала.

— Поплачь, но только не отчаивайся, — успокаивала старуха. — Он упал, но не разбился. Жди его, молись и жди. Время вернет...

Мать стояла на дороге и горько плакала. Плакала и слышала: “Время вернет...” Выплакалась, и стало полегче, огляделась — нет никого, пошла домой. “Время вернет... Время вернет...”

Отсюда начинается тюремная жизнь Никиты. Но я не буду сейчас описывать состояние тюрьмы — это будет другая повесть. Я рассказываю о состоянии человека, который идет в тюрьму. А в тюрьму, как видно, Никита пришел сам: то ли по своему любопытству, то ли от пустоты собственной жизни. Кто его знает? Человек в таком возрасте порой сам не понимает, куда и зачем идет. Спроси его сейчас “Никита, ты зачем в тюрьму пришел? Тебе дома плохо было?” Он пожмет плечами: “Так получилось”.

Тюрьма приняла Никиту легко и без больно — этому сопутствовала дружба с Костей-Лысым, пригодились его учения. К тому же по делу Никита пошел “паровозом”, то есть всю вину взял на себя и получил арестантское уважение.

— Молек, грузись один, — просил Костя в первый день ареста. — Так будет лучше, ведь ты первый раз...

Костю отпустили, а Никиту осудили за нанесение тяжких телесных повреждений на пять лет...

Никита в тюрьме, но он не сильно страдает, во всем видит что-то романтическое, хотя и опасное, как скалолаз над пропастью, и именно тут он может проявить себя, как настоящий парень. Он вливается в арестантскую жизнь и уже знает больше блатны словечек, чем знал Лысый, на теле делает татуировки и слушает других, более опытных арестантов, которые поучают, как надо “правильно” жить. Никита “тянет” срок и мысленно готовит себя к свободе: “Людей больше насиловать не буду. Зачем эта кровь. Нужно с ними более вежливо...” Тюремные думы сводятся зачастую только к превратной жизни, здесь Никита видит свое полезное действие — нарушить запрет и испытать свободность...

Пять лет Никита отсидел и вернулся домой.. Встретили родители. Мать со слезами:

— Истощался — кости да кожа. Буду откармливать...

Отец к сыну сурово:

— Ну что, научили там уму-разуму? Смотри теперь в оба, а то кончишь, как твой друг Костя...

За это время без вести пропал Костя-Лысый. Всякое в народ говорили. Одни думали, что Костю убили милиционеры, которые отчаянно взялись за порядок в городе. Другие считают, что Костя нарвался на более сильного бандита, чем сам Настоящая правда была одна — нет больше Лысого.

За пять лет расстроился город, слился воедино, и теперь не существовало “старых” и “новых”, все парни носили одинаковые фуражки и модные джинсы. Сблизились люди, и дети стали рождаться, как дети — с розовыми щечками. Ученые это объяснили, что человек

сам прошел адаптацию, и стал сильнее биохимической вредности, ну а люди, которые молились — славили Бога, и в Его честь всем миром построили в Рудном церковь.

Первое время Никита сидел дома. Мать, как и обещала, откармливала сына, чтобы тот набрался силы и начал новую жизнь. Какую новую жизнь? — об этом в семье вслух никто не говорил. Мать, наверное, желала сыну встретить девушку для создания семьи. Отец, скорее всего, хотел, чтобы сын поскорее пошел работать в шахту или на завод. Сам же Никита свою новую жизнь нигде не видел. Набравшись силы, он ушел из дома и стал болтаться по городу, не зная, что же ему делать со своей свободой? Там, в тюрьме, его новая жизнь представлялась намного интересней, и теперь он хотел найти этот интерес.

Такой интерес открылся в Никите совсем случайно. Он ехал в автобусе. Рядом стояла женщина и рассчитывалась с кондуктором. У нее в кошельке Никита нечаянно увидел много денег и подумал, что ему тоже нужны деньги. Женщина убрала кошелек в сумочку и отвернулась к окну, а Никита все еще продолжал думать про ее деньги. “Интересно, если я возьму ее кошелек, она заметит?” Он открыл тихо сумочку, взял кошелек и вышел из автобуса. При этом Никита испытал острое ощущение опасности: сначала эта опасность была рядом, потом эту опасность он взял в руки и с ней вышел из автобуса. Выступил пот. Опасность он преодолел, и ему это понравилось. С собой он был удовлетворен. Появились деньги — легкие, но большие, — такие деньги так быстро не заработать.

Вот здесь жизнь Никиты ожила — закрутило, понесло. Он с большим успехом начал развивать выявленную в себе способность карманного вора. И у него это получалось. Теперь рядом были друзья. Шумные компании. Там были красивые девчонки. Никита менял их и не видел женской красоты, или не хотел видеть, чтобы не обременять себя любовными думами...

И вдруг случилось то, что должно было случиться. Его арестовали на городском рынке за карманную кражу. Этого ожидали все. Ожидали сыщики, которые давно выслеживали Молькова и теперь сделали свое дело легко и быстро. Ожидали родители, которые последнее время видели сына редко, а когда видели, то не видели в нем сына. Не ожидал этого только сам Никита. Нет, он, конечно, понимал, что за это когда-то придется отвечать, но почему именно сейчас, когда он так удобно устроился на свободе и получает свой интерес.

Никите одели наручники, но ему не хотелось в это верить. Его везли в сером “вороне” в тюрьму, а он тоскливо смотрел через зарешеченное окно на зимний город: в свободном пространстве кружились снежинки, они лепились на каждом человеке и искрились от

солнца, а люди шли мимо — нарядно и семейно, они шли мимо, а преступник безнадежно завидовал им, завидовал и сожалел, что так просто и быстро потерял красоту жизни, которую вчера не замечал, не видел, не ценил. Вспомнились девчонки, с которыми он встречался, и тут же их забывал, использовал, как личное удобство, а теперь по ним страдал...

Никита прощально взглянул на город, как на красивую женщину, с которой не хотелось расставаться, и вдруг понял, что к нему прямо сейчас пришло время любить, а не сидеть в тюрьме. Тюрьма напоминала злую горбатую старуху, беззубую, с перекошенным желтым лицом и в кирзовых сапогах.

Когда машина с заключенными въехала во двор тюрьмы, Никита не захотел туда идти.

— Не могу, ноги туда не идут, — притворялся Никита, но широкоплечий старшина, для помощи, удариł арестованного дубинкой:

— Воровать эти ноги ходили, значит, и в тюрьму пойдут. Марш!

От удара ноги заработали, и Никита послушно пошел в тюрьму. В тюремной камере он лег на нары и закрыл глаза. К нему подошел старый знакомый по кличке “Черт”. Стал приветствовать:

— Привет, Молек! С возвращением в наш “колхоз”. Что нового на “большой земле”?

Никита никак не отвечал.

— Ты что, умер? Да не дури, — хитро прищурился Черт и потянулся к себе Никиту. — Пойдем чифир пить, анаши курнем. Сразу жизнь появится.

Никита сел в круг с другими арестантами. Поочередно из кружки пили чифир, курили коноплю, и Никита рассказывал, как хорошо на свободе, все там есть, покупай что хочешь, были бы деньги. И красивых девчонок немерено...

— ...Да-а, — открыто сожалел Никита, — сейчас свобода стала свободной. Живи и живи.

Черт слушал с отвисшей челюстью, часто сглатывая слону, но так и не смог понять, как это — свобода стала свободной, перевел разговор на тюрьму:

— И здесь скоро будет свобода.

— Амнистию ждешь?

— Нет. К нам в камеру электрическую плитку поставят, чтобы чифир не на тряпках варить, и цветной телевизор обещают...

Никита посмотрел на серые стены камер, облепленные клопами и тараканами, и не сумел представить здесь цветной телевизор. Опять лег на нары. Он лежал с закрытыми глазами, но знал, что вокруг происходит: в дальнем углу опять на огне варят чифир, в ближнем углу, за занавеской, спрятались картежники, на верхних нарах, дальше

от двери и ближе к лампочке, арестант колет татуировку, сльшно, как и крана льется вода — кто-то стирает, — вся жизнь...

Ночью не мог уснуть. Никита ходил по камере от стены к стене, курил и думал: как можно уйти от правосудия, чтобы вернуть свободу? “Буду прощение просить, — решился он. — Никогда не просил, а теперь извинюсь, даже поплачу, скажу, что не буду больше воровать кошельки у мирных граждан. Пусть живут себе спокойно. Да, так и скажу, что воровал я не для подлости, а для разнообразия жизни, для личного развития, для общего совершенства — чтобы люди никогда не спали в очередях и автобусах, а охраняли свое карманное богатство... Так и скажу: боролся с ротозейством, — здесь Никита усомнился в правильности собственной речи. — Нет, так нельзя говорить с нашим правосудием, это уже преступление...” И он опять ходил от стены к стене, курил и искал выход.

К утру в камере завоняло гарью. Никита увидел на полу тлеющую вату, выдранную из бушлата, а рядом возбужденно крутящегося арестанта: он зажал меж ног веник и изображал победоносного скакуна.

— Ты что задумал, придурак? — подошел Никита.

— Не мешай, — отстранился тот, намереваясь продолжить свои упражнения, но Никита затушил вату и отнял веник.

— Ты всех дымом удушишь. Пошел вон...

Тот ничуть не обиделся и ушел в свой угол. Никита им заинтересовался:

— Тебя как зовут?

— Толик.

— А зачем ты это делаешь, Толик? Я ведь вижу, ты в своем уме.

— Я так от правосудия ухожу.

— И что, не судят?

— Нет, не судят. В психушке подержат и домой...

— Да ну, — не верилось Никите. — Что, вот так на венике поскакешь, и домой?

— И домой... Если правильно перед докторами притворишься.

— А ты знаешь, как правильно?

— Знаю. Я один раз по-настоящему с ума сошел, и до сих пор все помню... Тогда меня в армию забрали, а там одни запреты и приказы — то нельзя, это нельзя, туда не ходи, сюда ходи... Я и психанул, стал делать все по-своему... Мне тогда сразу свободно и легко стало, даже когда меня били, не больно было... Вот и вся наука — нужно быть везде свободным, даже в тюрьме.

Выслушав Толика, Никита проникся к нему странным чувством уважения и жалости одновременно. Он вернул веник, но предупредил:

— Перед сокамерниками не дури, они не доктора, они тебя быстро расколют.

А про себя подумал: “Нет, мне веник не нужен, и дурковать не стану. Я по правде сделаю свою свободу в тюрьме...”

12

В тюрьму к Молькову приехал следователь. Это был мордатый лейтенант с густыми бровями и пышными усами, которые он помимо подкручивал.

— Ну что, Мольков, опять нарушил запрет! — изрек следователь и аппетитно потер руки.

— Я не нарушал. Я это сделал бескорыстно. Я искал свободу действий. Я хотел...

— Вот и нашел, — остановил его следователь, указывая на каменные стены. — Вот и нашел, что искал.

Он самодовольно закрутил усы, с хрустом помял пальцы и принялся поспешно писать — составлять уголовное дело; иногда он отрывался и изучающе всматривался в тусклый потолок, будто там висело нераскрытое преступление, и он раскрывал его.

Следователь сразу не понравился Никите, он напоминал жирного таракана, который инстинктивно направляет усы в сторону своей добычи. Никита смотрел на подкрученные усы и решал, как же свободней нарушить работу следователя...

— Отпусти меня, — потребовал Никита, — ты и сам придумаешь уголовное дело, а меня в камеру верни.

— Без тебя никак нельзя, — не отпускал лейтенант. — Мне твоя подпись нужна. Без подписи не будет дела.

Здесь Никита уловил слабость следователя и вышел на простор.

— Я не буду подписывать, — решительно заявил он.

— По закону — не имеешь права. Или предоставь основание для отказа: что для тебя здесь не так? — следователь говорил грозно, пытаясь смутить непокорного, но тот еще больше осмелел.

— Что здесь не так? — переспросил Никита и шумно расхочтался. — Мне твои усы не нравятся — вот что не так. Пока не уберешь их, разговаривать не буду...

Таким образом Никита передал следователю свою свободную мысль, которая первой попалась ему на глаза в здании тюрьмы, и, удовлетворенный, вернулся в камеру. Тут же подскочил Толик:

— Ну что, закосил?

— Нет, я не косил, я сказал ему, как есть...

Он пересказал Толику встречу со следователем, тот выслушал и одобрил:

— Удачная выходка... Но только наполовину. В следующий раз ты его за ус потяни, чтобы он до конца поверил, что ты во всем свободный.

— А что, можно и за ус потянуть, — согласился Никита. — Только он ко мне больше не придет. Я ведь ему серьезно сказал: пока не сбреешь — не приходи. А усы у него пышные...

Но следователь удивительно скоро пришел на встречу с Мольковым. На следующий день перед ним был тот же мордатый лейтенант, но уже без накрученных усов. “Идиот”, — плохо подумал о нем Никита, но тут же передумал и искренне похвалил:

— Хорошо выглядишь, лейтенант! Только не пойму, зачем усы сбрил? Я ведь тогда так сболтнул, не думая. Я ведь се сказать могу. У меня теперь — свобода слова.

Следователь смущенно тронул рукой под носом и с достоинством произнес:

— Для меня раскрытие преступления важнее моих внешних перемен. А усы — дело наживное, пока ты сидишь, новые вырастут.

Теперь впереди был суд. Никита не испытывал страха перед будущим судом, напротив, он видел там лазейку для выхода и чувствовал себя уверенным. Такую уверенность, похожую на состояние личной могучести, Никита раньше не испытывал и теперь делился надвое: один Никита сидел в тюрьме, другой Никита жил дома новой свободной жизнью. Он видел себя там и не видел себя здесь; здесь он видел только бороду, в которую незаметно проваливалось его лицо, и решил сохранить ее, как нужное изменение. Раньше Никита недолюбливал бородатых людей, и теперь это недолюбление становилось любовью. В банные дни он мылил бороду с особым усердием, лучше, чем самого себя, отмечая рост волос, как движение в будущее.

В день суда родные и близкие не сразу узнали лицо Никиты, закрытое бородой. Мать пытливо смотрела на сына, ее глаза выражали и недоумение, и озабоченность, она тяжко вздохнула и стала шептать иконке, которую всегда держала при себе для помощи. Недоверчиво косился отец, он нервно двигал плечом, подкашивал и качал головой так, будто стыдил сына за его новую внешность. Рядом с отцом Никита увидел сестру. Она по-прежнему жила с семьей в другом городе, но брата не забывала, присыпала в лагерь посылки, приезжала на свидания... Сейчас она с укором смотрела на Никиту, но укоряла не за бороду, а за его место.

Вдруг Никита увидел еще одно знакомое лицо — это была Лариска. Девушка не удержалась под его взглядом и расплакалась. “Слезы льет?” — не понял ее Никита, и стал вспоминать, как в компании познакомился с Лариской, она была красивой, смелой, темпераментной, и он обучил ее быть “ширмой” — в очередях, в автобусах, Лариска отвлекала внимание, а он уводил кошельки. У них, наверное, получился бы роман, но однажды Лариска попробовала опий, и полюбила его больше, чем Никиту, умудряясь обворовывать даже

его. Потом ее красивое лицо стало зеленеть и сгнили зубы. Никита разочаровался в ней и заменил на Наташку...

Голос судьи вернул Никиту на скамью подсудимых:

— Какие к суду заявления, жалобы?

Судьей была молодая женщина, рябая и неказистая, она окинула Молькова неприязненным взглядом и, показалось, что заранее готова строго осудить его за одну только нахально-вызывающую бороду. “Дрянь дело”, — озабочился Никита. Ему подсказывал немалый арестантский опыт — если судья женщина и рябая, значит, злая на мужиков, засудит, как пить дать. Он решил еще опередить очевидные намерения судьи, отыскивая предмет защиты.

— Сколько вам лет? — Никита повел себя так, будто находится в веселой компании и желает познакомиться.

Вопрос застал судью врасплох, она не успела даже возмутиться, на открытую дерзость ответила, смущаясь:

— Но мой возраст к делу не относится... Говорите по существу.

Никита, в свою очередь, стал развивать свободу слова и сделал против суда открытое заявление:

— Я прошу заменить состав суда. Вы очень молоды, а мое преступление пришло из прошлого и нуждается в понимании. Поэтому я требую...

Но здесь все оборвалось. Никита понял, что переиграл, и умолк. Ему хотелось призвать взамен судью-мужчину, но эта мысль сразу же рассеялась в воздухе. Свобода слова почему-то сделалась безучастной к голове, а судья все это видела и смеялась глазами, как над несостоявшейся глупостью. Никита цеплялся за каждое движение, за каждый звук в зале, чтобы скорее соединиться с выдвинутым заявлением.

Из зала донесся тяжелый вздох матери, и Никита увидел в ее руках икону: мать смотрела на образ, как на живого Бога, и ждал решения. Никита тут же поймал свободную мысль:

— Я требую священника! Я буду раскрывать свое преступление только перед ним...

Никита остался довольным от своей выходки, открыто улыбаясь, он чесал бороду и смотрел на судью: ну, что теперь скажешь?

— Исповедуются в церкви. А здесь я сама раскрою... — процедила сквозь зубы уязвленная судья и не могла скрыть своего отчаяния. — Чертё что!..

После этого суд остановился. Судья видела, что преступник не совсем нормальный, или хочет показаться ненормальным, чтобы уйти от ответственности. Она видела перед собой серую шершавую стену, и каким-то чувством догадывалась, что суд против стены не может состояться, чтобы не попасть в дурацкое положение, объявила перерыв.

А после перерыва судья вынесла решение:

— Подсудимого Молькова... направить на судебно-психиатрическую экспертизу...

13

Никита ожидал этап в психушку. Психиатрическая больница находилась в соседней области и путь туда лежал через "столыпин". В транзитной камере был сброд на все направления. Рядом с Никитой крутился неутомимый Толик, который по-прежнему не бросал свой веник.

— Молодец, что закосил, — подбадривал он. — Вдвоем веселей.

— Я не косил. Я суду показал свободу мысли и действия.

— Для них это все равно, что верхом на венике, — ухмыльнулся Толик. — Судья для того и есть, чтобы запрещать, а не разрешать. А если ты вышел за рамки положенного — это уже преступление или глупость...

Толик рассказывал всякие психические тонкости, которые он наблюдал в обществе, а Никита слушал и поражался его опыта и личной настырности. "Один раз с ума сошел человек, и столько много узнал, будто вернулся с другой планеты..." — размышлял Никита. — А может врет, может не один раз, может всю жизнь дураком ходит, кто его знает, в голову-то не заглянешь. Видишь, говорит по-умному, а без веника жить не может".

В ожидании скорого этапа он надежно обернул веник теплым шарфом, как дитя, и спрятал в вещмешок.

— Я без веника как без головы. Я понимаю всю его идеологию и сущность...

— Это что еще за идеология? — усмехнулся Никита.

— Идеология моего веника проста. Веник что делает? Мусор выметает. Секешь, мой веник "мусоров" разгоняет...

— Это уже политика... Кстати, а ты за что сидишь?

— За свой веник. Я ведь тебе говорю: я и веник — одно целое. Вот, скоро поясню докторам... И тебе нужен предмет для пояснения. Ты почему один?

— Я не один. Я с бородой.

— Бороду у тебя скоро отберут.

— Как отберут? — испугался Никита за свою бороду, с которой успел сродниться.

— Просто — остригут. Ты отрастил бороду в тюремной жизни? В тюремной — значит, не по закону. Твоя фотокарточка на тюремном деле без бороды? Без бороды. Значит, и на этап пойдешь без бороды...

Никита загрустил о своей несчастной бороде, как о себе самом, а Толик подумал, как о венике, и предложил:

— Не думай, забудь про бороду, она не имеет большой идеологии. Лучше вези к докторам свою шапку...

— Шапку? — не понял Никита.

— Конечно шапку. Придумай из нее дурацкую форму и вытягивай свободные мысли. Только не вздумай доказывать докторам, что мысли рождает голова, а не шапка.

Никита вывернул шапку и ничего не увидел, так и не смог представить в ней рождения мысли.

— Нет, я поеду сам. К тому же ехать в зимней шапке не сезон...

Был теплый весенний вечер. Никита влез на верхние нары, ближе к окну, прижался лицом к решетке и затосковал от проходящего запаха молодого цветенья. А может и не было рядом тоскующего запаха, а был заключенный воздух тюрьмы, но Никите хотелось вдыхать весну, хотелось солнечного света, и он смотрел другими глазами. Еще он помнил — завтра его день рождения! В детстве в этот день с друзьями ходил на реку, там ловили жирных пескарей, потом жгли костер, варили уху... Стал подсчитывать — какой уже раз он “празднует” свой день рождения в тюрьме, и захотелось перенести этот день в другое время, в другое пространство...

Открылась дверь, и контролер втолкнул в камеру бородатого арестанта. Он нашел себе место и стал сидеть уединенно.

“Тоже в психушку собрался”, — подумал Никита и подошел знакомиться:

— Как зовут?

— Санек.

— Ты куда — в “дурильник”, косишь?

— Нет, я на “химию”, — безразлично отвечал Санек.

— На “химию”! — воскликнул Никита так, будто для него зачищали оправдательный приговор. — Так это свобода, а ты нос повесил.

— А-а... — отмахнулся Санек как от чего-то неопределенного, скучного, ненужного.

А у Никиты появилось желание поговорить, вспомнить, поддержать.

— На свободу отсюда нужно бегом бежать. Там вся жизнь: хочешь — умом изобретай, хочешь — руками действуй, женщин люби, семью создавай...

— Все это есть — и жена есть, и семья есть... Но теперь ничего не надо.

— А что так?

Арестант неприятно съежился, закурил и стал рассказывать, что встретил в тюрьме человека, который спал с его женой...

— Так это — обычная болтовня, “прикол”. Он посмеялся над тобой. Ты, наверное, жену любишь?

— Люблю... Она красивая. Даже очень красивая... Но он не смеялся, он метку ее сказал — на левом плече родинка — это моя Маринка... Вот и противно мне. Не хочу ее видеть...

Никита слушал Саню и видел темноту, не способную к жизни. Рядом с этой темнотой Никита ощущал простор личной могучести и предложил:

— Если не хочешь на свободу, давай “засухаримся”: я за тебя пойду домой, а ты сиди здесь, пока не возродишься...

14

“Сухариться” — это когда два арестанта согласованно меняют меж собой свои тюремные дела: у одного впереди срок, у другого — свобода. На памяти у Никиты Молькова были единичные случаи, когда арестанты пытались “сухариться”, но безуспешно. Это его не пугало. Он видел перед собой беспрепятственный выход, и каким-то чувством догадывался, что тюрьма не держит его, отпускает, и для этого все специально складывается. Его двойник, Ефремов Александр, годами был моложе, но на его лице и на тюремном деле была борода, которая уравнивала внешность.

Ночь Никита не спал, он наполнялся уверенностью и ощущал непоколебимое движение вперед. Он не спал, но он и не томился в ожидании, будто знал, когда придет его время.

Никита встретил рассвет нового дня как личный подарок — прижалвшись лицом к решетке и вдыхая весну.

Утром контролер вызвал:

— Ефремов!

Никита не спеша подошел к открытой “кормушке”, притворился, будто еще спит и, зевая, ответил:

— Ефремов Александр Григорьевич... 1963 года рождения... Статья 124... стройки народного хозяйства...

— Что, борода, на свободу, — бубнил контролер. — Давай, расчитывайся с тюрьмой.

Никита стал сворачивать казенный матрац, украдкой толкнул спящего Ефремова.

— Я пошел, а ты так и спи... Скоро будут кормить, ты вставай, поешь, и дальше спи... А когда раскроют мой побег и тебя спросят, почему ты здесь, а я там, так и скажи — проспал.

Ефремов стал спать дальше, а Никита пошел из камеры.

Контролер забрал казенные вещи и пересадил его в другую камеру — пустую и узкую.

— Сиди здесь, пока не придет за тобой “покупатель” из комендатуры.

Никита остался сам с собой, обдумывая себя дальше: “Первый шаг вперед сделал. Все получается просто: никто не хочет подозревать, что я — это не я... Сейчас придет “покупатель”. Борода бородой, но нужно быть от него подальше...” Он ушел в дальний угол камеры и без нужды сел на унитаз.

Скоро открылась дверь. На пороге стоял рыжий капитан — “покупатель” — и держал в руках тюремное дело.

— Ефремов... Ты где? — крикнул он в камеру.

— ...Александр Григорьевич... 1963 года рождения... статья 124... — отвечал Никита с унитаза, не спеша натягивая штаны.

— Давай выходи. Нашел время на параше сидеть... — обозлился “покупатель” и не стал даже смотреть на фотографию.

Никита видел, что рыжему капитану не нравится быть в тюрьме, морщит нос от запаха параши, часто прикладывает к дыханию чистый платочек и торопится выйти на воздух. “Это хорошо, значит, скоро выйдем...”

— Шагай влево... стоять, вправо... шагай скорей... стоять... прямо, вперед... — управлял он сзади “купленным” заключенным, как роботом. Никита с радостью шел из тюрьмы.

На КПП “покупатель” дал для проверки тюремное дело двум солдатам, махнув рукой в сторону заключенного:

— Забираю.

У Никиты по-настоящему заволновалось сердце. Чтобы не испортить побег на последнем месте, он стал улыбаться, подтверждая, что он по-честному освобождается из тюрьмы. Солдаты поочередно оценили улыбающуюся бороду, сравнив ее с фотографией, и разрешили:

— Забирай...

Капитан привез Молькова в спецкомендатуру.

— Теперь будем знакомиться ближе.

С этими словами он разорвал бумажный пакет и достал тюремное дело Ефремова Александра с биографическими данными в тюрьме и до тюрьмы. Лицо его приняло рассудительный вид, и Никита насторожился: “Сейчас начнет прощупывать, докапываться...” Капитан врасплох стал спрашивать о домашней жизни Ефремова, а Никита не знал той жизни, он всяко выкручивался, выдумывал, и у него это получалось.

— ...Водителем работал?

— Работал.

— Класс, категория?

— На ЗИЛу работал — бензовоз... Потом на легковую перешел — шефа возил...

Рыжий капитан брал новые листы с жизнью Ефремова, проницательно смотрел на Никиту и сравнивал их с ним. Никите не по душе

становилось такое знакомство; вот-вот, и найдет тот вопрос, по которому обнаружится его побег; он опустил голову и смотрел на свои ноги, сожалея: “Нужно было сбежать уже по дороге...”

— ...Женат?

— Женат... Был женат.

— Почему был? По тюремной жизни ты еще женат, и сын имеет ся...

Никита вспомнил Сашкин рассказ про непутевую жену, и стал играть его роль.

— Сын-то имеется... Да только жена перестала быть женой. Пока я сидел, она с дружком моим спала...

— Как узнал-то, если сам в тюрьме сидишь?

— От дружка и узнал, его тоже посадили, в тюрьме встретились.

— Да врет он все, — заверил капитан. — Все врет. Наверное, красивая у тебя жена, вот и завидует.

— Нет, не врет, — не сдавался Никита. Ему понравился этот отвлеченный от дела разговор, и он специально тянул его. — Не врет, потому что метку назвал — родинка на плече...

— И у моей жены родинка на плече, и что теперь? Может, у красивых женщин всегда есть родинка на плече, — капитан заступался за жну Ефремова, как за свою, и Никита уже не хотел ему противостоять, чтобы не разозлить. В ответ он ничего не сказал, а только тяжело вздохнул.

Тяжелый вздох капитан оценил, как мучительное сожаление по разрушенной семье, и посочувствовал:

— Ты только не отчаивайся, Ефремов. Вот, с недельку поработаешь, на выходные дни домой тебя отпущу. С женой встретишься, помиришься, то да се...

Видимо, по-настоящему ему стало жаль Никиту, и он, не глядя, пролистал остальные листы. Остановился только на последнем — медицинская книжка заключенного, здесь было отмечено здоровье Ефремова.

— В армии, значит, служил?

— Служил...

— Вижу, ранение было?

— Было...

— А работать-то сможешь? Работа у нас тяжелая... В какое место тебя подстрелили? — вопрос был проверочным, и капитан ждал ответ.

В голову разом ворвалась сотня мыслей, и они наперебой предлагали себя Никите: рука, плечо, живот, нога, голова... Вдруг все вспыхнуло и пропало, будто сгорело, на памяти остался тот парень, которого Костя в драке ранил ножом в ногу. Прошло уже много лет,

но перед ним все ожило и задвигалось... Сейчас он ясно видел, как белые джинсы просачиваются алой кровью...

— Работать смогу. Рана чепуховая... Да и давно это было. Вот, в ногу зацепило, — он хлопнул себя по правому бедру.

Ответ удовлетворил капитана, он закрыл тюремное дело Ефремова и подал Никите медицинскую книжку:

— Беги в нашу поликлинику, проходи осмотр, и чтобы завтра же на работу. Запомни, у нас кто не работает, тот назад — в тюрьму идет.

Никита взял медицинскую книжку и понял, что на этом месте кончилась тюрьма. Он вышел из кабинета, пошел дальше один без конвоя, без надзирателей, и уже на улице открыл медицинскую книжку Ефремова, прочитал: "...Огнестрельное ранение в правое бедро". Чудеса да и только! Покажи в руку, в плечо или даже в левую ногу — Рыжий тут же раскусил бы, рыжие — люди хитрые, от них так просто не уйдешь...

Вдруг Никита увидел, что за ним следит капитан, уже догоняет, что-то говорит вслед. У Никиты перехватило дух, но он сдержал себя и остановился. А тот, как оказалось, вышел вслед, потому что у него не осталось сомнений: он поверил, что освобожденный будет здесь трудиться по-честному, даже с огнестрельным ранением, и ему захотелось показать свою щедрость:

— Наверное, есть хочешь? Ведь ты прямо из тюрьмы...

— Хочу, — согласился Никита, не думая о пище, а думая о продолжении побега.

— На, возьми у меня деньги и иди в столовую. Как заработаешь, вернешь...

Никита взял деньги и ушел. "Хороший мент, я бы без него, наверное, не сбежал, — думал Никита, когда на улице останавливал такси. — Получается, не все рыжие скряги и жмоты — этот лучше всех. Только зря он себе такую дурацкую работу выбрал..." Ему захотелось, чтобы рыжий капитан стал директором большого завода и всегда выдавал людям вовремя зарплату...

15

Никита ехал домой по дороге между районами — старым и новым, — эта дорога ему всегда нравилась, она была широкая и ровная, здесь не было каменных домов, а стояла березовая рощица. Все березки — белые, стройные, красивые — они всегда такие, они не могут быть другими.

— Давай, шеф, гони, жми на газ, с ветерком, — восторженно кричал Никита. — Свобода! Моя свобода...

— Куда спешишь? Откуда такой веселый? — спрашивал водитель.

— С тюрьмы сбежал... Домой, домой спешу...

— С тюрьмы сбежал? Ха... — недоверчиво усмехнулся водитель. — Врешь, парень, с тюрьмы средь бела дня не сбежишь.

— А я вот сбежал. Такое бывает только раз в жизни и только в этот день — сегодня мой День рождения, а День рождения люди дома празднуют.

У Никиты замелькали цветные мысли, которые рождались еще в тюрьме, теперь он был ближе к ним, ближе к своему дому. Для достоверности, что это не сон, вытягивал из машины руку и хватал ветер, наполняясь жизнью...

А вот и дом — старенький, приземистый, в этом доме он родился и выброс — это его земля, его родина.

Никита вошел во двор. Родители работали на огороде. Мать увидела сына — он стоял у дома и улыбался ей, пожимая плечами, точь-в-точь как в детстве, когда поздно приходил с гулянки и боялся, что мать начнет ругать его.

Мать бросила лейку и бегом к нему. Отец бросил лопату — и к нему. Родители торопились к сыну, и на их лицах стоял один вопрос: “Это наш сын? — Точно, наш сын. Как же это? Не может быть! Неужели с тюрьмы сбежал?”

— Амнистия! — врал Никита, чтобы остановить, опередить, смягчить удивление родителей, которое теперь перерастало в тревогу.

Тревога так и застыла на лице матери, она прижалась к сыну и стала тихо плакать. Она поднимала к нему лаза, и эти глаза говорили: “Врешь, сынок, нету амнистии... сбежал, все вижу...”

А сын не хотел, чтобы мать сейчас плакала и была напугана, и продолжал обманывать ее:

— Амнистия, мама... Эта амнистия по-новому — как в отпуск, на один день отпускают тех, кто хорошо себя в тюрьме ведет...

И мать будто бы поверила или специально дала себя обмануть, утерла слезы:

— Здравствуй, сынок!

Дома Никита стал брить бороду: теперь от нее нужно было избавиться, как от улики. Но оставил усы, чтобы окончательно запутать свою внешность. Никита посмотрел на себя в зеркало и рассмеялся: вспомнил следователя...

Мать быстро собрала стол. Она была радостная и взволнованная. Она торопилась накормить сына. Она боялась, что вот-вот, и все это кончится, исчезнет так же неожиданно, как появилось, ей уже казалось, что все это не по-настоящему — рядом сидит ее сын, который в этот час должен сидеть в тюрьме?

Отец разлил водку и все вышли за сына — за его день рождения. Потом Никита предложил выпить за этот дом, в котором он родился...

— А мы с матерью всегда в этот день без тебя тебя вспоминаем, — говорил отец и с укором смотрел на сына. — Не живется тебе дома...

— Ничего, отец, поживем еще, — заверил Никита. — Думал я думал, и решил тюрьму на дом поменять. Дома лучше... Женюсь. Работать пойду... — Никита специально оживлял родительские мечты. Пусть порадуются. Но сам знал, что это будет не скоро, он еще наполовину в тюрьме. Тюрьма была совсем рядом, она молча стояла за спиной и тыкала в затылок. Никита торопился. Сегодняшний день был коротким, настолько коротким, что мог оборваться в любую минуту...

Вспомнил Лариску, ее слезы на суде, и стало приятно: вот человек, который его не забыл еще, любит. Захотел увидеть ее.

Никита переоделся в лучший костюм, почистил туфли, подошел к зеркалу и опять усмехнулся над своими усами. “А что, у Лариски мне будет безопасней, чем дома. Девка-то нашенская, не настучит...” — так рассуждал он, направляясь к своей старой подруге.

16

Лариска была дома. Но, увидев Никиту, она испуганно вскрикнула и кинулась от него в глубь комнаты.

— Не тронь меня...

Она упала и забилась в угол, закрывая лицо руками, будто ее пинали. Никита осталбенел: что это с ней? Ее ненормальное поведение он отнес к болезни, которая случается часто от наркотиков. “Галлюцинация. Не узнает”. Он взял ее за руки, поднял с пола и стал успокаивать:

— Не ори как резаная, успокойся. Смотри, это я, Никита. А ты от меня бежишь...

Ларискино тело тряслось от плача, казалось, она не слышала его и продолжала бояться, но уже не так сильно.

— Я знала, что это будет — ты придешь, — с трудом выдавила она и стала говорить уже разумно. — Прости меня. Я тогда не хотела, так получилось... Я в тот день кумарила, мало что понимала, а тут опер приперся, говорит, скажи, где Молек ворует? Ханку достал... Я и сказала, что ты — на рынке...

— Врешь... — выдохнул Никита, чувствуя, как дрожат губы, тяжелеют глаза.

— Не вру. Зачем мне это...

— Вот именно, зачем тебе это? За что ты меня так?

Такое признание смягчило гнев Никиты и он не озлобился, а только опустил руки, будто нарочно выронил то, что поднимать уже не хочет. Взглянул на нее презрительно:

— Дрянь. А ведь я не верил, когда мне говорили, что ты за ханку продаешься...

— Хочешь правду? — прервала его Лариска. Она уже совсем не боялась его и смотрела вызывающе. — На правду, слушай. Сделала я это не из-за наркоты, я бы и без ментов нашла уколоться... Тогда я тебя ненавидела. Почему? Потому что ты меня на Наташку променял. Встретила бы ее — глаза ей выцарапала. Конечно, я для тебя стала не такая как раньше, вон, зубы сгнили, задница уже не та. А почему? Разве не ты меня такой сделал? Сначала “ширмой” жила по твоей указке, потом опий дал попробовать. Сам-то на водку перешел, а я... Вам, мужикам, всегда легче... А мы, девки, если что полюбим, то надолго — хоть вас, мужиков, хоть наркотики...

Никита слушал Лариску, отвернувшись. Слушать ему это было неприятно, он и сам все знал, но не думал, что Лариска все это выскажет в лицо. Он выслушивал старые бабы обиды, и спорить с ней не хотел.

Вдруг Лариска метнулась на кухню, будто забыла выключить плиту, хлопнула там холодильником и скоро вернулась. На стол поставила бутылку “Русской” водки, стаканы и блюдо с холодной закуской.

— Выпьем, — предложила она и облегченно вздохнула, вздохнула так, будто пришла не из кухни, а вышла из душной, вонючей камеры на воздух, и ей есть чем дышать.

— С наркотой завязала? — не верил он.

— Да, завязала. Вот, иногда водкой балуюсь.

Никита внимательно посмотрел на Лариску: и действительно, лицо как лицо, здоровое лицо, не зеленое, и глаза как глаза — яркие, открытые, нет в них наркотической муты.

— Тогда я и завязала, как тебя ментам продала, — рассказывала она. — Тошно стало от этой ханки. Уколюсь, а меня мутит, рвет, выворачивает наизнанку... — она села к нему ближе и прижалась к плечу. — Прости.

Он не оттолкнул ее, но и не было желания быть рядом.

— Забудь об этом, — сказал он и предложил. — Давай выпьем. Выпьем за наше прошлое, у которого не будет будущего...

Он налил водку и выпил.

— А почему не спросишь, откуда я взялся? Почему не в тюрьме? — спросил Никита, направляясь к двери.

— Я не дура, вижу, сбежал... Я тебя о другом хочу спросить: почему ко мне пришел, а не к Наташке?

— А я забыл ее. Я всех забыл — будто хорошо башкой трахнулся... И тебя бы не вспомнил, если бы ты на суд не пришла.

— Ты уже уходишь? Да, тебя, наверное, ищут... Что, станешь скрываться? А хочешь, я тебя ждать буду?

Никита видел, что она не хочет его отпускать, всяко пробует удержать. Но зачем? Он смотрел на Лариску и думал: “Гнилые зубы можно заменить на золотые, и будет сверкать, но как избавиться от предателя?”

Никита ушел от своей старой подруги с чувством полного опускания, и теперь он думал: “Да кому я вообще нужен, кроме своих родителей...”

Он возвращался домой. Город уже спал, но Никита чувствовал себя не безопасно: нет-нет, да появлялась на дороге милицейская машина с мигающей лампой, он тут же в кусты. Никита видел, что он сбежал не совсем: в камере остался тот первый тюремный Никита, и он не отпускает его, не дает собраться воедино. Он начинал понимать, что ворованная свобода у него не получается. Это то же самое, что украсть чужую женщину и заставить ее себя любить. Но эту ночь Никита хотел прожить дома. “Что будет, то будет. Сашка, наверное, еще спит. Значит, и у меня есть время...”

17

Никита вернулся домой утомленный, с угасающей радостью, которая еще днем озаряла его и окрыляла на побег. Разделился и сразу в кровать. Это его кровать — мягкая панцирная сетка, металлические ножки, а на спинке есть никелированные шарики, которые он пацаном откручивал и катал по полу — уютная кровать, от нее он отвык и вспоминал о ней в тюрьме, когда валялся на нарах калачом, поджав ноги, укрывшись бушлатом...

— Спать? А ужинать? — не понравилось матери.

— Я сыт...

Мать стала обижаться:

— Приготовила твои макароны по-флотски.

— Меня Лариска накормила, — усмехнулся Никита и устало добавил. — Мама, я есть не хочу, я спать хочу. Не думай я, что от свободы так тяжело бывает. День сегодня большой: еще утром был в тюрьме, а теперь вот на своей кровати, на белой простыне... А макароны я утром съем. В тюрьме завтра опять будет пшенка...

Закрыл глаза и сразу уснул. Уснул, и увидел сон. Приснился ему бревенчатый дом, рядом с домом стоят, покачиваясь, деревья — высокие, с густой листвой... Под одним деревом Никита увидел себя: лежит на земле, а на груди множество глубоких ран. Здесь же незнакомая девушка, совсем молоденькая, с косичками, она смазывает густым маслом большую грудь Никиты и что-то ему говорит — тихо, незапамятно; раны затягиваются, и Никита чувствует необыкновенную легкость, будто что-то отстало от него, отпустило...

Проснулся утром, а сон так и стоит в глазах. А может, это был и не сон. Никита трогает свою грудь — здоровая грудь. Тогда он подходит к матери и рассказывает ей увиденное.

— Ты можешь разгадывать сны, объясни...

— Сон хороший, добрый. Облегчение получишь...

— А кто эта девчонка? — спрашивает Никита и мать, и себя.

— Девчонка? Не знаю, — мать пожала плечами. — Но думаю, сам скоро все узнаешь...

После завтрака Никита стал собираться, он понимал, что дома ему больше нельзя находиться. К нему подошли озадаченные родители:

— Ну что, сын, назад?.. — спрашивал отец.

— Вернешься в тюрьму? — спрашивала мать, подавая сыну узелок с продуктами.

— Да, в тюрьму, — утешал родителей Никита, хотя уже знал, что в тюрьму он не пойдет, ему нужно бежать дальше, только не знал — куда? В это время его не пугала неизвестность, напротив, он испытывал обнадеживающее, доверительное чувство — что все это закончится удачно...

Простившись с родителями, Никита поехал на автовокзал и встал в очередь. “Пока подойдет мое время, все решится...” У него были адреса друзей: “Мишка живет в Жукове... Борек в Тимофеевке...” Когда-то вместе сидели, но где они сейчас?

Какой-то паренек нагло лез в кассу: он втиснулся перед девушкой, которая стояла спиной к Никите — хрупкая, с косичками, с виду невзрачная, похоже, сельская — у нее на плече болталась сумочка и казалась такой же доступной, как ее хозяйка, которая в это время читала книгу и ничего не подозревала...

Осторожным движением Никита открыл сумку и увидел среди прочих документов кошелек. “Такую разиню грех не наказать”. Протянул руку к кошельку, зажал его меж пальцев, но кошелек соскользнул: то ли пальцы от напряжения вспотели, то ли кошелек так тяжел... Стало унизительно за свою воровскую неспособность. “Дармовой кошелек, и не могу поднять”. Потянулся снова, но рука, будто чужая, не вошла в сумку, а слепо ткнулась в незнакомку, и она обернулась.

— Зачиталась, — нашелся Никита, приветливо улыбаясь. — А у тебя вот-вот кошелек вывалится. Потом будешь воров ругать.

— Спасибо, — она закрыла сумочку и дополнила. — А воров я не боюсь. Они меня не трогают.

— Это почему же? — ухмыльнулся недоверчиво Никита.

— А я молитву знаю.

— Молитву?! Во как, — он уже всяко подумал о самоуверенной незнакомке, которая не боится воров: или в милиции служит, или же сама воровка, но тут — Молитва. И, наверное, не поверил бы сейчас ее словам о молитвенной силе, если бы минутой раньше сам не испы-

тал странное чувство, противное его воле. Теперь он думал: “Если есть молитва против воров, значит, есть молитва и за воров — пошептал нужные слова, и кошельки сами будут к рукам прилипать...” Не скрывая интереса, Никита стал расспрашивать о молитвах всякого рода и на всякий случай жизни, утаивая при этом свой злой умысел на легкий промысел. А девушке было приятно и достойно открыть молитвенную тайну молодому человеку.

Дальнейшие действия Никиты происходили под давлением чувств, нежели от разума: испытывая влечение к незнакомке, он, вслед за ней, купил билет на один маршрут.

— Значит вместе, в Георгиевку, — лукавил он, усаживаясь в автобусе рядом с девушкой.

В пути легко познакомились. Никита назывался Сашей, который дет в гост к родственникам.

— Надя, — представилась девушка и рассказала. — В церковь приезжала. У нас в селе нет своей, приходится в город... Уезжаю с вечера. В городе тетка живет. Проведаю ее, ночую, а с утра на службу... С церкви сразу на вокзал. Беспокоюсь, дома у меня маленько хозяйство: куры, козочка...

Никита слушал доверчивый рассказ Нади, и ему было спокойно с ней. Он видел, что чем дальше уезжает от города, тем дальше отстает тюрьма, ее уже нет за спиной, она только иногда мерещится и не больно цепляет за память.

Впереди открылось село, и Никите показалось, что он уже жил здесь. “Как оно уютно!” Село старое и большое. Дома стоят разные: бревенчатые, кирпичные, есть даже двухэтажки... А рядом протекает речка и сразу тянется лес.

Они сошли с автобуса и пошли по пыльной дороге, о чем-то говоря... Вдруг Надя спросила:

— Саша, а кто у тебя родственники?

— Я не Саша. Меня Никитой зовут... Я — вор. С тюрьмы сбежал, — вдруг признался он, и самому это стало неожиданностью, будто кто за язык потянул. Признался, и тут же испугался своего признания: а вдруг она сейчас уйдет...

— Ты меня и теперь не боишься?

— Я ведь тебе сказала: я воров не боюсь, — сказала она полуслутиливо и взяла его за руку. — Ну что стоишь, пойдем...

За городом ночной патруль остановил легковую машину — там трое мужчин. Старшина проверил документы, отдельно изучил лицо каждого, сравнивая с фотографией в руках, заставил водителя открыть багажник, осветил там фонариком — пустота, и отпустил.

— Можете ехать...

— Уже третий раз проверка... Что случилось? — водителю интересно.

— Побег из тюрьмы. Попутчиков не берите...

— Они вооружены?

— Не они, а он...

Люди в машине осмелились.

— Один?! Чего бояться, мы с ним сами...

Старшина ухмыльнулся: “Ну-ну, давайте...” Безразлично махнул рукой в сторону отъезжавшей машины. Его уже тяготило патрулирование, которое тянется всю ночь: майская, прохладная ночь, да еще с дождичком — ничего приятного...

Рядом со старшиной молодые солдаты: скучковались, курят, с нетерпением ожидают очередную машину, для них сейчас все чрезвычайно важно, а вдруг именно здесь поедет “беглец”.

— А если он окажет сопротивление? — спрашивает один солдат.

— Сопротивления не будет, — отвечает старшина, он не верит, что беглец попадется: уже вторые сутки как сбежал. За это время он далеко...

Хозяин тюрьмы тоже понимал, что за это время беглец мог уйти далеко, но все-таки послал в дом Мольковых оперативную группу. Капитан Костюк битый час расспрашивал мать и отца о сыне, но родители только плечами пожимали.

— Знать ничего не знаем. Был в тюрьме...

Костюк не унимался, ходил по комнатам, что-то вынюхивал, заглядывал в углы. С пола поднял подозрительную одежду.

— А это чье? — он держал брошенные тюремные штаны Никит. Понюхал их и обрадовался. — Ага, камерой пахнут...

— Мои штаны, — выступил вперед отец.

— Эти штаны для вас длинноваты сантиметров на двадцать...

Но отец не уступил капитану. Он выхватил штаны сына, одел их и подвернул:

— Люблю с манжетами...

Костюк понял, что родители не хотят предавать сына, и ушел из дома. Он приехал в городскую милицию и рассказал все о побеге дежурному начальнику, майору Храпову.

— Оставил за себя двойника и сбежал... Пока тот проснулся — двое суток прошло... Теперь ищи его... К вам просьба: проверьте его дружков, может, он еще в городе. Но только чтобы все тихо, без федерального розыска, если там узнают, наши погоны полетят. Получается, он е сбежал, а мы его сами отпустили...

Наде было три года, когда умер отец. Он работал в колхозе трактористом. Пьяный уснул за рулем и съехал на тракторе в реку — утонул. Мать одна воспитывала дочь. Школу она окончила отлично, но дальше учиться не стала. Мать заболела: после старой травмы началась саркома. Надя пошла работать на ферму и успевала ухаживать за матерью, через каждые пять часов делала уколы — подкожно и внутривенно — все делала сама. Только бы выздоровела. Надя выгадывала время и успевала ездить в городскую церковь — молилась, просила у Господа исцеления...

Но мать видела свою кончину и прощально беседовала с дочкой:

— Измучила я тебя. Молишься, здоровья мне у Господа просишь, а болезнь моя неизлечима — то мой грех: бросила я тогда нашего отца, он запил, а я рукой на все махнула... Теперь о тебе только и думаю: как же ты выживешь одна? Чтобы дальше жить, тебе семья нужна — опора — близкий человек. Но для этого никого специально не ищи. Все добрые встречи случаются по-божьему, — как бы невзначай. А как встретишь, то прими его не умом, а сердцем — оно тебе подскажет...

Три года мучилась мать, и умерла. Первое время Надя достойноправлялась: женские работы исполняла сама, а что было не под силу — выполняли сельские мужики, и шли они к ней безоговорочно, зная одиночное положение девушки. Приходили школьные подруги и наперебой предлагали парней, которые готовы были завтра же свататься. Надя краснела:

— Нет, девочки, я так не могу...

Она отказывала подругам, а в себе таила надежду, что вот-вот, и встретится со своим возлюбленным, и встретится с ним не специально, а невзначай...

...И вот это случилось. Она стояла в очереди за билетами и читала молитвенник. Тогда она и думать не могла о том человеке, а он ее предостерег:

— У тебя сумочка открыта. Будешь воров ругать...

— А я — молитву знаю.

— Молитву?!

Это был первый человек, который у нее спросил о молитве. И Надя полна желания рассказать ему о молитвенной силе... Потом он признался в побеге, но она не видит в этом ничего преступного: “Сбежал... Но он пришел ко мне. Пришел не специально, а так получилось...”

Она привела Никиту в свой дом и начала суетиться, как старая домохозяйка, которая находилась в долгом ожидании любимого, и вот теперь ее терпение кончилось, ее прорвало, она скоро собрала стол и сама предложила:

— Выпьем за знакомство!?

Принесла банку с вином — его настаивала на яблоках, но сама никогда не пила, держала для мужиков — помощников по хозяйству. От вина Надя захмелела; ей сегодня хорошо и весело, чувствует себя свободно. У нее в доме человек, которого она не боится и не стесняется, будто давно и близко знает его. Надя чувствует безоговорочное влечение к нему и не хочет себя удерживать...

В этот же день она ему отдалась. Отдалась так легко, будто делала это не в первый раз.

Никита удивился, увидев рядом испорченную девственность:

— Ты с ума сошла. Хоть бы предупредила, я бы не тронул.

Надя молчала, скавшись и уткнувшись в подушку. После слов “Я бы тебя не тронул” она повернула к нему заплаканное лицо и долго смотрела. Никита еще хотел спросить: “Зачем тебе это надо было?”, но по ее глазам понял — ей это надо было.

Они лежали в постели и молчали. Никита молчал, не находя нужных слов, а Надя ждала — что скажет он?

— Ты верующий? — нарушила она тишину.

— Не знаю.

— А зачем на груди крест нарисовал? Он что-то обозначает?

— Понравился, вот и нарисовал...

— Крест — это путь к Богу, это терпение.

Потом она уснула, прижавшись щекой к его груди. А Никита тихо гладил ее по голове и вспоминал вчерашний день, это был его день, в этот день он родился и вырос, его он забрал с собой и принес сюда, в этот дом...

20

Спустя Неделю Надя собралась в церковь.

— В моей жизни произошли перемены. Обязательно надо исповедоваться, причаститься, — объяснила она Никите и позвала с собой. — А ты? Вдвоем бы лучше.

Никита нахмурился и отвернулся. Разговор о поездке в церковь ему не понравился: чувства подсказывали, что в город сейчас нельзя.

— Я не поеду, — отказался он и подал Наде письмо, которое написал на днях родителям, но отправлять из села не решился. — Брось письмо в городе.

Он остался в доме один. Здесь он чувствовал себя защищенным. Сельчане положительно отнеслись к появлению молодого мужчины, который теперь скрашивал одиночество девушки. И с Надей было легко общаться, она не была любопытной и нудной.

Но случались минуты, когда Никита начинал вспоминать тюрьму и брошенного там Сашку. Тогда он чувствовал себя в Надином доме

чужим, посторонним человеком, и терзался. На него находило сомнение, что рядом растет опасность и ему нужно бежать...

То же самое с ним произошло, когда Надя уехала в город. Уже под вечер Никита вышел во двор, закурил. “Да, здесь можно прокантоваться”. Вдали темнел лес, сверкала река, закатывалось солнце... Стал думать про Надю и затосковал — добрыми, нежными чувствами любви. Сейчас ее так не хватало...

Вдруг его чувства засомневались и породили страшную догадку: “А если не в церковь поехала... А может — в ментовку — закладывать?..”

Вспомнил Лариску, и этим еще больше разжег сомнение. “Все они одинаковые...” Утверждаясь на мысли, что опасность уже к нему идет, Никита вдруг растерялся: что ему сейчас делать? Бежать из села? Но как? Автобусы не ходят. Уйти в лес? — эта мысль ему показалась совсем глупой, и он решил остаться в доме. “Здесь куда лучше, чем в лесу... А может, все не так, как я думаю, может, я ошибаюсь... Буду ждать здесь...”

Раздираемый тяжелыми чувствами, Никита взял банку с вином и стал пить. Пил стаканами, будто хотел залить, утопить в себе то, что мешало ему, но оно никак не тонуло. Хуже того, теперь ему казалось, что опасность совсем близко.

Опьяненный, выскоцил во двор, в сарае нашел топор и вернулся в дом. “Врешь, меня так просто не возьмешь...” Сила бешенства обуяла его, и он метнулся по дому с желанием крушить, жечь...

Вдруг встал перед иконой, будто кто схватил его: перед этой иконой Надя молится вечерами, молится о нем, он это слышит... Увидел в своих руках топор и сам испугался: “С ума спятил... Что это я? Против кого? Ведь она мне — всю себя... как слепая кошка”. Он стоял, опустив голову, и ощущал всю тяжесть выпитого вина. Захотелось спать...

Когда Надя вернулась из города, то увидела в доме беспорядок: по полу валялись окурки, на столе сохли куски хлеба, стояла опустошенная банка...

Никита лежал в постели, у кровати Надя увидела топор, встревожилась:

— Что случилось? Кто здесь был?

Он с трудом оторвал от подушки голову и посмотрел Наде в лицо: смотрел так, будто забыл его, и теперь вспоминал:

— Это ты. А я-то думал — за мной...

Он был укутан одеялом, но видно было, как его знобило. Говорил слабым голосом, и Надя догадалась:

— Ты болен, — дотронулась рукой до головы. — Да ты весь горишь.

...Болезнь схватила Никиту в самом слабом месте — когда он разрывался на части и не мог определить: где он должен сейчас быть? Эта болезнь не имела определенного лица и непонятен был ее источник, но она принесла с собой все разрушительные свойства. Она не отпускала его несколько дней, жгла и выламывала тело, мучила страдальческими чувствами, мучила сознание и вводила в бред. Когда он приходил в себя, то видел взволнованную Надю: она поила его таблетками и каким-то травяным отваром, натирала огненное тело снадобьем и все спрашивала: “Тебе полегче? Ну и хорошо. Скоро будешь здоров...” Потом она долго сидела у его ног и что-то шептала — наверное, молилась...

Болезнь ушла. Она ушла так же неожиданно, как и появилась, будто это была вовсе и не болезнь, а кошмарный сон, который теперь напоминал, что в жизни есть нечто страшно, и его нужно бояться. Проснувшись утром, Никита увидел свет — нежный утренний лучик пробивался сквозь занавеску и тянулся по полу к кровати. Никита ощущал в теле растущую бодрость, встал с постели и вышел на крыльце. Надя была во дворе, кормила курей, увидев Никиту, все бросила, и к нему.

— Зачем встал? Ведь ты ослаб, — переживала Надя, заводя его в дом. — Три дня не ешь. Так и не выздоровеешь...

— Давай, корми, — согласился он.

Потом они сидели на лавочке и говорили о болезни, которая вдруг случилась. Никита хотел понять:

— Не пойму, с чего я так заболел?

— Бог посыпает на человека болезнь, чтобы тот задумался над своей жизнью...

— Верно говоришь, — согласился Никита, обнимая Надю. Он не смог с ней не согласиться, потому что именно сейчас испытывал в себе пробуждение, и увидел, что все вокруг изменилось, стало ближе и понятнее, и теперь хотелось жить совсем не так как прежде, и не было желания от этого убегать...

Однажды поздно вечером к Наде пришли подруги и позвали ее в лес.

— Ты что же, забыла, какая сегодня ночь?

— Помню, но я не пойду, — отказалась Надя.

Никита услышал короткий разговор, и ему стало любопытно. Когда подруги ушли, он подошел к Наде.

— А какая сегодня ночь?

И Надя рассказала, как во времена язычества родилось такое поверье: в ночь на Ивана Купала цветет папоротник и излучает чудный свет, а тот, кто найдет этот цветок, возымеет любовь и сча-

тье. Уже не одно столетие молодые люди, в особенности девушки, уходя в полночь в лес, чтобы увидеть цветок счастья...

— Я с десятого класса стала ходить с подругами в лес. И в прошлом году была...

— Ну и что, кто-нибудь видел этот цветок?

— Нет. Но все равно тянет. Ночью в лесу хорошо — таинственно. Костер там жжем...

— А мы с панцами всегда на реку ходили... Тоже костер жгли, уху варили, кукурузу, — вспомнилось прошлое Никите, и он предложил. — А что, пойдем в лес. Ты свой цветок поищешь. А я в костре картошку испеку. Отдохнем...

Надя с радостью согласилась. Никита собрал в сумку все нужное, прихватил топор, и они пошли в лес.

В лесу Надя показала полянку, окруженную березами.

— Мне это место нравится, здесь красиво и не страшно.

Никита быстро собрал дрова и развел костер. А девушка стояла, прижалась щекой к березе, и романтически улыбалась:

— Ночь сегодня волшебная: небо чистое, звездное. А вокруг лес: тысячи, миллионы деревьев, они, как и люди — растут, живут, чего-то хотят.

Потом она вошла в папоротник и увлеченно ходила в гуще дикого растения, пристально всматриваясь в каждый куст. В это время она напоминала наивную, глупенькую девчонку, которая хотела найти что-то ценное.

Никита сидел у костра, следил, как печется картошка, наблюдал за своей девушкой, и ему стало казаться, что он сейчас вернулся в детство, все вокруг таинственно и сказочно, где-то здесь зарыт клад, и о нем знают многие дети, они разбрелись по лесу и усердно ищут...

Никита не удержался, пошутил:

— Смотри, вон, светится!

— Зачем смеешься, — обиделась Надя. — Так никакой цветок не откроется. Его нужно искать с любовью.

— Прости, но я не верю, чтобы папоротник зацвел, да еще засвятися.

— А я верю. Я верю в Божье чудо. Бог, он все может, и все делает так, чтобы человек понял, что жизнь наша прекрасна...

Незаметно Надя вернулась на полянку, к костру, села рядом с Никитой и стала рассказывать, как интересна человеческая жизнь, если верить в Бога, надо только Его понять, заметить, полюбить...

Никита слушал ее и вспоминал, как ребенком интересовался у матери о Боге, а на ночь читал молитву, которая защищала его от ночного страха. Вспомнил Бову...

— Ты о чем-то думаешь? — Надя заметила на его лице глубокую задумчивость и попросила. — Всегда молчишь. Расскажи что-нибудь...

Они сидели у костра, а вокруг была ночь: тихая, летняя. Ночь была обыкновенная для земли и необыкновенная для Никиты. Сейчас ему казалось, что много лет назад он потерял память, то ли от ушиба или от какого другого потрясения, но вот теперь память возвращается. Они сидели у костра вдвоем, и Никита стал рассказывать, как у него на глазах сгорел его друг, а он не смог его спасти...

— До сих пор вижу этот огонь. Слыши его крик... Сгорел, как спичка... А сейчас я подумал — может, это я его тогда поджег? Ведь не мог он сам на себя бросить огонь?

Он умолк, задумчиво уставившись в костер.

— Вижу, плохо тебе, мучаешься, — Надя участливо прижалась к нему плечом и попросила. — Поедем в церковь. Тебе это нужно: покаешься, тебе сразу полегчает.

— Что значит покаяться?

— Покаяться — открыть Богу свои грехи, рассказать свою боль. Вспомни, ты за что в тюрьме сидел? Люди от тебя плакали?

— Думаю, плакали...

— Это уже грех. И если ты не успеешь при жизни покаяться, потом тебе плохо будет.

— Потом — это после смерти?

— Да.

— А ты веришь, что после смерти человек опять живет?

— Живет. Но живет по-другому, — уверенно отвечала Надя.

— Ну что ж, значит, покаюсь, — отвечал Никита, но скорее для того, чтобы не обидеть Надю. — Я потом покаюсь, а сейчас нужно дровишек в костер подбросить...

Он взял топор и подошел к старому, высохшему пню, который одиноко стоял посреди поляны. Он был больших размеров и напоминал угрюмый, заброшенный памятник. “Когда-то здесь цвела береза...” — подумал Никита и рубанул по нему топором.

Подошла Надя, собрала щепы, и вдруг воскликнула:

— Ой, что это, он светится!

Она держала в руках осколок древесины размером со спичечный коробок, который светился необыкновенным неземным светом.

— Да ведь это фосфор! — воскликнул Никита. — Я такого еще не видел, — он с силой рубанул по старому березовому пню с таким чувством, будто здесь нашел клад, и теперь осталось сбить с ларца замок. После удара на землю посыпались, словно горящие угли, священящиеся осколки гниющей древесины. Надя собрала их в ладони и, танцуя, закружилась у костра, будто в руках ее настоящее счастье.

— Ведь это цветок, мой цветок, в жизнь бы не поверила: мертвое дерево, а такое красивое...

Они возвращались домой и всю дорогу всматривались в осколок, который необыкновенно светился в ночи и пробуждал глубокие мысли: старая береза, которая умерла как дерево, а теперь живет как цветок...

Дома Надя поставила осколок в темное место и любовалась им, желая, чтобы дольше длился этот чудный свет.

Потом они легли спать и долго не могли уснуть, все говорили и говорили о чудо-цветке, который они сегодня нашли, и теперь он у них дома.

— Я сегодня счастливая! А ты?

— Не знаю... Наверное. Но вижу, что сегодня я тоже что-то нашел.

— Как тебя понять?

— Я всю жизнь куда-то бегу. С самого детства не живу, а бегу. Куда бегу? Зачем бегу? Сам толком не пойму... А вот сегодня понял — я остановился...

Когда Надя уснула, а спала она мирно, с детским посапыванием, Никите вспомнились его страшные детские ночи — Вовин огонь, и услышал он голос молитвы, которую читал ребенком, и оно защищала его от ночного страха. Ее слова вспоминались с трудом, по кусочкам, подобно склеиванию молитвенного листа. Перекрестился против того, кто сейчас противился молитве и когда-то порвал ее...

21

“Время вернет... Время вернет...” — думала мать о сыне, открывая альбом с фотографиями. Смотреть фотографии сына, вспоминая прошлые события — далекие, но живые — это было единственным ее утешением после разлуки. За полгода она получила от Никиты три письма, подобных тюремной записке, и это мало облегчало ее страдания: он оставался в неизвестности...

Посмотрев фотографии и утерев слезы, мать села у окна. Она каждый день сидела у окна и смотрела на дорогу. Ждала...

Там падал снег и поднимался ветер. “Вьюжит, — это не подекабрьски. Обычно вьюжит в феврале...” — так наблюдала она за природой через замерзшее окно. И вдруг увидела человека, от неожиданности привстало со стула: уж очень знакомая походка. Он шел по дороге и нес сумку. Остановился, огляделся, подошел к калитке, вошел во двор...

Мать вскочила и побежала к двери, стояла и не могла понять: сердце ее так стучит или кто-то в дверь?

— Мама, это я, — Никита вошел в дом и с опаской огляделся. — Нет чужих?

— Одна я, — сказала мать и не выдержала, зарыдала. — Живой...

— Живой, мать, живой. Еще какой живой, только не плачь...

Мать увидела улыбку сына и сама успокоилась.

Никита прошелся по дому — здесь все по-прежнему, только что-то в нем не хватало, или это ему казалось, и еще ему казалось, что дом стал маленьким и тесным. Наверное от того, что он давно здесь не был...

Никита достал из своей сумки какой-то сверток, протянул матери:

— Это тебе платок — мой подарок. Плохо не думай, купил на свои — на заработанные.

Мать доверчиво улыбнулась.

— Спасибо, сынок.

— А где отец? Что-то не вижу... — спрашивал Никита, выставляя на стол поллитровку. — Хочу с ним выпить...

— Нет отца. Умер... Больше месяца как похоронила, — мать сжалась, закрыла лицо руками, но сдержалась от слез, стала рассказывать. — Как ты ушел, так он и запил. Переживал за тебя. Напьется и вспоминает, какой ты у нас с детства непутевый... Здесь еще участковый, первое время все нервы вымотал: ходит, вынюхивает, даже соседей подговаривал, чтобы следить за нашим домом... Ругался со всеми отец и пил сильно. Умер от инфаркта... Скоро сорок дней.

Только теперь Никита обратил внимание на журнальный столик, который стоял в углу комнаты: на столике была иконка, горела свеча и стояла фотография отца. Он смотрел на фотографию и ему не верилось: как это так — нет отца? Ему стало страшно: он не успел, он хотел встретиться с отцом и впервые поговорить с ним, как взрослый сын. Он никогда еще с отцом не разговаривал, жили, как чужие. А теперь все...

Никита налил в стакан водку, перекрестился, пошептал на икону и выпил.

— Креститься стал, — одобрительно говорила мать.

— Стал... Я не только креститься, я жить стал, — и Никита рассказал, что живет он в селе у деревенской девушки, которую зовут Надя, и они любят друг друга. — ...Уже пять месяцев, как беременная. Недавно в город приезжала на обследование: сказали, мальчик будет. Теперь она дома сидит. Я ее освободил от всех забот. Сам на ферме плотничаю. Вот, первую получку получил, сразу за два месяца. Подарков накупил к Новому году.

— Рада за тебя, — говорила мать, улыбаясь глазами, но в тех же глазах пряталась старая тревога. — Только вижу, не все у тебя так

хорошо, как ты рассказываешь. Живешь с оглядкой. В свой дом боишься входить. Сидишь, как сам не свой. Так жить нельзя.

Мать права. Никита понимал, что рано или поздно вскроется побег. Он не одну ночь думал о своей жизни и решил, что он вернется в тюрьму сам, но только не сейчас. Наде одношапку и облегченно вздохнул. Никита вспомнил об отце и содрогнулся от этой мысли. А мысль кусала его со всех сторон и винила: даже отца не мог похоронить... “Сына назовем его именем”, — думал Никита. “Надя не будет против. Она у меня — умница”. И Никита вспомнил, как на этом вокзале познакомился с Надей. Познакомились необычно и странно. Тогда он прилип к ней от своей безвыходности. Теперь он уже не представляет без нее свою жизнь...

Вдруг Никиту кто-то толкнул или подтолкнул откуда-то изнутри, или ему это все показалось. Никита убрал с лица шапку и теперь увидел, что он еще на вокзале, появились неприятные чувства — что-то здесь произошло? Нет сумки!.. Вопросительно посмотрел на людей, которые сидели рядом, но они ничего не сказали. Ему не верилось. Он даже не мог подумать, чтобы у него, у опытного вора, украли сумку. В нем бушевали разные чувства: одно чувство говорило — как же это я мог проморгать? Другое чувство бесилось — кто это посмел? Он пробежался по вокзалу, выскочил на улицу, обошел здание вокзала — нет сумки. И здесь у него брызнули слезы, они градом текли по лицу, и он не мог их остановить, казалось, слезы текли сами по себе, и Никита не мог понять: почему они текут? От жалости? Нет. Все это можно опять купить. От обиды? Опять нет. А может, это вовсе не его слезы, а чьи-то? Эти слезы долго копились, и теперь прорвались.

Слезы кончились и стало легко, будто что-то вышло — тяжелое, гнетущее, которое раньше сильно мешало.

Никита стоял за вокзалом, была страшная метель, а он испытывал на душе тишину, ему казалось, что все, что вокруг происходит — это не с ним, и он — это не он.

К нему подошли двое парней и спросили закурить.

— Нет у меня. Сам бы закурил, — ответил Никита, ничего не подозревая.

В следующий момент он получил удар в лицо и упал в снег. Попытался встать, но его опять ударили: ударили в спину чем-то тяжелым и острым. Все тело пронзила боль.

— За что бьете?

— Сам знаешь, за что... — услышал над собой голос и почувствовал, как шарят в его карманах...

Потом он лежал в снегу — его засыпало и засыпало, но встать он уже не мог. “Неужели, это все?”

Он лежал в снегу и видел небо — снежное, зимнее небо, которое низко висело над ним. Хотелось жить. Небо стало удаляться, тускнеть... «О, Господи!»

Услышал чей-то голос: “Вставай, сынок, замерзнешь...” И увидел рядом старушку: вся в черном одеянии, а лицо белое, будто мелом обрисовано. Вот она нагнулась, что-то говорит, и Никита почувствовал знакомый запах — запах голубиного помета, и ему стало казаться, что не в снегу он теперь лежит, а в том заброшенном дому — лежит на сундуке, и ему легко и безмятежно.

— Господи, дай мне... Дай мне время на покаяние...

ПОДКИДЫШ

повесть

Часть первая: ДЕТСТВО

В далёкой Сибири, на лесоповале, рожала арестантка, рожала раньше времени, прямо на рабочем месте, на прачке.

Мария Сычева, маленькая, хрупкая женщина, срок отбывала за воровство и не в первый раз, до конца оставались считанные месяцы. Она уже понесла административное наказание за незаконную беременность: заключённым нельзя вступать в половую связь с кем-либо, если нет разрешения на личное свидание с супругом. Мария утаила от всех имя отца будущего ребёнка, и оставалось только догадываться. Здесь, на лесоповале, основную работу делали мужики, они валили лес и подготавливали на вывоз, а женщины готовили им пищу, стирали, обшивали, в общем, исполняли всякую женскую работу. Режим не был суров, потому что каторжная работа всех выматывала, да и бежать было некуда, кругом тайга. И жили, можно сказать, все вместе, только в разных бараках отделённых колючей проволокой. Подобные случаи уже бывали: дети в заключении рождались, и рождались успешно, но всегда на помощь приезжали из посёлка.

— Должны же приехать за ней, обещали, — переживали обступившие бабы-арестантки, — А могут и не приехать. Погода, ужасная, какой день метёт...

К прачке подошёл лейтенант, ответственный по хозяйственной части, шёл дать распоряжения и в дверях столкнулся с контролёром.

— Максим Петрович, там рожают, — волнуясь, доложил контролёр, — с посёлка так и не приехали, теперь бабы сами там...

В это время раздался крик — звонкий, пронзительный...

Максим Петрович Кравцов жил с молодой женой Валентиной и трёхмесячным сыном Михаилом в бараке, который назывался «Административным». Это дощатое здание внешне мало, чем отличалось от арестантских построек, и только внутреннее состояние дышало теплом домашнего уюта. В тот вечер Валентина сидела у плиты и успевала мешать похлебку и кормить сына грудью. Почему-то задерживался муж, и она начинала волноваться; «Всё-таки лагерь. Мало ли что...»

Но вот на пороге появился Максим Петрович. Запыхавшись, он внёс с собой морозный воздух, а в руках держал свёрток, держал бережно, будто ценный предмет.

Валентина услышала детский плач и не поняла: сын молча корчился.

— Машка Сычева родила, — выпалил Максим Петрович, раскрывая укутанныго ребёнка, — прямо на прачке родила... Родила и умерла. Не дождалась. Вот-вот должны из посёлка приехать... Мальчонка, вроде здоровенький. Что будем делать? Справишься?

И Валентина справилась. Она приняла новорожденного с чувством материнского долга, и уже навсегда.

— А как же, сам Бог велел мне принять его, вскормить и дать жизнь. Благое дело. Да он и не в тягость, — вела она разговор с мужем, и вдруг, разоткровенничалась: — признаюсь, я втайне мечтала двойню. Вот Бог и послал — Мишутку, а теперь... А что, давай Егором назовём. В честь деда.

Мать относилась к младенцам с одинаковой нежностью, она даже и мысль не хотела допустить, что один чужой, и ей уже казалось, что мальчики делаются похожими.

Всё бы ничего, но спустя два года, она будто проснулась от своего счастья и начала сомневаться. Требовательно подошла к мужу:

— А ведь они и вправду похожи. Смотри, глаза-то у обоих твои, чернущие и наглые. Только этот, второй, мизерный, в маму, ну а глазищи твои. Что обомлел?

Максим Петрович действительно стоял, как вкопанный и растерянно молчал; он не мог понять, щутит жена или дико ревнует; но нашёлся:

— Так и Сычиха черноглазая была. Как сейчас помню, чернобровая, черноглазая... Эх ты, додумалась к зэчкам ревновать...

И Валентина тяжко задумалась, стараясь припомнить глаза умершей зэчки, а потом и поверила искренности мужа, или заставила себя поверить, чтобы вернуть свою материнскую радость.

К этому времени Максим Петрович получил новую должность и жильё в посёлке. Туда и переехали. Переехали с радостью: в тайге любая жизнь — заключение.

Братья пошли в детский сад. Егор был мал ростом и Миша, чувствуя превосходство, взял роль опекуна, защищая его от более сильных мальчиков.

Однажды, во время игры во дворе, произошла ссора: соседский мальчишка, в порыве гнева назвал Егора «подкидышем». Ещё не зная точного определения, он почувствовал в этом слове что-то недоброе, и со слезами кинулся на обидчика. Тот был старше и сильнее. Тогда на помощь пришёл Миша. Уже убегая, соседский мальчик продолжал зло обзывать:

— Подкидыш... Подкидыш... и мать твоя воровка. Родила тебя в лесу и подкинула...

Дома Егор стал жаловаться родителям:

– Маму воровкой обозвал. Меня подкидышем...

– Не расстраивайся и не слушай никого. Это всё злые языки, – успокаивала мать, – Никто тебя не подкидывал. Я же рассказывала, как мы с папой тебя и Мишу в капусте нашли...

Максим Петрович был хмурый, в глазах сверкал холодный гнев. Молча и сердито направился к двери.

– Что задумал? – мягко остановила Валентина.

– Пойду, поговорю с его родителями. Дети здесь не причём...

В школу Миша и Егор пошли вместе и стали учиться в одном классе. На первых порах уже стало ясно, что Егор ленив и бесшабашен, на уроках он кривлялся и дерзил учителям, а домашнюю работу, зачастую выполнял Миша, который в отличие от брата учился хорошо. Со временем Егор стал невыносим, и между братьями начались ссоры.

– Опять двойку схлопотал. Позорник. Лучше бы вообще в школу не ходил. Краснеть за тебя не хочется, – Видимо, Миша по настояющему испытывал стыд за брата, который для всех делался разгильдяем, и с братской обидой высказал ему.

– Это я-то позорник?! Подумаешь, двойку получил, – нагло ухмылялся Егор, не желая уступать, – А сам-то, слонятей и прихвостень училики...

Горячие оскорблении переходили в ненависть и разгорались кулачные бои. Дрались за школой, под улюлюканье «болельщиков». Желающих поглазеть на поединок братьев собиралось немало. Егор, заметно уступавший рослому брату, быстро набрался кулачного опыта и однажды, Михаил, оказался поверженным на землю. Не зная, как защититься и испытывая стыд, он выпалил в Егора самое обидное что знал:

– Ну, я тебе дома покажу. Подкидыш...

Егор остервенело, вцепился в брата, таская за волосы, разбивая в кровь лицо, и не отпускал, пока не разняли школьники.

Домой возвращались вместе: с синяками, одежда в крови.

– Дома скажем, что хулиганы напали, – предложил Миша.

Егор остановился, взъерошенный, непримиримый, смотря, насупившись в пустоту уходящей дороги.

– Я домой не пойду. Надоело всё.

Миша, который уже забыл про обиду и побои, дружелюбно потянул брата:

– Идём. А что я родителям скажу? Давай помиримся.

– А ты меня больше не будешь подкидышем звать? ...

В тот раз братья помирились, и домой вернулись вместе. Но всётаки что-то случилось, там, за школой, в драке. И это что-то мешало

Егору, раздражало его. Теперь он стал замечать, что родители лучше относятся к Мише, и это видно, в особенности это делает мать – жалеет его, ласково утром в школу будит, защищает от отца. И Егор уже сожалел, что помирислся и пришёл домой...

– Уйду... Сбегу... Украду деньги и уеду...

В то время, когда Егор с обидой смотрел на жизнь, готовясь тайно покинуть её, Миша радовался жизни и искренне удивлялся новому, прекрасному. Как-то, придя с прогулки, он воскликнул:

– Смотрите, что у меня есть!

В руках он держал фонарик – из белого пластика, всего со спичечный коробок – необыкновенный.

– Лёшка Пауков подарил. У него два таких. Тётка из Германии привезла.

Конечно, любая вещь, привезённая в глухую Сибирь из чужой страны, производила особенный эффект. Теперь Мишка не расставался с германский фонариком, а вечером, когда ложился спать, он обследовал лучом все тёмные углы дома, и включал его даже под одеялом. Но вдруг у фонарика сели батарейки.

– Завтра в Кожево с Лёшкой едем, – важно сказал Мишка брату, – Там, говорят, батарейки есть для наших фонариков.

Егор не хотел упускать такой момент и прицепился:

– Возьмите с собой. Я у отца отпрошусь.

– А где денег возьмёшь?...

На следующий день, когда Миша пошёл за своим другом, Егор направился к отцу, хотя идти к нему не хотелось; в последнее время Максим Петрович стал замечать в сыне отчуждение и угрюмость, он что-то заподозрил и не спускал с сына глаз. Войдя в родительскую, Егор увидел отца спящим и это его обрадовало. Мать в это время гремела посудой на кухне, и Егор, не мешкая, подошёл к комоду, нашёл кошелёк и безбоязненно взял деньги. Он даже не удивился своему поступку: украл семейные деньги и ушёл. Ушёл тихо, без волнения, будто это он делал не в первый раз.

Потом Егор поспешил на железнодорожный вокзал. Миша с другом стояли в кассу. Увидев брата, Миша недовольно процедил:

– Вот, привязался, – но деваться было некуда, увидев, что Егор действительно принёс на проезд деньги, он распорядился, – ладно, оставайся здесь, купиши три билета. А мы пока по вокзалу...

Потом они сидели в общем, вагоне. Было тесно и тепло, даже жарко от той тесноты, которая запрещала телу лишнее движение, свободный вздох.

Миша с другом удобно устроились на верхней полке, и в тепле задремали, а Егор пошёл гулять по вагону: он впервые ехал в поезде, и ему было всё интересно. Сходил в туалет, вернулся. Снова пошёл...

Вдруг, прямо у его ног оказалась сумка, кожаная, коричневого цвета, женская сумка, которая у него на глазах медленно сползла на пол с руки женщины. Женщина спала, уронив голову на грудь. Егор не мешкал. Безбоязненно и уверенно, будто спящие люди – это люди мёртвые, он на ходу подхватил сумку и спрятал под пальто. Волнение настигло позже: «А что же теперь? Из вагона не выйти... Она вот-вот проснётся...» Егор почти бежал по вагону, чтобы уйти дальше от этого места. В тамбуре столкнулся с проводником. Тот подошёл к двери, открыл. Поезд сбавил ход.

– Станция?! – обрадовался Егор.

– Нет, разъезд...

Егор, не долго думая, проскочил мимо проводника и выпрыгнул из вагона...

– Вот шальной, – удивился проводник, – Не мог дождаться остановки. Да и куда это он?

После разъезда проводник решил ещё раз проверить пассажиров, пошёл по вагону, и к нему тут же подошла женщина:

– Обокрали! Моя сумка? Там деньги, билеты...

Вагон заволновался: воры появились. Миша с другом пулевой слетели вниз. Опять проверка. Встрепенулись:

– А где Егорка? У него билеты...

Его нигде не было. Друзья, спасаясь от проводника, рванулись в следующий вагон. Миша в смятении споткнулся в тамбуре и расплакался. Вскочив, и не зная, что делать дальше, он машинально открыл входную дверь и выскочил на подножку.

Морозный ветер обжигал лицо, руки. Миша вцепился в железную ручку двери, которая захлопнулась, и теперь не открывалась. До Кожево было ещё минут тридцать езды, не меньше. Руки стали неметь. Миша решился прыгнуть, но здесь поезд въехал на грохочущий мост через реку Чора. По щекам потекли слёзы, превращаясь в льдинки...

В то время, когда Миша боролся за свою жизнь, замерзая на подножке вагона, Егор, весело насвистывая, шагал по шпалам. В украденной сумке, помимо прочего добра, были деньги, и это его воодушевляло на дальнейшую беспризорную жизнь. О доме не хотелось думать, больше того, хотелось бежать от него как можно дальше. Егор решил добраться до первой же станции, там выберет по своему желанию город и уедет туда жить, и жить там будет по новому: никому не скажет что он «подкидыши», и придумает себе другую фамилию...

Из Кожево Лёшка Пауков вернулся один поздно вечером и сразу к Кравцовым:

– Мишка в больнице. Обморозился...

Он сбивчиво рассказал родителям о неудачной поездке в Кожево, как неожиданно пропал Егор, и им пришлось прятаться от проводника, а Мишу сняли с подножки полуживого уже на станции.

— ...Руки и лицо обморозил. Хорошо, что смог шарфом к двери привязаться...

Родители остались в недоумении: где же Егор? Недолго думая, Максим Петрович направился в милицию, а Валентина стала беспокойно звонить в Кожево, узнавать о здоровье сына.

Спустя несколько дней Мишу вернули домой. Обмороженное лицо покрылось чёрными пятнами, а кисти рук были забинтованы. Теперь в доме стоял больничный запах. Мать сама перевязывала руки, осторожно накладывала мази на лицо. Миша болезненно морщился, но терпел, и дело быстро шло на поправку.

Хуже было с Егором. Где он? Отец всяко пытался раскрыть Мишу: не поругались ли по дороге? Но Миша даже не хотел говорить о брате, называя его предателем. Не было никаких сведений и в милиции. Тогда Максим Петрович решился:

— Возьму отпуск и поеду по вокзалам, — сказал он жене, — Чувствую, он где-то рядом. Обидели мы его чем-то, я это видел. Нужно вернуть сына, пока не поздно.

Валентина поддержала:

— Поезжай, может и впрямь где рядом... — потом засомневалась, — Хотя мало надежды, что он рядом. Уж больше недели, как ушёл...

Да, надежды было мало, вот так, поехать по вокзалам и найти там сына, но Максим Петрович надеялся на народ, который всегда всё видит и знает. «А может другое, — рассуждал обеспокоенный отец, — сидит сейчас где-нибудь в отделении и молчит. Ведь он такой, захочет, всю жизнь будет молчать... Там только я нужен...»

Отец собрался в дорогу, но в это время из милиции сообщили:

— Максим Петрович, ваш сын нашёлся. В Сосновке он...

В Сосновку Егор пришёл по шпалам уже под вечер. Он вошёл на вокзал утомлённый, холодный, со щемящим чувством одиночества но, увидев людей, повеселел. Подошёл к расписанию поездов, чтобы выбрать свой город, но у него не получалось — города казались чужими, злыми и отпугивали его. Решил пока отдохнуть, нашёл среди пассажиров свободное место, присел и сразу уснул...

Разбудил голос:

— Ты чей? — спрашивал Егора незнакомый мальчик. В руке он держал сетку с пустыми бутылками.

— Ничей, — отпарировал Егор, отодвигаясь.

— Я так и знал, — хладнокровно сказал незнакомец, — Лучше пойдём отсюда. Сейчас милиция обходит будет.

Егор огляделся и, увидев, что людей на вокзале стало мало, пошёл за мальчиком.

— Тебя как зовут?

— Егорка... А тебя?

— Витька. А вообще, Бугром дразнят, я интернатовский... Вот сбежал оттуда, надоели своим воспитанием. Пока у дядьки живу...

Мальчик сразу понравился Егору своим откровением. Он был намного выше ростом, казался уверенным и сильным.

— Тебе сколько лет? — интересовался Витя.

— Скоро одиннадцать будет...

— Как и мне, — обрадовался Витя и дружелюбно похлопал по плечу, — А почему маленький такой, как кнопка? Наверное, плохо кормят. А у тебя деньги есть?

— Есть, — Егор вытащил в доказательство деньги, — Много есть.

Витька-Бугор даже присвистнул:

— Хорошо! Если деньги есть, можешь жить у моего дядьки. Купим хлеб, кильку, сало и бутылку водки для него, — поразмыслив, предупредил, — Только ты ему деньги не показывай. Сразу пропьёт...

Дядьку звали Сергеем, но так как он несколько раз отбывал наказание в местах не столь отдаленных, знакомые звали его «Серым». Жил он на окраине посёлка в дощатом домике — комната и кухня, жил со своей подругой Лидкой, которая не была ему женой, но всегда ждала его из лагерей.

Войдя в дом, Егор удивился:

— Почему пусто?

Было, похоже, что из дома переезжают — оставалось вынести стол и единственный стул, разбросаны вещи.

— Дядька, как освободился, всё пропил, — грустно рассказывал Витька-Бугор, — Раньше мы здесь втроём жили. Недавно бабушка умерла. А меня в интернат сразу...

Серый полураздетый валялся на полу, на матрацах, раскинув руки и захлёбываясь храпом. Рядом, с задранным подолом, спала Лидка.

Место племяннику было отведено на кухне: в углу было настелено всякое тряпье, а в головах, вместо подушки, старый валенок. Здесь же стоял единственный стол с шаткими ножками и табурет.

— Хоть один табурет остался, — мрачно говорил Витька, — Он как напьётся, всё крушить начинает: нож в дверь бросает, табуретом по стенам бьёт. Всё кого-то убить хочет... Но ты его не бойся, он только со стенами воюет.

Они устроились в углу, на своём месте и стали, смаочно есть сало с чёрным хлебом, запивая, остывшим чаем.

— Будем ночевать здесь. Я тебе ещё валенок дам. Переночуем, а на день в посёлок уйдём, здесь днём с ним нельзя — пьют, орут, —

рассуждал Витька-Бугор и, поразмыслив, предложил, – Давай завтра в кино махнём, фильм пацановский «Кортик», я его уже видел...

В это время прекратился храп и донёсся протяжный стон.

– Дядька просыпается. Сейчас начнётся... Надо скорее подать.

Витька взял бутылку и пошёл в комнату.

– Дядь Серёж, я принёс...

Дядька с минуту не мог сообразить: кто и что принёс, а сообразив, вскочил:

– Ну, ты даёшь племяш, как вовремя. Ты настоящий шпанюк.

Серый сел за стол и стал пить водку, закусывая килькой, и приговаривая:

– Ну, ты молодцом. Растешь на глазах...

А Егор рассматривал его тело, искал оторванные жирными, синими татуировками: змеи, звери, гладиаторы, а на шее затянутый аркан.

– Что за прыщ с тобой? – небрежно ткнул пальцем Серый в Егора.

– Дружок мой. Тоже с интерната сбежал. Бездомный, иди некуда, – врал Витька, чтобы пробудить у дядьки сочувствие, – Это мы с ним вместе... – он показал на бутылку.

– Молодцом, – одобрил захмелевший Серый, – Будет с вас толк...

Зашевелилась Лидка, застонала, будто разболелись зубы, коряясь, встала, вышла на кухню.

– У–у, предатель, втихоря хлещешь, – высказалась она, – А ну, наливай...

Они ещё долго сидели на кухне: он на стуле, а она у него на коленях. Пили, закусывали килькой и галдели как на базаре.

К ним подошёл Витька, попросил:

– Спать хочется. Можно мы в комнату уйдём?

Хмельной, раздобревший дядька, дал добро, и друзья завалились на матрацы...

Проснулись ранним утром от жуткого шума: с кухни доносился смех и плач, кто-то напевал песню, казалось, праздновали свадьбу всем посёлком.

– Набежали, – недовольно бурчал Бугор, – здесь всегда так, когда есть деньги... – он спохватился, – Деньги на месте?

Егор залез в карман, всё обшарил: нет денег.

– Вот козёл. А ещё в тюрьме сидел. Понятиям меня учит. Само крыса.

Бугор отчаянно взялся за голову, зло сжал кулаки и уверенно направился на кухню.

– На «Кортик» мы все равно пойдём...

Егор слышал, сквозь пьяный гогот, требовательный голос Витьки. Скоро вернулся. В одной руке был хлеб с салом, в другой деньги.

— Перекусим и в посёлок...

Из кинотеатра друзья вышли под впечатлением фильма. Им нравился флотский кортик, но ещё больше увлекала погоня за таинственным кладом.

— Вот бы нам такое богатство, — мечтал Витька, — Я бы дом себе купил... И диван, чтобы не на полу спать. Бока уже болят. А ты, что бы хотел?

Егор утаил от друга свои чувства и не захотел откровенничать:

— Не знаю. Наверное, поехал бы на поезде. Люблю путешествовать... — Егор не договорил. Ещё утром, услышав пьяный гомон, он встал с тоской о доме, и это чувство не покидало его.

— Жаль только, такого клада нам не найти, — признаётся Витька и предлагает, — пойдём лучше на вокзал. Там в это время народ. Бутылок на завтра соберём...

В дядькин дом вернулись вечером. Дом хралел, вонял перегаром и табачным дымом. Витькино место оказалось занятым. В углу развалился чужой мужик с седой головой и красным лицом.

Мальчишки съели остатки еды со стола, постелили на пол свои пальто и легли. Но спать не дали. С мучительным стоном из комнаты вышел Серый и стал звякать пустыми бутылками. «Где же она родимая? Неужто всё...?»

Стал будить своего друга:

— Слыши, Седой. А что, у нас ничего...?»

Седой невнятно пробурчал, повернулся к стене, и продолжил храпеть. Серый вскипел:

— Я же помню, оставалось. Где?

Седой вытащил из-под головы валенок, из валенка достал поллитровку и скорбно молвил:

— Последняя. Хотел наутро...

Стали похмеляться. Седой сидел на табурете, а Серый крутился у стола, и видно было — Седой в авторитете.

Будто на нюх, к столу подошла заспанная, с перекошенным лицом Лидка и буркнула недовольно:

— Сами хлещете. Предатели. Наливай...

По мере того, как в бутылке уменьшалось количество водки, у стола росло беспокойство:

— Столько водки выжрали. Завтра сдыхать будем. А может, где стоит?

Они шатались по дому, заглядывали в углы, кто-то вышел во двор, а вдруг...

И только теперь заметили спящих в углу мальчишек.

— Кто такие? — удивился Седой.

— Свои, шпанюки, племяиш с дружком.

Мальчишки уже не спали, смотрели сонными, усталыми глазами на пьяные рожи и ждали...

— Шпанюки, говоришь. А ну, ты — пацан, поди сюда, — Седой подозвал Егорку и тот повиновался.

— Смотри — метр с кепкой, — ухмыльнулся Седой, — это хорошо, малый. Я в твои годы кое-что мог. Серый, собирайся. Уходим. Я кое-что придумал...

Была ночь. Вьюжило. Улицы пустынны. И только иногда вырывался истерический лай одинокой собаки.

Четвером вышли из дома и направились в посёлок. Здесь, в центре, стояли двухэтажки. Долго крутились у окон, присматривались. Наконец, Седой решился:

— Здесь. Вон, форточка открыта. Первый этаж... Нужно проверить.

Отправили Витку: ему нужно было постучать в дверь квартиры, и если вдруг откроет хозяин — извиниться — мол, ошибся.

Он скоро вернулся:

— Никто не открыл...

— Иди на угол, стой на «шухере», — распоряжался Седой, — А мы, малыша подсадим.

Седой и Серый легко подняли Егорку к окну, но он не мог руками взяться за форточку, не доставал. Седой психовал, руки тряслись, и пришлось его опустить.

— Этаж высокий попался. Но ничего, там самая малость. Сейчас передохнём, да подкинем. Сам в форточку влетишь... Только успей за раму зацепиться и смотри, окно не пни.

Они так и сделали: слегка подбросили Егорку, тот удачно ухватился за форточку, встал на карниз, и легко влез в квартиру.

С улицы ему шептали:

— Иди, дверь нам открай...

Потом они тащились, озираясь, по тёмным переулкам. Серый нёс большую сумку, набитую крадеными вещами. Иногда ему помогал Седой.

— Хорошо сработали. Хата богатая попалась. И деньги и шмотки. Завтра же отправим Лидку с тряпками к барыгам...

Сразу началась гулянка. Купили самогон, и пили за удачную кражу. В умат пьяный Седой бил себя в грудь:

— Я сам всё это прошёл, шпанюком ешё. Меня и подкидывали и запихивали... Да я в форточку, как нитка в иголку, проскальзывал. А ты молодцом. Где ты там, Подкидыш?

Услышав знакомое оскорбление, Егор ощетинился:

— Я не подкидыш. Понял?

— Ух, ты, — ухмыльнулся Седой, вытащил из кармана мелкую купюру, протянул: — Возьми долю свою. Заработал на мороженное.

Егор хотел взять деньги, но не брал, его злил Седой. Почему? Не мог понять, но думал так: «Наглый. Всеми здесь распоряжается. Деньгами распоряжается...» Очень хотелось спать...

Проснулся Егор от Витькиного крика; ему что-то снилось, наверное плохое, он повернулся на другой бок и засопел, тихо всхлипывая.

Уснуть Егор уже не мог. Дом неистово храпел, стонал, вонял табачным дымом и перегаром. С тоской вспомнился родительский дом; заныло сердечко. «Сейчас проснуться, и всё опять начнётся... Нет, я так больше не хочу.»

Он оделся и решительно подошёл к Седому. «Жмот. Козёл. Подкидывать меня...» — мысленно отомстил спящему Седому, нашарил у него в кармане деньги и вытащил.

Егорка пришёл на вокзал, ещё не зная: вернуться домой или уехать в город своей мечты. Пока решал, к нему подошёл милиционер.

— Куда путь держим? Фамилия? Адрес?

Егор молчал. Молчал он и потом, когда его привезли в отделение милиции, и учинили допрос: следователя интересовало не только имя подростка, но и его крупная сумма денег. Почему молчал, Егор, и сам не мог объяснить: наверное, страшно было отвечать, на строгий голос следователя, который запугивал и раздражал, или же, в тот момент, ему было все равно, кто он и зачем он здесь. За несколько дней безуспешного допроса, не выяснив даже личность подростка, следователь предупредил:

— Не хочешь разговаривать, не надо. Не хочешь жить на свободе, будешь сидеть в тюрьме. Начнём оформлять в ДВК.

Вот тут Егор почувствовал в сердце холодок и встрепенулся:

— А что такое ДВК?

— Детская колония. Подстригут наголо. Серую форму дадут. Будешь со всеми строем ходить за колючей проволокой. Спать в бараке. Утром зарядка...

Следователь «красочно» обрисовал жизнь в детской колонии, и Егор вдруг обмяк. После долгого напряжённого молчания, брызнули слёзы и вырвались слова покаяния:

— Нет, я в тюрьму не хочу, я домой хочу...

И Егор, как на духу, рассказал, как сбежал из дома, как в Сосновке познакомился с Витькой-Бугром и жил в доме его дяди. И про деньги рассказал:

— Они меня в форточку подбросили. Что-то взяли там... А я потом эти деньги у них стащил. Ни копейки не истратил... Я больше так не буду. Отпустите домой.

Максим Петрович Кравцов, в форме капитана, приехал в Сосновку за сыном. Когда привели Егора, он не узнал его: бледный, худой, взъерошенный.

Увидев отца, Егор со слезами бросился к нему на шею:

– Папа, забери меня. Я домой хочу...

Дома Егора все ждали. Мать долго и тщательно отмывала сына в ванне, слезливо приговаривая:

– Худенький стал. Кожа да косточки. Но ничего, откорим...

После чего Максим Петрович торжественно вынес свой подарок:

– Костюмчик!

Семьёй сели за праздничный стол и никто даже словом не вспомнил, не упрекнул Егора за его проступок. Казалось, все были только рады, что семья в сборе.

И только поздно вечером, уединившись в детской, Миша выслушал подробный рассказ брата о его похождениях, после чего равнодушно бросил:

– Ну и дурак же ты. Чего тебе дома не жилось?

В этих словах Егор не заметил ничего плохого и безобидно согласился: «Действительно – дурак.» Потом он уснул, спал сладко на своей кровати: мягкой, чистой, пахнущей свежестью дома.

После исчезновения Егора, родители изменились. Они поняли, что где-то недосмотрели, а может, чем-то обидели сына, и теперь старались угодить ему во всём, даже если он ничего не просил, они трепетали: «Скажи, что бы ты хотел? Почему мало кушаешь? Ты не болен?»

Егору было приятно от родительской заботы, но было и неспокойно, он видел, как меняется Миша: злобится, ревнует.

А однажды Егор случайно подслушал разговор отца с братом. Миша в слезах высказывал, почти кричал:

– Я не могу понять: он обворовал нас, бросил меня... Вот до сих пор шрамы! И сбежал... А теперь всё – ему. За что?

– Пойми, сынок, он столько дней жил один у чужих людей. Голодал и страдал. А ты всегда с нами, дома, в тепле и сытости. Он ослаб, ему помочь наша нужна. И ты, как брат, посочувствуй...

– Какой он мне брат. Думаете, я ничего не знаю. Он – чужой!

Егор уже ничего не слышал. Он смог бы вынести от брата любое обидное слово, но только не это. «Чужой. Значит, я подкидыши.» Навернулись слёзы – горькие слёзы обиды. Убежал в комнату и нервно стал бросать вещи в сумку. Взял новый костюмчик и швырнулся на пол. «Нет, мне теперь ничего не надо. Уйду так, в чём есть. Уеду как можно дальше, уеду в свой город и буду жить сам по себе, буду жить Подкидышем. А что, Подкидыши так Подкидыши, пусть подкидывают... А в тюрьму посадят, ну и пусть. Лучше в тюрьму...»

За этот вечер тюрьма принимала уже третий этап. Тюрьма устала от проверок, шмонов и казалось, качалась как пьяная распутница, уныло завывая: «Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня...»

Охранники, злые как собаки носятся по продолу, звякая ключами и хлопая коваными дверьми. Здесь – злые все. Арестанты злые – они после тесного, холодного воронка теперь толпятся в душной, вонючей превратке, ждут проверку, курят.

Но самый злой – дежурный капитан, с мясистым, сплющенным носом и пухлыми треснутыми губами, которые, видимо, были тщательно смазаны вазелином и блестели, как от помады; он открыл окно, вмонтированное в стену и проревел:

– Не курить! Подходить без головных уборов... – исподлобья, изучающим взглядом, рассматривает каждого, приценивается: что ж ты за фрукт? И если что-то не так, не по вкусу, бьёт с криком:

– А ну, повтори! Громче... Блеешь, как овца...

Арестанты разные: есть молодые, но дряхлые, есть пожилые, но дерзкие. Одни огрызаются капитану, другие прячутся быстро в толпу. Толпа стоит сдержанно, тихо перешептываясь, косится на дежурное окно. А над толпой, на грязном, сером, с наклоном потолке, собирается испарина, делается гуще, гуще, превращаясь в каплю, капля сверкает от света тусклой лампочки, но не срывается, а вытягивается в блестящую нить, и спускается по стене...

– Кравцов! – вызывает капитан.

К окну протискивается Егор, снимая на ходу шапку, отвечает:

– ... Егор Максимович... статья 144... 5 лет строгого...

Капитан ехидно ухмыляется, оскалив жёлтые зубы:

– Знакомые лица. Что так скоро? В тюрьму, как в дом родной!

Увидев насмешку, Егор процедил:

– Да пошёл ты...

Он, покачиваясь, отошёл от окна, и тяжело дыша сел у двери, – здесь тянуло свежим воздухом. Егор страдал открытой формой туберкулёза, и его с детства овальное лицо, теперь было впалым, бледным, а карие озорные глаза казались бесцветными, пустыми. Но что-то сохранилось ещё от того напористого, юркого Егорки, который сбежал из родного дома озлобленный и негодующий на свою судьбу; в тот раз он смог добраться до областного города, там удачно обворовал несколько квартир через форточку, но всё-таки был пойман и заключён в детскую колонию. Единственное письмо написал он родителям из колонии, когда ему было плохо и хотелось плакать: просил забрать его домой...

Сейчас Егору уже за тридцать, из них пятнадцать лет – в тюрьме, и дежурный капитан правду сказал: «...Как в дом родной» Вытерев с лица липкий, вонючий, лекарственный пот, он подозвал арестантов:

– Хреново мне. Кипишните...

Все дружно ударили руками и ногами в дверь, и через некоторое время Егора вывели из превратки.

– Что же мне с тобой чахоточным делать? Куда же засунуть? – сутился озадаченный контролёр, заглядывая в камеры, – Везде битком. Здесь, малолетки... Там, педерасты...

– Веди сразу на больничку, – ухватился Егор, надеясь таким образом улизнуть от шмона.

Контролёр был молод и неопытен, видно что в тюрьму пришёл сразу после армии, он стал ещё больше нервничать, ругаясь матом на тюрьму, и наверное в эту минуту ненавидел чахоточного арестанта. Поспешно заглянув через «глазок» в одну из камер, он открыл её и втолкнул туда Егора:

– Посиди пока один...

В камере было прохладно и свежо. Егор вытащил сигарету, закурил и осмотрелся, выбирая место поудобнее. Вдруг в углу камеры он увидел арестантку, и это было так неожиданно, что он выронил сигарету и смотрел на неё как на привидение: «Вот так подарочек!»

Это действительно был подарок арестанту, который половину жизни отдал тюрьме. На свободу выходил как на прогулку: украл, напился, в тюрьму. А те женщины, которые мимолётно встречались там, иногда сладко будоражили воспоминания, только и всего. Здесь же, в тюрьме редкий случай, когда охранник «покупался» свести арестанта с арестанткой в отдельной камере. И вдруг, вот так ошибиться!

Девушка сидела на вещмешке и закрывала руками рот, похоже, сдерживала смех, наблюдая, как у арестанта открылся от удивления рот и выпала сигарета. В её прищуренных глазах быстро сменилась девичья растерянность на женскую игривость. Она открыла лицо и выжидала.

Егор уже забыл, как только что задыхался от тюремного воздуха, теперь у него приятно трепыхалось сердце, и опьяняющее кружилась голова, не размышая, пошёл к ней. Вот она уже рядом, и как видно не против. Он накинулся, как зверь, да и она была, как тигрица. Бешено сцепились, бросая на бетонный пол телогрейки... Они торопились, помогали друг другу и торопились, понимая, что всё это может исчезнуть так же неожиданно, как, и появилось – у них это отнимут, отнимут то самое, о котором они мечтают здесь, в глухих камерах, оставаясь один на один с тюрьмой. Наверное, после долгого воздержания, всё это выглядит дико, пошло, страшно, но по-

другому здесь нельзя, по-другому не получится, по-другому просто не успеть...

Потом они стояли, прижавшись, друг к другу и курили, смачно затягиваясь тёплым дымом. Они с выжиданием смотрели на одноглазую дверь, и им казалось, что прошло так много времени, ведь произошло такое событие! А может – это только мгновение?

– Тебя как хоть зовут? – поинтересовался Егор.

– Зинка, – ответила девушка и смущалась, понимая, как всё нелепо получилось, но всё-таки получилось, и он теперь не чужой, – А тебя?

– А меня, Подкидыш.

– Кликуха?

– И кликуха, и вообще видишь, к тебе подкинули. Я по жизни такой – фартовый, с детства, с пелёнок, – он говорил иронично, будто смеялся над кем-то, говорил не о себе, а о ком-то, кого хорошо знал, но не хотел его видеть, он был всегда с ним и мешал ему. Егор умолк, холодно уставившись в пустой угол камеры.

– Что с тобой? Как волчонок ощетинился. Мурашки по телу. У тебя имя-то есть?

В это время звякнул запор. С шумом распахнулась дверь.

– Вот и вся любовь. Эх, по бокам надают, – Егор неприятно ухмыльнулся и ободряюще подмигнул арестантке, – Ничего, выживем...

Зинка, как и Егор, ожидала недоброе, но, увидев перед собой старшину, которого все звали Сан-Санычем, успокоилась. Пожилой старшина снисходительно относился к женщинам-арестанткам и входя в камеру во время проверки, держал себя галантным кавалером, уважительно выслушивал жалобы, приглаживая свои пышные усы – его гордость, которые в отличие от седой головы имели чёрный цвет, чернее сажи, и по тюрьме ходили сплетни что он их подкрашивает.

Сан-Саныч влетел в камеру с растрёпанными усами и был готов решительно на всё.

– Девочка, он тебе ничего не сделал? – спросил он Зину, с отцовским беспокойством, но, увидев на лице девушки застенчиво-глупую улыбку, догадался обо всём и грозно предупредил Егора:

– Ну, проходимец, смотри мне, если вдруг что здесь вылезет...

Сейчас старшина больше волновался за свои погоны: если впоследствии выяснится, что арестантка забеременела, находясь в следственном изоляторе – это ЧП.

Сан-Саныч забрал Зину, а Егора безнаказанно перевели в больничную камеру. Поздно вечером, он страстно, со всеми подробностями рассказывал сокамерникам свою историю, но не все поверили:

– Ну, Подкидыш даёт – отдельная камера и деваха там ждёт. Размечтался...

Другой арестант вспомнил свою историю:

— А мы в старом корпусе стену разломали. В соседней хате девчата сидели. Мы ночью в эту дыру к ним, по очереди...

Его перебили:

— Это что... Я вот в прошлый срок мусорку уболтал. У нас в камере поэт один сидел, стишкы любовные писал. Так я ей их прочитал. Она пустила слезу и в кормушку руку протянула, — давай меня гладить. А ночью дверь открыла. Так я её на продол...

Егор слушал наболевшие фантазии арестантов, без которых здесь скучно и невыносимо жить. Он слушал и вспоминал Зинку, которая неожиданно пришла к нему, и растворилась, но растворилась не совсем, оставила память. А он так и остался для неё никем, просто Подкидышем...

Спустя месяц Егора этапировали в туб. больницу. В этот день старшим смены был Сан-Саныч, он отозвал из строя Егора и, сунув ему записку предупредил:

— Смотри мне, Подкидыш, держи язык за зубами.

В воронке Егор прочитал:

«Привет Егорка! Пишет Зинка. Надеюсь, не забыл...»

Егор приятно удивился: «Откуда имя моё узнала?» — и стал читать с интересом: «Удивлён, откуда знаю имя твоё? Узнавала, оказалось, что «Подкидыш» в тюрьме один — это ты. Теперь я немного знаю тебя, но только по слухам, и не хочу врать, я сильно скучаю по тебе...»

«Началось», — ухмыльнулся Егор, зная к чему сводятся тюремные любовные переписки: не могу жить без тебя, засыпаю и чувствую твоё дыхание, твоё нежное прикосновение... А в завершение «ксивы», наглый, жалостный намёк: колобух нет, в хате голяк, не курить...не хлебать. Если есть возможность, подгони...

Продолжил читать без интереса, и был удивлён — она, ничего не просила: «...назначили доследствие. Сколько ещё здесь просижу, не знаю... Приезжала старшая сестра. Она мне вместо матери. Жаль, свиданку не дали, только передачу... Егорка, надеюсь, маливу мою получишь и мне ответишь. Буду очень ждать... И ещё, я кажется беременна. Не подумай, что я что-то хочу от тебя. Нет. Но если это так, то я — самая счастливая! Мне уже двадцать семь, а я ещё не была матерью. Спасибо тебе за всё. Люблю. Целую. Твоя Зинка»

Егор недоверчиво отнёсся к признанию девушки: «Курица размечталась: кажется — беременна, самая счастливая». От неожиданности он рассмеялся, но скоро умолк и задумался: «А если так оно и есть. Тогда что же получается?» Взбудоражились мысли, красочные, жгучие, они рисовали новую жизнь, где Егор не чувствовал того томительного, уже привычного одиночества, как никогда ощущил преж-

девременную тягу к свободе и впервые испытал чувство нежеланной разлуки. А впереди был срок...

«Больничка» для туберкулёзно-больных – самое льготное место, сюда рвётся каждый, кто страдает хоть малость, болезнью лёгких. Режима нет, работать не призывают, кормят на убой, даже нарушителей заключённых в изолятор не лишают диетического питания.

Егор прибыл на «больничку» и первое время не знал, куда себя деть. «Здесь можно только спать, жрать и таблетки глотать» – говорил он себе. О болезни он приучил себя не думать. «Чахотка – это медленная смерть, за ней не уследишь, придёт, и не заметишь...»

В палате умирал арестант, и для всех – это было обычным делом. Иногда ему приносили кислородную подушку, помогало, но не надолго, опять дышал с шумом и свистом, задыхался. Кровати стояли рядом, и он просил Егора:

– Потрогай меня... Вроде я остываю. Да скорей бы уж...

В полуспознательном состоянии, хрюкая и кашляя, он ещё смог прокричать:

– Дайте подушку...

Егор прибежал в процедурную:

– Там Васильев, подушку просит.

Медсестра, пожилая, грузная женщина, занималась своим делом, и казалось, не слышала. Тогда Егор повторил просьбу. Она молча взяла подушку, и медленно переваливаясь, как старая утка, пошла по коридору, разговаривая с собой безразличным тоном: «Васильев... А что Васильев? Ему уже ничего не надо...»

Когда она вошла в палату, Васильев лежал бездыханным, с синеющим лицом, на груди была разорвана больничная рубаха, которую он так и держал в сжатых кулаках...

Чтобы не замечать следы приходящей и уходящей смерти, которые она оставляла кругом: на теле усопшего, в больничном воздухе, в человеческих мыслях, Егор начал больше двигаться, бывать в кампаниях, играть в карты, в общем жить здоровой лагерной жизнью. «Не умирать же заживо»

Как-то, подгадав хорошее время, когда контролёры редко шастают по палатам, арестанты собрали «общак» в «двадцать одно очко», но всё-таки их застукали. Егор, спасая игровой список, показал контролёрам сопротивление, за что получил дубинкой по голове и был закрыт в изолятор. Администрация больницы всегда старается избавляться от нарушителей режима, к тому же Егор накатал прокурору жалобу за нанесённые побои, и врачи, не желая с ним возиться, поставили «выздоравливающий диагноз», для отправки в общую зону.

Опять «воронком», Егора доставили в колонию строгого режима, определили в «туберкулёзный барак». Отсюда он освобождался; пять

месяцев на свободе и опять... Мало, что поменялось за это время. Кто-то освободился, на их места пришли новые. «Выздоравливать» никто не хочет. Туберкулёзный барак в зоне самый тёплый: бревенчатый, отделан кирпичом.

Егора встретили друзья:

— Ну что, соскучился, — безобидно смеётся Вовка-Ляпа. Он как был пацаном, так и остался. Сидит с четырнадцати лет. Они с Егором были на малолетке. Потом Ляпа «крутился» с малолетки, со взрослым, безвылазно сидит шестнадцать лет. Девственник — не знает женской ласки.

— Тяжко там, на свободе-то? Пшёнку не дают, — шутит Витька-Пензяк, арестант со стажем, с понятием — «козырный фраер», его вывезли в сибирские зоны со «Златоустовской крыткой». Пензяк — арестант потомственный: в семье четыре брата, он младший, и все по лагерям...

В бараке сварили чифир, пили, смакуя с сигаретным дымом, и Егор рассказывал:

— На свободе жить можно, только менты на хвосте... Надзор. Думал на больничке от них спрятаться, так и туда надзор перевели: после семи часов вечера должен быть только на своём этаже. Хуже тюрьмы. Вот и психанул...

Рассказ Егора, пусть даже мрачный, будоражил в арестантах светлые, красочные образы свободы, и каждый понимал, что слова: «Хуже тюрьмы» — это отчаяние.

В зону Егор пришёл озлобленный, но не на жестокую свободу. В последнее время, он часто задумывался, осознавая: «Жизнь проходит, и всё одно и то же...»

Он уединился от друзей. Рядом с бараком было место под футбольное поле. Здесь заключённые гоняли мяч, кто-то крутился на турнике, а один арестант, лёжа на спине, отжимал металлическую балку, вместо штанги. Егор нервно курил и презирал всё, что видел:

«Идиот, в зоне штангистом решил стать... А эти за мячом гоняются, детство вспомнили...»

Мимо прошли активисты с красными повязками, и Егора перекрёжило: «Суки, предатели, зарабатывают себе досрочную свободу. А на свободе опять блатовать начнут и сюда вернуться. Приспособленцы». Егор не отступал от арестантского закона: воруешь, — воруй, попался, сиди как порядочный арестант. Решил завязать, освободись и не суй нос в преступные дела. Живи без тюрьмы...»

Егор удержался от желания оскорбить активистов, и вернулся в барак к друзьям:

— Может, найдём курнуть...

В бараке был Мишка-Кабардинец, его вывезли сюда из кавказских зон, но друзья по свободе не забывали его: частенько привозили

коноплю. Когда друзья пришли к нему, он сидел на шконке, и забавлялся котёнком. Маленький, пушистый, с чёрными пятнами, кот бил лапой по шарику, который подпрыгивал на привязанной резинке.

Ляпа представил Егора:

— Приятель мой, Подкидыш. Я тебе про него рассказывал. Сегодня с «больнички» привезли.

— Слышал, слышал, — поприветствовал Кабардинец, вытаскивая из тайника коноплю, — Пыхнём по этому слушаю...

Пензяк взялся варить чифир, а Кабардинец «забивал косяк», рассказывая:

— Братишка на свиданку приезжал. Старики тоже собирались, да куда там, в такую даль... Вот, трохи подогнал, дурь тяжеловатая. Косяка хватит.

Стали курить коноплю, и котёнок заволновался, он залазил на колени к каждому, кто затягивался дымом, и тянул носом.

— Ну, Васёк, вижу, ты капитально подсел на дурь. Кайфует, как от валерьянки, — Кабардинец взял котёнка на руки и пустил дым в мордочку, тот несколько раз вдохнул, пьяно прошёлся по шконке и вольготно разпластался, вытянув непринуждённо лапы. Теперь ему было не до шарика.

Егор не в первый раз испытывал кайф конопли; входя в это состояние, он странным образом оказывался в другом, более спокойном, бессмысленном мире. Он развалился на шконке с чувством полного безразличия, и ему теперь было все равно, почему арестанты гоняют мяч и ходят с красными повязками. Лагерь стал более свободным и не таким сложным, чтобы нужно было думать только о нём. Мысли привели к Зинке. «Вот дурёха!»

Егор рассказал друзьям, как его на этапе подкинули к арестантке, рассказал про её письмо: что она мечтает ещё стать матерью, и под воздействием дурмана заразительно расхохотался. Глядя на него, хотели все, хотели без причины, просто хотели...

После воздействия конопли, Егор почувствовал утомлённость, стали приходить тяжёлые мысли, вспомнил о доме. В первые годы арестантской жизни, Егор, упрямо, сам не понимая почему, не писал домой. Родители разыскивали его через УВД, приезжали в лагерь на свидание, привозили передачи.

— Зачем мне это? Я не просил, — настырничал Егор и вёл себя так, будто перед ним все в чём-то повинны, настырничал, но передачи принимал.

Однажды, вместе с родителями, на свидание приехал Михаил, рослый, красивый, с загорелым лицом. Егор, увидев брата, напыжился и ушёл из комнаты свиданий. Когда утихла злость, он написал родителям единственное письмо, в котором откровенно выразил свою

неприязнь к Михаилу, и попросил в последствии приезжать без него. Приезжать тогда, когда он сам попросит...

Для большинства арестантов, отсидевших немало под следствием в тюрьме, в душных, каменных камерах и не видевших живого неба, зона – это кусочек свободы. Зона делится на две части: жилая – здесь живут арестанты, и промышленная – здесь работают. Промышленная более свободная, здесь производственные цеха, участки, кабинеты и вместе с заключёнными работают вольнонаёмные, как мужчины, так и женщины; за счёт общего производства, между мужчинами и женщинами образуется довольно тесная связь, иногда личного характера. И неудивительно, что многие заключённые, у кого есть сила, и сохранился оптимизм, рвутся в промышленную зону.

Арестанты, живущие в туберкулёзном бараке, освобождены от всякого рода труда, и только по желанию, могут вязать сетки, тут же в бараке.

У Егора нет желания вязать сетки, и он бездельничает. Вообще-то иногда ему кажется, что он смог бы выполнить какую ни будь особенную, необыкновенную работу, такую, от которой самому бы стало приятно. Но такой работы в зоне не было. Он поискал, поискал, да и сел в карты играть.

– Зря ты за карты взялся, – отговаривали Пензяк с Ляпой, – Иди спать лучше. Ночь уже. Накроют вас всех. Смена сегодня хреновая...

Не послушал друзей Егор, и под утро, ярых картёжников уводили в изолятор...

Через пятнадцать суток его встречали те же друзья. Приготовили новый арестантский костюмчик, нижнее бельё, проводили в баню. После бани чифир и всё самое лучшее из ларька.

В разговоре ни слова упрёка, мол, дурак ты Подкидыш, говорили же не играй. Напротив, встретили с радостью.

– Счастливчик ты, Подкидыш. Ну, всё подгадал. Вышел час в час, – говорил Ляпа загадочно, – сегодня гулять будем. У меня День Рождения! Тридцать лет стукнуло...

Подошёл Миша-Кабардинец, поздравил Егора, – С выходом, каторжанин, – в руке держит косяк, – Ну что, пыхнём. Последняя. Специально берёг на выход...

Ляпа предложил:

– Давай на вечер оставим.

После вечерней проверки собрались вчетвером: Ляпа, Подкидыш, Пензяк и Кабардинец.

Ляпа, в праздничном настроении, разлил по стаканам водку:

– Литр у спекулянта купил. Эх, какой же это раз я здесь отмечаю? Кажется шестнадцатый... Так и есть, сел то я в четырнадцать.

Поздравили Ляпу с тридцатилетием, выпили, закусили чем Бог послал, разговорились о жизни, говорили вполголоса, остерегаясьメントов. Потом опять поздравили, опять выпили...

Ляпа был возбуждён:

— До звонка годишко остался, через неделю разменяю... Даже не верится: что там? Как там? Матушка пишет: дом снесли, квартиру дали, там ванна, унитаз — это что — вместо параши? Никогда не видел...

Тихо рассмеялись. Опять пили...

Литр выпили незаметно. Егор, ослабший после изолятора, быстро пьянял. Кабардинец предложил:

— Ну что, пыхнём...

По бараку потянуло коноплёй. На запах прибежал Васька, запрыгнул к хозяину, он мяукал и тёрся о его руку, наконец, выпросил порцию дыма. Потом беспечно расстелился на шконке, часто моргая слезящимися глазами.

Подошли знакомые арестанты со своей коноплёй, поздравили с днём рождения Ляпу, с выходом Подкидыша, пустили косяк по кругу...

Кто-то предложил:

— Сонники есть...

Егор уже плохо ориентировался, сознание мутилось, а в организме был переполох: хотелось петь и скакать, лежать и мечтать, казалось водка спорила с коноплёй, и когда предложили «сонники», он машинально взял таблетки и выпил...

Егор очнулся в изоляторе, в камере, из которой вчера выходил. Он открыл глаза и, увидев над собой знакомый грязный потолок, не поверил: «Всё ещё изолятор? Снится, наверное...»

Со спокойной душой продолжил спать. Проснулся, и опять над ним грязный потолок. Осмотрелся: по правую сторону лежали Пензяк и Ляпа, по левую — Кабардинец и Сашка-Хромой, тот кто «сонниками» угощал.

Открылась дверь камеры, вошёл ДПНК, принёс постановления,рыкнул:

— Подъем алкаши. Уже сутки дрыхните. Подходи, расписывайся...

Зашевелились, тяжко вздыхая и туго соображая: где это? Как оказались?

Подошёл Егор, прочитал постановление: «...за употребление спиртных напитков — пятнадцать суток...», расписываться не стал, вернулся протокол:

— Я не пил. Смотри, как огурчик!

Видимо сноторное победило водку и коноплю. Егор выспался и выглядел бодро, и не только бодро: сноторное подавляет в чело-

веке страх, и теперь арестанты держали себя уверенно, даже нагло, не считая себя нарушителями.

Протокол прочитал Пензяк и расхохотался:

– Начальник, ты его себе в задницу засунь. На каком основании? Где медицинское заключение? Где рапорт?

Дежурный, нервничая, стал оправдываться:

– Какой к чертям рапорт? Вас, еле живых, в простилях сюда привнесли... Не хотите подписываться, не надо. Всё равно сидеть...

Дежурный ушёл, а нарушители, хохоча, вспоминали праздничную ночь:

– Всё помню, а вот сонники не помню. Никогда их не жру, лучше курнуть, – рассказывал Кабардинец, смачивая голову водой.

С трудом вспоминал Пензяк:

– ...Смотрю, все выстегнулись... Думаю, нужно чифир сварить. Пашёл... И всё – планка упала...

Ляпа – именинник, продолжил спать, отвернувшись в угол. Наверное, ему досталось больше всех: водки, конопли, сонников.

Егор тусовался по камере, недоумевая:

– Несколько часов в лагере и опять... Думал – снится.

А Хромой, поразмыслив, возмутился:

– Какие на хрен спиртные напитки? Я водку нюхать не нюхал. Буду голодовать...

Его поддержали все. Каждый написал заявление: отказ от пищи, передали дежурному, и тот пришёл в ярость:

– Оборзели. Сами до сих пор шальные ходите. Чего добиваешься?

Разговор вёл Пензяк с арестантской дипломатичностью:

– Упущение о медицинском заключении допустили? Допустили. Вот и выпускай Хромого. А мы заберём заявления...

Хромой не сдержался:

– Ну, выпустишь, – вскроюсь...

– Ну и вскрывайся. Напугал, – усмехнулся дежурный и ответил сдержанно, обращаясь к Пензяку:

– Никого сейчас не выпустим. А он пусть посидит пятнадцать суток, потом посмотрим... Кстати на вас четверых уже есть распоряжение в БУР на шесть месяцев. А с голодовкой дурака не валяйте, вроде все с понятием, сами знаете, за что сидите.

По окончании пятнадцати суток, Хромого выпустили на зону, а остальных перевели в БУР.

БУР – это барак усиленного режима для нарушителей, наказанных от двух до шести месяцев. Барак стоит в зоне отгороженный забором. «Буровские» камеры расположены в полуподвале, а этажом выше – изолятор. В камерах есть нары, пристёгнутые к стенам,

но арестанты в них не нуждаются: на деревянном полу повседневно расстелены матрацы.

Попав в БУР, Егор не разочаровался: «Лучше в камере, чем в «пионерском лагере». Здесь во время накормят, днём хочешь — иди на прогулку, хочешь, — спи, а все дела ночью: чифир, карты, приколы. Менты здесь с понятием, от скучи сами к камерам подходят, из любопытства чифир пробуют, а самые азартные с арестантами рисуют в карты играть «под интерес»: проигрывают, — рассчитываются, выигрывают, — получают.

В первые же дни Егор начал клеить карты; в этом деле он был опытен. Пензяк дождавшись «буровскую» библиотечку, выбрал книги по вкусу и увлёкся чтением. Видимо помимо тюремной жизни, его так же привлекала обратная сторона. Кабардинец испереживался за своего Ваську; он отписал ксиву Хромому чтобы тот присматривал за котом. Но самый возбуждённый в камере был Ляпа, до конца срока оставались месяцы, и он не находил себе места: та желанная свобода, которую он ждал с тайным трепетом в сердце столько лет, теперь пугала его не только незнанием пользования унитаза.

— Я ведь девчонку ни разу не целовал, — сознался он, — Поцеловать-то смогу — как все это делают, а вот как правильно? Чтобы ей понравилось...

— Давай я тебя научу, — шутил Егор, — у меня есть небольшой опыт...

— Да иди ты, — безобидно отмахнулся Ляпа, — ты чахоточный, ещё палочку привъёшь. Опять кровью харкаешь...

Ляпа не шутил. Состояние Егора ухудшилось сразу после изолятора: слабость, потливость, иногда кровохарканье, но он по-прежнему отказывался думать о ней — медленной смерти, которая придёт, и не заметишь...

Наступал Новый Год. В зоне каждый арестант готовился провести этот праздник как можно лучше: одни запасались чаем, конфетами, дорогими сигаретами, другие, что поострожней — водкой, наркотиками...

По этому поводу в зоне усилили режим. В БУРе теперь дежурили самые ярые и неподкупные контролёры.

— Что будет, то будет, — рассуждал более спокойный Пензяк, — чифир, сигареты есть...

Но Кабардинец суетился уже, который день:

— Братишка должен подъехать с «бросом». Он никогда не подводил...

Утром к БУРу подошёл Хромой, позвал:

— Один четыре. Миша...

Ожидавший Кабардинец уже сидел на решке, и у них завязался разговор: короткий, лаконичный, понятный только им.

-
- Говори, — отозвался Кабардинец.
 — Привет от брата.
 — А к привету, ничего не привязал?
 — Привязал... Только ты Ваську своего покличь...

Разговор слушали напряжённо, прокручивая каждое слово. Услышав про Ваську, Пензяк и Егор за минуту выставили из рамы стекло. Ляпа стоял у двери на «атасе». Кабардинец позвал кота:

- Вася, Вася, иди ко мне...

Кот пришёл. Не сразу, но пришёл на голос своего хозяина, который давно не слышал и уже соскучился. Васька влетел в камеру и стал горячо лизать Кабардинцу руки, лицо, уши... На нём был тряпичный ошейник, набитый коноплён.

Сварили чифир, сели, как положено, за стол. Пока заваривался чай, пустили по кругу косяк.

- Путёвая анаша, — оценил Кабардинец, — кайф лёгкий...

На стол запрыгнул Васька, потянулся мордой к дыму, стал слезиться, развалился на столе «королём». Его ласкали, благодарили.

— С нами будет жить, — решил Кабардинец, — Менты не запрещают. А жрать захочет, в зону уйдёт... Вырос, морда усатая.

Пили чифир и опять курили коноплю, которая воздействовала на мысли своей крылатостью и парила над скромной и скучной арестантской действительностью.

Открылась дверь, и появился дневальный, держа в руках ведро с извёсткой и щётку.

— Мужики. Распоряжение режимника: к Новому году побелить свои камеры, — говорил он умоляющим голосом.

Ему ответили:

- Да пошёл ты... У нас уже праздник. Надо, заходи и бели...

Дневальный ушёл, а Ляпа развалился на матраце и, заложив руки за голову, уставился в потолок, мечтая вслух:

— Следующий Новый Год на свободе встречу! Девок приведу. Квартиру теперь со всеми удобствами: ванна, унитаз, балкон наверное...

И Пензяк лежал на матраце, мечтательно уставившись в грязный потолок:

— А я вернусь, ремонт дома сделаю. Дом-то старенький. Мать сама не справится. Там старший брат, как раз освободится...

Кабардинец тоже лежал на матраце, но в потолок не смотрел, забавлялся с Васькой:

- С собой тебя заберу. Вот трёшку досидим, и домой поедем.

Егор слушал сокамерников, и молчал, — нечего было говорить о своём доме. Он грустно смотрел в потолок и потолок не нравился:

- Серый. Грязный.

- Кто? — не поняли его.
-

– Потолок. Может, всё-таки побелим. Хата – наша.

Казалось, все только этого и ждали, глядя в серый потолок. Позвали дневального:

– Неси извёстку... и пару стульев...

Дневальный принёс извёстку, стулья и две щётки. Они разделили камеру на четыре части, и работа закипела; работали с таким усердием, будто давно стремились побелить камеру, но им запрещали. В течение часа были выбелены стены, потолок, и камера преобразилась.

– Ну вот, другое дело! Хата – как хата!

Сварили чифир, прогнали по кругу косяк. Новая волна дурмана окрыляла и возбуждала мысли невероятные, почти мистические:

– А я вот помню, в детстве у нас в летней кухне, на стене вишненки были нарисованы – старший брат, по трафарету сделал...

Тут же позвали дневального:

– Краска нужна: зелёная и красная.

– Зелёная есть...

Дневальный принёс зелёную масляную краску, которой красили плинтус в коридоре.

Егор тут же стал вырезать лезвием трафарет ветки вишни, а Ляпа осторожно вскрыл вену в слабом месте кисти и собрал на стекло кровь для вишненок.

Атмосфера в камере была настолько сплочённой, что казалось, будто здесь руководит один разум, и всё делалось на одном дыхании.

Буквально под Новый Год, «буровская хата» номер четырнадцать была выбелена, вычищена и разрисована вишненками вдоль и поперёк. Даже место параши теперь напоминало вишнёвый сад.

– С Новым Годом! – обойдное поздравление арестантов.

Сварили чифир. Сели как положено за стол. Пустили по кругу косяк. Мысли возбудились, и хата стала ещё краше и красочней. Всех потянуло на матрацы...

Рано утром БУР обходил режимник. Войдя в камеру номер четырнадцать, он осталబенел. От необъятного удивления, он задрал голову, и на пол слетела шапка. Не проронив ни слова, он поспешно вышел, подхватив на ходу шапку.

Теперь и сами арестанты были удивлены, рассматривая живописные стены утренними, полусонными глазами.

– Ну, всё, надо готовиться: хату на изоляторский режим переведут. Наделали мы дел: тюрьма должна всегда оставаться тюрьмой, даже в Новый Год...

В напряжении ожидали наказания; готовили тайники под чай, сигареты... Одели тёплое нательное бельё. Напоследок заварили густой чифир, прогнали косяк и здесь осенило:

— Возьмём извёстку, да замажем эти вишеники и дело с концом. Всё будет, как было: тюремная камера.

Стали звать дневального, но к двери подошёл режимник.

— Ну что, художники-оформители, собирайтесь, — он не договорил, хитро прищурился и шутливо приказным тоном сообщил, — амнистия за добросовестный труд!

— Нехорошо шутишь, начальник...

Поверили когда вышли на зону, каждый сел на свою шконку и с облегчением вдохнул жилой воздух барака.

Здесь жизнь шла своим чередом: пили чифир, играли в карты, а на днях в общем коридоре поставили телевизор, и для многих это стало чудом; заключённые заранее «забивали» места, интересовались, что твориться в мире, любовались звёздами эстрады, а потом обсуждали и горячо спорили.

Но настояще чудо произошло спустя несколько месяцев, после выхода друзей из БУРа. Пензяк в этот день был на свидании: освободился один из братьев и приехал навестить. Егор валялся на шконке от слабости — который день держалась невысокая температура. К нему подошёл Ляпа:

— Болеешь? Пойдём к Кабардинцу, курнём, может, полегчает...

Заварили чифир. Кабардинец запалил косяк. К нему, лениво потягиваясь, подошёл Васька, здоровый, с отвисшим животом, получил порцию дыма и развалился, вылизывая шерсть.

— Ты чем кормишь своего Ваську, — удивился Егор, — как свинья.

— Не Васька, а Василиса, — рассмеялся Кабардинец и рассказал:

— Я-то под хвост не тогда заглядывал. Вижу — шустрый малый, ну, думаю — пацан...

Для друзей — это стало радостной неожиданностью, и Ляпа сразу заказал:

— Как родит, мне оставишь. Вместе освободимся...

— А кошки много штук рожают? — заинтересовался Егор, — Может, и я кота возьму. Срок-то впереди. Будет в БУР, грэв таскать...

Теперь не один Кабардинец заботился о Василисе. Друзья несли беременной кошке самые лакомые кусочки. Егор, через кухню, добывал сухое молоко. А когда прогоняли косяк, каждый считал своим долгом выделить беременной кошке порцию дыма.

— Пусть расслабиться...

Но Василиса отворачивала морду от дыма, казалось ей сейчас было не до кайфа, она больше лежала, вылизывая шерсть, а её мутные, пожелтевшие глаза слезились.

Все с нетерпением ожидали роды...

Ранним утром, ещё до подъёма, к Егору пришёл взволнованный Ляпа:

– Вставай. Пойдём к Кабардинцу...

– Я не хочу с утра обкуриваться... – отказался Егор, думая про коноплю.

– Василиса умерла...

Нашли Кабардинца за бараком. Он был лопатой в землю. Рядом, укрытая бушлатом, лежала Василиса.

– Давай я... – Ляпа взял лопату.

Кабардинец сел на карточки рядом с Василисой, убрал бушлат, положил на неё руку, гладил и рассказывал:

– Всю ночь мучалась. Кровища, куски мяса. И всё...

Егор смотрел на мёртвую Василису и вспоминал пушистого, озорного котёнка, который всегда лепился к ним и хотел так же как они дышать таким же пахучим, одурманивающим воздухом; появилось недобродорожье предчувствие – несбыточности, непоправимости...

А ночью у Егора открылось приступообразное кровохарканье,казалось, – лёгкие не выдержат и вот-вот вылетят с кровяной мокротой. Поместили в сан. часть, а утром этапировали в туб. больницу, этапировали «срочником», на «скорой помощи». В машине стошнило, помутилось сознание: «Вот и всё. Пришла медленно и незаметно...»

В больнице оказали помощь: остановили кровь. Главный врач – высокая, статная женщина, красивая, но с выражением строгости и беспрекословного подчинения к себе, после изучения рентгеновского снимка, обратилась к лечащему врачу Егора:

– Кто разрешал отправлять больного с «миллионным выделением», в здоровую зону?

Лечаший врач пожал плечами:

– Вас тогда не было... А режимники настаивали...

– Ах, настаивали... Но он-то теперь – не жильтец...

Главный врач сделала нужные распоряжения по поводу лечения Егора, но его состояние не улучшалось, напротив, он доходил, холодел к жизни, испытывая полное безразличие. Понимая, что долго не простоянет, он порывался написать письмо домой, но болезненное, смутное состояние, заставляло сомневаться: «А зачем теперь это надо? Будут слёзы... Жалости не хочу...» Но однажды, после процедуры, в палату вошёл контролёр и сообщил:

– Кравцов, на свидание!

«Отец приехал, – радостная неожиданность придала силы, подняла с кровати Егора, – Сердцем почувствовал и приехал...»

Сидели друг против друга, их разделяло стекло, разговор вели по телефону.

– Сынок, так нельзя, – ни одной весточки... – мягко укорял отец и глаза слезились.

«Как постарел отец, — с горечью сознавал Егор, замечая дрожащие губы, седую прядь, — Вот и жизнь прошла...» Чтобы не обидеть отца, стал врать:

— Я писал... Здесь такое бывает — письма не доходят.

И отец верил, добродушно улыбался и рассказывал:

— Потерпи, скоро вместе будем... Я сейчас разговаривал с вашим врачом — добрая женщина, так она сказала, комиссия будет: актируют тебя, на свободе лечить будут, а там, и я, и Миша поможем...

Стариковская речь Максима Петровича была многословной, и было очевидно его желание: рассказать поскорее всё произошедшее за последние годы:

— Я ведь теперь с Мишой живу... У него дом, здесь, в городе. Он же сейчас большой начальник... Вот, как мать-то схоронили... Проболтался, сынок, не хотел огорчать...

Максим Петрович подробней рассказал про смерть матери, которая перед кончиной мучительно болела, и что он уже смирился со смертью жены. А самое страшное и важное для него сейчас — то, что он видит перед собой сына — сына, у которого за спиной прячется смерть...

Часть третья: ОСВОБОЖДЕНИЕ

Михаил Максимович Кравцов, в отличие от Егора-Подкидыша, не терял жизнь даром. Пока Егор периодически освобождался народным судом от жизни в обществе, Михаил успешно окончил ВУЗ, затем работал электриком и монтажником, мастером и прорабом, стал семьянином, а в настоящее время Михаил Максимович уже управлял крупным строительным предприятием. О своём непутёвом брате Михаил Максимович старался не думать плохо, но напоминали родители, которые выносили унижения, страдания, болезни. Смерть матери Михаил Максимович отчасти возложил на Егора: «Угробил мать своей тюрьмой...» Теперь рос страх за отца.

В этот день Михаил Максимович был неспокоен с самого утра.

– Егора разыскал. Он в туберкулёзной больнице. Еду к нему, – с радостью сообщил отец, хотя был нездоров и Михаил возразил:

– Тебе покой сейчас нужен.

– Вот навещу, а потом и отдохну...

Михаил знал: спорить с отцом бессмысленно; сам собрал передачу, дал распоряжение своему водителю, доставить отца в больницу, и при этом испытал гнев на брата: «Мать угробил. За отца взялся...» Беспокойство не оставляло. Он нервно курил, на редкость выпил много водки, и не мог себе объяснить причину неясного волнения...

Зазвонил телефон.

– Михаил Максимович, беда случилась, – говорил водитель, – У Максима Петровича сердце... Я его сразу в больницу...

Максим Петрович лежал под капельницей. Врач следил за кардиограммой, пожимая неопределённо плечами:

– Состояние без динамики. Удивляюсь, как он ещё держится. Пока в сознании...

Увидев сына Максим Петрович слабо заговорил:

– Сынок, наконец-то... Пока есть время, хочу признаться. Нагрел я по молодости... Вот и мать раньше времени ушла... Егор – брат твой, кровный. Я нагрешил, а он страдает... Помоги ему, – Максим Петрович закрыл глаза и выдохнул, – Вот и освободился...

В скором времени Егора актизовали и перевели в городскую больницу для туберкулёзно-больных. Между двумя больницами – «тюремной» и «вольной» – нет существенного различия, такие же врачи, с привычным равнодушием наблюдающие за исходом, и больные – одни выстаивают, другие незаметно остывают...

Только к вечеру Егора привезли в больницу: пока «рассчитали» с тюремной больничкой, пока «оформили» на свободе. Направили в палату, и войдя в неё, первое что он услышал:

– Подкидыши?

Это был Серёжка-Голубь, вместе сидели, отношения приятельские. Голубь был моложе годами Егора, да на свободе уже не первый год, а вид – доходяги. Он лежал на кровати, укутавшись.

– Активировали. Сыхать привезли, – говорил Егор, задыхаясь и вытирая с лица липкий пот, – А ты здесь...? Там не страдал этой заразой.

– Она не сразу приходит.

«Моими словами заговорил», – язвительно подумал Егор, но промолчал, а друг рассказывал:

– Прооперировали да не удачно... В общем, одна жабра осталась и на той – две дыры...

Егор заметил – у кровати стояли костили.

– А что с ногами?

Тот нехотя стянул с себя одеяло, и Егор увидел ноги – вздутые, обезображеные ноги, будто под кожу напихали вату.

– Опухать стали... Но ходить ещё...

Он не договорил. Вошла медсестра молодая, энергичная, в руке шприцы:

– Голубев, готовь попку, – сказала она шутливым тоном, ловким движением сделала укол и повернулась к Егору:

– Кравцов, а вам помочь трусики снять или вы сами...

Несмотря на большой укол, Егору стало приятно от одного присутствия этой молодой и юморной женщины.

– Как зовут эту шутницу? – потом поинтересовался Егор.

– Любания... Лёгкая у неё рука.

Егор хотел ещё поболтать о Любане, да и вообще, но понял, что другу сейчас не до этого, он отвернулся и тихо похрапывал, наверное, засыпал.

Несмотря на сонное, хриплое дыхание больных Егор чувствовал умиротворение: он смотрел на окно, и на окне не было решёток, а за окном сияли звёзды, светила луна...

Утром позвали на завтрак. «Надо идти» – уговаривал себя Егор, а вставать не хотелось: в теле слабость.

Голубя на месте не было и Егора это подтолкнуло: «Молодцом доходяга. С такими-то ногами и раньше всех...» Но и в столовой его не было. Появился он к полудню взбодрённый, посвежевший.

– С девками аэробикой занимался, – посмеялся Егор.

– Причащался, – коротко ответил он, отстранив костили и удобно усаживаясь на кровать.

— Что ещё такое?

И Голубь рассказал, что в больнице существует церковный приход в честь Святого Великомученика Пантелеймона.

— Он — Целитель, молится за нас перед Богом...

Егор рассмеялся в глаза другу:

— В бога поверил? Ты ещё на что-то надеешься? — он вёл себя так, будто поймал Голубя на чём-то плохом, — Ты забыл, за что в тюрьме сидел? Думаешь, тебя все простили? Я тебя не пойму, Голубь, может, ты думаешь, что умрёшь по-другому?

Голубь терпеливо вынес неприятные, колкие слова, с пониманием смотрел на ухмылку друга, который кроме тюремных понятий не знал ничего другого, смотрел на ухмылку и понимал, что это не он смеётся, а его болезнь.

— В Бога давно верю, только в тюрьме каждый арестант свою веру глубоко прячет, так глубоко, чтобы никто не увидел. Тюрьма, есть тюрьма, не тебе объяснять... А насчёт умереть по-другому — не сомневаюсь — как живёшь, так и умрёшь, — Голубь сделал усилие, чтобы сесть напротив Егора: глаза в глаза, и продолжил: — Братишка, давно тебя знаю, живёшь как волчонок. Тебе один человек когда-то плохо сделал, а ты обозлился на весь мир. У тебя не лёгкие больные, у тебя, брат, душа болит, так что жить не хочется. А ты прости его...

Егор был до крайности удивлён точности сказанного, слушал и не мог сообразить:

— Откуда ты про меня знаешь? Я никому не рассказывал... Кто тебе сказал?

— Он! — Голубь поднял руку целинаправленно вверх — как школьный учитель указку, и в этот мигказалось, что вытянутая тощая, но точная рука сейчас пробьёт больничный потолок.

Ночь для Егора стала бессонной. Уже смирившись с безнадёжностью, он вдруг задумался о своей жизни, и задумался мучительно...

Прозорливость Голубя зацепила Егора за живое, и теперь он сам искал момент заговорить о наболевшем.

— Говоришь: простить, а у меня это не получается. Как это? Всю ночь не спал, все понятия перебрал...

— Чтобы простить, нужно полюбить, а чтобы полюбить, нужно раскаяться, — отвечал Голубь.

— Раскаяться?! — не сдержался Егор и нервно расхохотался, — В чём я должен раскаяться, Голубь? Я по жизни правильный, ни одного косяка нет за мной...

— Базар не за понятия. Остынь. Что ты всё ерохоришься, — остановил Голубь, и рассказал Егору о покаянии, и если это покаяние от души, то человек будет прощён, и жить ему станет легче. И пред-

ложил: — Ты на листочек напиши все свои грехи, а в воскресенье пойди на исповедь. Не пожалеешь...

До этого дня Егор составлял «греховную» записку, но кроме воровства он ничего плохого в себе не видел, и это мучило его, истерзался, но обращаться к Голубю не захотел. А Голубь, будто нечаянно, подошёл сам:

— Ты сейчас травишься?

Егор замотал головой и машинально вписал: «наркоманил»

Егор готовился к воскресению, но когда пришёл этот день, ему вдруг стало тяжело от мысли: идти на исповедь. Только проснувшись, он решил улизнуть и чтобы не смотреть в глаза своего набожного друга, быстро оделся и вышел из палаты.

Он долго ходил по больничному двору, нервно курил и, не зная, куда себя девать, злился. В кармане нашарил «греховную» записку и с лёгкостью порвал её, будто она-то и была причиной душевного беспокойства. Но как только порвал, тут же остановился, успокоился и увидел всё по-другому: «Кого я так испугался? Пойду сейчас и исповедуюсь...»

Приход располагался на первом этаже. Под Храм были переоборудованы больничные палаты, увенчанные иконами. Служба проходила чинно, со всеми церковными обрядами, как и в любом Храме города.

Исповедь принимал священник средних лет с седеющей, густой бородой. Он был высокий и сутулый, сутулился над прихожанами, выслушивая исповедь.

Егор решительно подошёл к священнику и выпалил:

— Воровал. Наркоманил.

Несмотря на решительный шаг Егора, было видно, как он нервничает, сдерживает волнение.

— Не нужно так громко, — нагнулся священник и заговорил тихим, располагающим к разговору голосом, — Какое имя?

— Егор.

— Значит, раб Божий Егор, каётся перед Господом Богом в воровстве и наркомании...

Егор с минуту чувствовал на себе пристальный взгляд священника, который после паузы вдруг спросил:

— И всё?

Вопрос был задан в дружеском тоне: хочешь — отвечай, хочешь — умолчи, дело хозяйствское, но ведь ты сам знаешь, что это не всё...

Егор взглянул на высокорослого батюшку и вдруг ясно увидел своего брата, а скорее представил... Мгновенно, ожила и пронеслась в памяти картина детства, и Егор, торопясь и запинаясь, признался:

— Нет, не всё... Я брата своего... Брата всю жизнь ненавидел.

...Отпускаются грехи раба Божьего Егора...

После службы Егор шёл по больничному коридору с таким чувством, будто на него все смотрят – ведь он теперь другой; он всё ниже и ниже опускал голову, но не от стыда – это было непривычно-новое состояние скромности.

На лестничной площадке он с кем-то столкнулся. Промелькнуло лицо – женское, знакомое... Егор остановился, оглянулся. И она встала, оглянулась. Это была молодая женщина лет тридцати, короткий, рыжий, крашенный волос, смотрит с прищуром. Рядом с ней черноголовый мальчишка – маленький, худенький с бледным лицом.

– Зинка?!

– Привет Егор, – улыбнулась она.

Да, это была та самая арестантка, с которой случилась неожиданная встреча в тюрьме. И сейчас – встреча была не менее неожиданной.

– По моим подсчётам тебе ещё год сидеть, – говорила Зинка.

Они уединились в коридоре у окна. Егор коротко рассказал о своём досрочном освобождении. Она стала рассказывать о себе.

– Ты ксиву мою тогда получил?... Помнишь, я в ней писала про беременность... Так вот он!

Она подняла мальчика и посадила на подоконник. Ребёнок казался лёгким, как пушинка, сидел тихо, с детской настороженностью рассматривая чужого мужчину. Егор не выдержал, отвернулся, он видел, как на него смотрят его же глаза: жгуче-карие, глубоко посаженные, с тайной обидой – известной только ему.

– Всё повторяется, – задумчиво пробормотал Егор.

– Что повторяется? – не поняла Зинка.

Егор не ответил, а только отмахнулся, как от не нужного, и спросил:

– Как называла?

– Кириллом, – в честь деда, – ответила она, продолжая рассказывать, – А срок мне дали не большой и благодаря всё ему: на суд привезли, я уже была на седьмом месяце... Родила, а через год вместе освободились... – она умолкла, что-то вспоминая, и по глазам было видно – вспоминала грустное, поправив воротничок рубахи сына, чмокнула его в щёку и продолжила, – Чахлым родился, слабеньким, часто температурил. Да там, много таких рождается... Обнадёжили – с возрастом окрепнет. А освободились, я его по врачам повела, оказалось: врождённый туберкулёз...

Она ни в чём не укоряла Егора, она просто рассказывала. Рассказывала, что живут они у старшей сестры, работает швеёй, а сейчас оформляет сына в детский туб. профилакторий...

Когда расставались, Егор не выдержал, его так и распирало узнать:

– Что ты ему про отца... про меня что говоришь? Где я?

– Так и говорю: папа в командировке, деньги зарабатывает.

Егор на минуту задумался, потом поцеловал её и подмигнул сыну, который стоял в стороне.

– Не знаю, как, но теперь объясни сыну всё как есть, ведь я приехал...

Оставшись наедине, Егор начал терзаться. Осознавая страшную, реальную жизнь, он пытался отодвинуть её, сдвинуть, но не хватало сил.

На помошь как всегда пришёл Голубь:

– Гости сегодня были? Родственники?

– Жена с сыном, – сдержанно спокойно отвечал Егор и вёл себя так будто это – не секрет.

Впервые Голубь повёл себя неопределённо, он верил и не верил:

– Шутишь? Откуда? Когда успел?

Егор коротко рассказал про случайную интимную встречу в тюрьме, и что из этого получилось.

– ...Сын. Мой сын. Я-то вижу – глаза, уши, да всё там моё, – с достоинством говорил Егор.

Голубя убедил откровенный рассказ друга, и он искренне порадовался:

– Поздравляю. Рад за тебя. Ты просто счастливчик, а точнее – Бог любит тебя – ты один только раз покаялся и Он услышал тебя, привёл тебе жену, привёл сына...

– Жену, сына... А что мне с ними делать? – не сдержал Егор свои больные мысли, говорил крикливым, нервным голосом, размахивая руками, – Что я могу? Одной ногой в могиле. А сын-то ждёт. Мама сказала: папа поехал деньги зарабатывать... Не могу я ничего им дать. Воровать, и то сил нет...

– А ты молись, – спокойно и внушительно говорил Голубь, – Молись и не думай, как и чем, Он тебе поможет. Только по честному, от души молись...

Ночь опять стала бессонной. Голова разламывалась, болела от тяжёлых думок. Но ещё сильней болел Голубь. Часто заходила Любания, трогала его.

– Может укол, какой? – советовал Егор.

Она мотала головой и, опустив голову, понуро стояла над ним.

Голубь не стонал, не хрюпал, он был в жару и тихо бредил.

Уже под утро Егор услышал его последние слова:

– Господи! Помяни меня в Царствии своём...

Рано утром Голубя раздели и унесли, а палату кварцевали...

Голубя не стало, но Егор испытал странное ощущение: его присутствие, особенно когда нуждался в совете, сам находил решение и был уверен, что именно так посоветовал бы Голубь.

Теперь Егор старался не пропускать церковные службы, которые необъяснимым образом давали ему силу, а вместе с силой укреп-

лялась вера в Бога. Слова, сказанные Голубем: «Молись и не думай, как и чем, Он тебе поможет», стали для Егора призывом к жизни, и он ничуть не сомневался в исполнении чуда.

Однажды, возвращаясь после службы в палату, Егора остановила Любания и сообщила:

— Тебя, в отдельную перевели.

Отдельная палата или «одноместка» считалась платно палатой — для богатых людей, и Егор не поверил:

— Любания, ты шутишь?

Но она не шутила. Она пояснила, что Егора перевели в отдельную палату по распоряжению главного врача больницы, туда уже перенесли вещи, и его там дожидается какой-то солидный мужчина.

Егор вошёл в палату с трепещущим сердцем и увидел брата. Михаил поднялся с кровати, и широко улыбаясь, пошёл навстречу. Братья обнялись.

— Прости меня за всё... — говорил Егор.

— Нет, это ты меня прости, — говорил Михаил, — это моя вина, и я её исправлю. И поставлю тебя на ноги...

Они стояли друг против друга: один огромный, могучий, как гора, другой маленький, высохший, как отлученный ручей, стояли и радостно плакали, словно малые дети, которые вчера потеряли что-то ценнейшее, а сегодня нашли.

Потом они сидели рядом на кровати, и Михаил рассказывал, как сильно болела и умерла мать, про смерть отца и его последние слова...

— Странно, а ведь я это чувствовал — чувствовал, что он мой отец, а ты мой брат. Наверное поэтому и злился... Так значит, я теперь не «Подкидыши»!...

Открылась дверь и в палату вошла Зинка с сыном. Кирилл подошёл к Егору, и решительно взяв его за руку, спросил:

— Папа, а ты насовсем приехал?...

ВОЛКИ

Вечером Анна Васильевна закрутила проволокой калитку дачи и спешила к автобусу. В летнее время она ночевала здесь, в дощатом домике. За оградой лес, свежий воздух, по утрам поют птицы, в особенности веселится соловей. Анна Васильевна любила совмещать работу на огороде, с прогулкой по лесной тропке. Но лето кончилось. Уже середина октября, и она спешит уехать в город.

Анна Васильевна прошла до перекрёстка и увидела на дороге лежащего мужчину.

«Бомж, наверное» – подумала она, зная, как в эту пору к дачам подбираются бездомные. «Напился, поди...». Но, подойдя, ближе она узнала: «Да ведь это Иван»

Иван Игнатьевич, коренастый старик, фронтовик, жил один на своей дачке. Анна Васильевна знала, что два года назад он схоронил свою бабку, продал квартиру и перешёл жить к дочери, но жизнь там не сложилась. Иван Игнатьевич часто выпивал, и однажды, в таком состоянии пришёл свататься к Анне Васильевне.

– Тяжело одной-то тащить пять соток. А я ко всему приспособленный с пелёнок. Сельский я. Мальчишкой ещё на фронт сбежал, считай всю войну, прошёл... Я и землю вспашу и в лес за грибочками поспею. Вижу, и ты лес любишь. Наверное, боязно одной-то? Вдруг зверь, какой, вроде волка...

Анна Васильевна смеялась, понимая и озабоченность старика, и его шутливый тон.

– Нет, не боязно мне, Игнатич. Какие здесь волки? Если только человеческого рода, так я для них не съедобная. А с огородом, как видишь, сама управляюсь. Да и одной спокойней. Ты то, я вижу, раз, и загуляешь, значит, не можешь без выпивки. А мне, зачем это видеть? Я и сейчас-то не могу смотреть на тебя. Ох, Игнатич, чую, плохо кончишь...

Анна Васильевна тяжко вздохнула и отвернулась.

Старик, наблюдая неподступность женщины, отчаянно согласился, опуская в землю глаза:

– Да, Аннушка, это ты точно сказала, плохо кончу, не так плохо, как страшно, как сама война.

Нагрешил я там по молодости, так нагрешил,... душу одну невинную загубил, такую же молоденькую, как сам. Вот, с тех пор и нет мне покоя. Может поэтому, и пью горькую. Эх, скорей бы уж, Господи! – он страстно поцеловал нагрудный крестик, – неверующий я был всю жизнь, а вот крестик теперь ношу. Устал от всего. Вот и думал, может с тобой, под конец приживусь.

Анна Васильевна не заметила тогда стариковскую обречённость, она приняла всё за жалостливую игру: а вдруг, пожалеет, да примет. И поспешила прекратить:

— Нет, не разжалобиши ты меня, Игнатич. Не могу, да и не хочу я под старость лет привыкать к чужой судьбе...

Ни с чем ушёл тогда Иван Игнатьевич со двора Анны Васильевны, хотя потом ещё встречались, интересовались здоровьем, шутили...

Теперь Иван Игнатьевич, лежал на дороге, уткнувшись лицом в сырью листву. Было, похоже, что он споткнулся и неуклюже упал, не выпуская из рук сумки с грибами. «Значит, из леса шёл» — догадалась Анна Васильевна и нагнувшись над ним, потянула носом. Но ожидаемого пьяного запаха не было, и она встревожилась:

— Иван, вставай, слыши меня...

Анна Васильевна позвала его ещё раз, и ещё, звала громко, почти что кричала, будто хотела расшевелить его своим криком, поднять его, но старик не отзывался, лежал неподвижно, и казалось, был бездыханным. Она испуганно посмотрела по сторонам, никого. Что же делать? Как помочь? Может, ещё есть время....

При въезде на дачный массив стояла сторожка, там был телефон. Анна Васильевна поспешила туда.

Сторож, молодой мужчина с густыми, чёрными усами и в форме казака, встретился ей по дороге. Он длиннющим хлыстом шугал бродячих собак, которые затравленно обегали его по обочине, и ему это нравилось. Потом он, с явным подозрением, выслушал Анну Васильевну о случившемся, о Иване Игнатьевиче, и, наконец, вернувшись в сторожку, разрешил подойти к телефону.

— Алло, скорая!... Здесь старик на дороге лежит!... Не знаю я, живой или мёртвый. Вам-то лучше это знать. Приезжайте, определите. Я думаю, что сердце схватило! Да, не у меня, а у него. Старенький он, всю войну прошёл,— Анна Васильевна говорила волнуясь и сбивчиво. Она ещё долго объясняла, где это находится, и как проехать, наконец, в скорой помощи неуверенно пообещали:

— Хорошо, сейчас будем искать вас...

Потом она стояла у сторожки, ожидала скорую помощь и вспоминала, как три года назад, здесь же, на даче, умер её муж, Николай Никитович. В тот день, она с утра уехала в город за продуктами, задержалась там, а когда вернулась, муж лежал на полу у дивана, точно так же, как сейчас лежит на дороге Иван Игнатьевич — будто споткнулся и неуклюже упал. Тогда у Николая Никитовича врачи определили сердечный приступ, и кто знает, если бы Анна Васильевна смогла вернуться пораньше...

Скорая приехала, когда совсем стемнело. Слышно было, как из кабины ругался водитель на плохую дорогу, на плохую погоду, на плохую жизнь. Анну Васильевну позвали в машину:

— Давай, бабуля, показывай, где там твой дед?

— Дед не мой,— стала оправдываться она,— Я посторонняя. Шла на автобус, гляжу, лежит. Подумала, пьяный, так нет...

Машина осветила Ивана Игнатьевича, который так и лежал, уткнувшись лицом в сырую листву. Моросил мелкий дождик. Анна Васильевна зябко поёжилась, мрачно подумав: «Здесь и живой оклеет». Две девушки в белых халатах осторожно перевернули его на спину. Лицо было фиолетово-синим, из полуоткрытого рта торчал, будто прорастая изнутри, гнилой лист. Врач, молодая, полная женщина, убрала с губ лист, приложила ладонь к щеке старика, потрогала сонную артерию, потом расстегнула рубаху и прослушала сердце:

— Покойник, — вздохнула и закурила, — Никак не могу привыкнуть...

Потом она села в машину и стала передавать по радио, а Анна Васильевна осталась не у дел. Было ясно, что в город она уже не попадёт, и поплелась опять на дачу.

— Бабуль, — окликнула врач, — Спасибо вам.

— Так не за что, дочка, — Анна Васильевна опустошённо развернула руками, — Опять поздно...

— А вы знали его?

— Да как сказать. Иваном звали, вот и всё.

Она пришла в свой домик, укуталась на диване в большую ветхую шубу покойного мужа, но уснуть не могла, всё думала со скорбью и печалью о своей старицкой жизни: «Вот так и вымрем потихоньку, и дочки наши опустеют. Молодёжи-то этого сейчас не надо, не любят землю...»

Так и не уснув, Анна Васильевна вышла во двор и услышала голоса, потом увидела свет машины. «До сих пор не уехали. Что-то там случилось» — решила она и направилась к скорой помощи.

Покойный так и лежал на земле, а из машины доносилось ругательство:

— Что же это такое, когда они приедут...

Анна Васильевна не удержалась от любопытства:

— А кого ждёте?

— Милицию родимую, — с негодованием отвечала врач, — Уже час, как вызвали. Всё найти не могут. Тоже мне, сыщики.

Водитель скорой помощи предложил:

— Может поискать у него, вдруг, какие документы, бумаги с собой носил. Родственникам бы сообщить...

— До милиции ничего нельзя трогать, даже эти грибы. Потом упрёков не оберёшься, — сдержанно пыталась рассуждать врач, но не удержалась, — Да ну их к чертам!

Она вышла из машины, докурила сигарету, потом надела медицинские резиновые перчатки и стала проверять карманы покойного. Что-то нашла. Это был пенсионный и листочек с телефонами. Вытащив из халата сотовый, стала звонить:

— Извините, вы кем доводитесь Болотову Ивану Игнатьевичу?... Дочерию? Хорошо... В общем, ваш отец умер... Не задавайте лишних вопросов. Я врач скорой помощи. Вы можете приехать и забрать своего отца, он на даче. Всё, извините, у меня телефон сотовый.

— Не найдут. У него дача через две улицы, — встряла в разговор Анна Васильевна и подумала: «Они и не будут искать. Он им живой не был нужен»

— Ну а мы что, бабуля. Мы своё дело сделали. Дочь не заберет, милиция приедет заберёт...

Начался дождь — густой, холодный. Врач сделала своё последнее сообщение по радио, и машина скорой помощи уехала. Анна Васильевна стояла под дождём рядом с покойным и не знала, что делать. Ждать здесь милицию не было смысла. Тогда она принесла из своего парника большой кусок полиэтилена, укрыла покойного и вернулась к себе. Опять укутаясь под шубу на холодном диване и стараясь не думать о такой старицкой кончине. Уставшая, под шум дождя, стала засыпать. Сквозь дрему, услышала грызню собак: их много бродило здесь, бездомных, голодных, злых...

За ночь, Анна Васильевна несколько раз просыпалась от жуткого холода, а утром вышла во двор и увидела снег. Вспомнив про покойного, поспешила к узнать: «Неужели так и лежит?..» У калитки встретилась знакомая женщина, она приехала первым автобусом и сразу с новостями:

— Что, Васильевна, волки появились?

— Какие волки? — не поняла она.

— Как какие. Вижу, почевала здесь и ничего не знаешь. Вон, какого-то мужика волки загрызли. Говорят, рано утром в лес за грибами ходил. Милиция понаехала.

Анна Васильевна подошла к тому месту, где вчера лежал покойный, и увидела на снегу кровь. Заспанные милиционеры, нервничали и ругались, меж собой, матом, укладывая на полиэтиленовую плёнку изуродованное тело. Теперь Ивана Игнатьевича нельзя было узнать: одежда разодрана в клочья, отгрызены кисти рук и одна ступня, не было головы. Обступившие дачники смотрели с ужасом.

— Ты нас вызывал? — сердито спросил милиционер пожилого мужчину из толпы, и тот, волнуясь, рассказал, как утром проходил мимо и увидел растерзанное тело.

Милиционер записал в папку и стал всех разгонять:

— Расходитесь, да подальше отсюда. Видите, волки появились.

Уходя, Анна Васильевна увидела на земле крестик, тесьма была порвана и в крови. Она украдкой подняла крестик и спрятала в руке; ей казалось, что он лежал и ждал здесь её. «Страшно кончу... Вот и думаю, может с тобой приживусь...» — вспомнила она старый разговор и вдруг брызнули слёзы, её прорвало, она взволнованно метнулась к милиционеру, готовая опрокинуть его, разорвать эту дурацкую папку, но упала на колени перед Иваном Игнатьевичем и стала взахлеб причитать. Люди со стороны могли подумать, что Анна Васильевна прожила с Иваном Игнатьевичем многие годы в любви и согласии, и вот теперь...

— ...Не приняла я тебя. Не уберегла я тебя, не смогла. Прости меня, Господи!

Теперь ей и самой казалось, что Иван Игнатьевич не был для нее чужим человеком, и она питала к нему очень добрые чувства, и втайне ждала, что он опять подойдёт с предложением. Выплакавшись, она умолкла, перекрестилась и пошла прочь.

За ней не отставал милиционер:

— А вы его знали? А как вы его опознали? Труп обезглавлен...

Анна Васильевна не слышала милиционера, в её сознании чётко вырисовывался вчерашний вечер: на дороге лежал Иван Игнатьевич, уткнувшись лицом в сырую листву. Было, похоже, что он споткнулся и неуклюже упал...

Вечером того же дня по дороге шёл дачный сторож в форме казака и длиннющим хлыстом шугал бродячих собак. Одна собака что-то тащила в пасти, но после удара казака выронила.

— Голова?! — удивился сторож и поспешил в сторожку к телефону:

— Алло, милиция! Здесь голова... Человеческая! Откуда я знаю, чья. На ней не написано... Собаки по дороге таскали. Понял, буду охранять! А когда вы приедете?..

Казак вышел из сторожки хмурый, недовольный; закурил и торопливо пошёл, ударяя хлыстом по пустой дороге и ругаясь:

— Вот что удумали — охраняй! Волки позорные...

Юрий Некрасов

РОДИМОЕ ПЯТНО

Макет, верстка ***B. Мисюк***